ПОРТРЕТЫ
ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ

Очерк о художнике
читайте на с. 84







ISSN 0868—4855. СЛОВО 1991. № 12. 1—88. Индекс 70110. 1 р. 50 к.



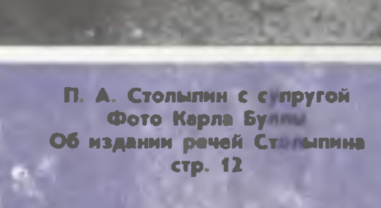
ДЕКАБРЬ

ISSN 0868—4855





В. Воробьев. Пейзаж с солнцем



П. А. Столыпин с супругой
Фото Карла Буллы
Об издании речей Столыпина
стр. 12

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Одно совсем особое словцо о славянах

Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, т. е., стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров свободен и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, — то есть, будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными мелкими племенами (NB! федерации, кажется, еще очень, очень долго не будет) или явятся небольшие отдельные владения в виде маленьких государств с призванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также представить: расширится ли, наконец, в границах своих Сербия или Австрия тому воспрепятствует, в каком объеме явится Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут с новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны или греки даже — константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли, наконец, все эти земли и землицы вполне независимы или будут находиться под покровительством и надзором «европейского концерта держав», в том числе и России (я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия России) — все это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь разрешать. Но, однако, возможно и теперь — наверно — знать две вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободною и, может быть, независимою жизнью и 2)... Вот это-то второе, что наверно, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.

Именно это второе состоит в том, что — по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному будто бы характеру славян, совсем нет, — у них характер в этом смысле как у всех, — а потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстие России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи из тех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем — коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну всего русского народа, с Царем во главе, подъятую против извергов за освобождение несчастных народностей, — эту войну поняли ли, наконец, славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, — признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают. Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это

Статья «Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать» публикуется по одиннадцатому тому ПСС Ф. М. Достоевского, издание А. Ф. Маркса, 1895. Дневник писателя, ноябрь 1877 года. С. 374—380.

хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица; будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явится с самого начала конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало, наконец, министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился, наконец, принять портфель президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма, прежде чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки, и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась из-за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтобы пожать столько маленькой смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия все же всегда будет сознавать, что центр славянского единства — это она, что если живут славяне свободною национальною жизнью, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен.

Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет и быть не должно никогда, чтобы расширить за счет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам с самого начала как можно более политической свободы, и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними, и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но, выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом когда-нибудь воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени принесут много новых и еще неслыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и может быть, еще целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером, будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем брать России на себя такую работу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец, всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания — вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, все более и более уяснять их себе самой и все более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно — и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия...

Вот так выразился Федор Михайлович Достоевский о «славянских болезнях». Кратко, умно и полезно. Надеюсь, не только с любопытством прочли вы это его «особое словцо», да и не любопытством одним мы руководствовались, предлагая вам писание это, казалось бы, давних лет.

Умные головы за долгую русскую историю много сил и духа потратили, чтобы подготовить людей русских к бурям грядущим, которые они верно предугадывали...

Однако это богатство как-то и невдомек нам. В почте, которую получает редакция, чувствуется некоторое раздражение против исторических материалов, и вряд ли его можно отнести только к затянувшемуся антиисторическому воспитанию. Читателю кажется, что навязчивая ретроспектива его сбивает, вводит в заблуждение. Упрек этот, по правде говоря, насторожил нас, и мы попытались разобраться, чем же вызвана такая реакция. Ведь, с одной стороны, ретроспектива — это крепкие, обширные знания, умение выделить в прошлом то, что полезно и созидательно сегодня. А с другой — целых семьдесят лет мы были лишены всякой исторической ретроспективы, даже большевистско-коммунистическая история была, как выясняется теперь, весьма фальсифицирована...

В определенной степени принимая упрек, мы все же позволим себе не согласиться с оппонентами. И хотим показать читателю, сколь бывает полезным именно сегодня прочитать провидческие мысли гения, столь созвучные с событиями нынешними.

Что же послужило поводом для Федора Михайловича почти сто двадцать пять лет назад произнести это «особое словцо о славянах», давно им выношенное, обдуманное и лежавшее грузом на душе в ожидании своего часа?

В 1876 году Александр II — великий, недооцененный отечественной, да и мировой, историей, царь-освободитель, несмотря на полное и единодушное осуждение Европы, решил бескорыстно помочь братьям-славянам избавиться от Османского ига...

Но все, что пишет Достоевский в «особом словце», не напоминает ли нам картину последних лет? Федор Михайлович с поразительной точностью описал характер как восточно-европейских славян, кровно связанных с Россией, так и вечных ее оппонентов — Францию, Германию, Англию, вечно сеющих раздор между славянами. Да и само русское общество тогда, так же как и сегодня, воспринимало благотворческие действия царя совсем неодинаково. Левая пресса и тогда «вопила» об агрессии, о вмешательстве не в свои дела, об имперском диктате. И писатель, не занимавшийся прямо политикой, а лишь отмечавший некоторые свои мысли в «дневнике», всем сердцем стал на сторону царя, потому что он всем сердцем болел и сочувствовал балканским славянам. Он видел в этой войне освобождение народов от насилия, а не имперские притязания России.

Но какие нам уроки из этого «словца»?! Если хорошо подумать, то весьма дальние и дельные.

Вот и сегодня, как перед первой, так и перед второй мировой войной, разгоряченно кипит славянский котел, страсти уже переросли в гражданскую войну. Но нет царя, способного объединить европейских славян словом добрым и великим. Заседают европейские парламенты, митингуют наши верховные советы, выносят решения, далекие от истинного знания славянской истории и психологии.

Однако на сей раз и сама Россия стреножена, разорена, лишена царственного, великодушно-независимого взгляда на происходящее. Демократические эмиссары суетливы, антипатриотичны, озабочены приватизацией отнятого имущества и мало опечалены утратой великой идеи всеславянского братства, на котором держалась Европа как единый дом. Авторитетом России держалась, ее способностью противостоять любой агрессии, был ли то Наполеон, Османская империя, империалистическая Германия или гитлеровский фашизм. Если посчитать в Европе могилы русских солдат-освободителей, то вряд ли любой другой европейский народ превысит русские жертвы.

В достопамятные дни Достоевского царь-освободитель за свое великодушие поплатился не только многотысячными полками, оставшимися навсегда у Плевны и на Шипке, но и собственной головой также, став жертвой отечественных народовольцев-террористов, снедаемых завистливой ненавистью к монарху, позволившему добрые народные реформы... Отмена крепостного права, широкое развитие земского правления, бурный взлет духовных сил, олицетворивших золотой век русской культуры, подготовленная, но не принятая из-за кощунственного террора русская конституция, о чем мечтали еще декабристы... Такой нелегкой оказалась плата за окаянство революционеров-интеллигентов, поднявших самодеянно-властолюбивых желябовых, возжелавших царствовать от имени народа...

Не меньшую неуважительную плату несет и сегодня русский народ, оскорбляемый во всей восточной Европе. Оскверняются солдатские памятники, летит хула со страниц газет и в эфире ТВ.

Вновь народу колют глаза теперь уже и за царствовавших желябовых. Мы не только знаем их способ правления, но и многомиллионные жертвы их корыстолюбивой политики. Они не подарили России «золотой век», не открыли «земной рай», как хвастливо обещали. Правление их закончилось еще одной грандиозной катастрофой, от которой вновь пострадал русский народ, вновь оставшийся без конституции и средств к существованию, вновь постыдно унижен за вождей и интеллигенцию, на целых семьдесят лет ослепивших великий народ-труженик.

И во всей этой истории опального XX века вина интеллигенции непростительно велика. Она не слушала своих пророков, взывавших к благоразумию, к тонкому пониманию народной психологии. Она азартно отдавалась страстям, возлагая свои надежды на самые авантюристические элементы...

Достоевскому нелегко было произнести это «особое словцо», но он смел его сказать ради всех нас, будущих славян, сказать слова гневные, обидные, но праведные. Настолько праведные, что и через 125 лет они бьют в цель, потрясая наши души и раскрывая глаза на нашу слепоту.

Глухи мы к подлинно провидческому голосу, нас увлекают экстрасенсы и чувственно-возбуждающие прорицатели, заполонившие печать, радио и телевидение. Как бы сказал Федор Михайлович, не там выгоду ищем. Только от благородного и высокого ума, от его великих целей мы можем «все более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества»...

Время нынешнее, конечно, мало способствует духовной жизни и возвышению Духа. Но будем все же помнить, что только Дух спасал народы в трудный час, а не лишняя корка хлеба. Будем помнить, что народы вымирали не от голодной смерти, даже при самых беспощадных мировых морах, а от бездуховности, от полной потери национального самосознания, от полной утраты собственного «я».

Об этом напоминает нам сегодня Федор Михайлович Достоевский.

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

Не теряем надежды...

Вот и пришло время подводить итоги 1991 года, думая при этом о будущем, о том, каким быть журналу в 1992 году. Письма читателей в этом отношении позволяют соотнести наши внутренние, редакционные представления с реальностью. А сейчас это тем более необходимо, ибо не только наш журнал, но и все отечественные литературно-художественные издания в рыночных условиях обречены на финансовый крах. В наше тревожное время, когда люди теряют уверенность в завтрашнем дне, когда забота о хлебе насущном заставляет считать каждую копейку, многим действительно не до пищи духовной: не до жиру — быть бы живу... Тем более что цены на эту самую «пищу» становятся попросту недоступными для читающего большинства (в сравнении со стремительно обогащающимся, но нечитающим меньшинством). Наше государство за все эти годы не предприняло ни одной попытки защитить, сохранить культуру, которая выброшена на «рынок». Сильнейший-де выплывет, а слабому утонуть — на роду написано. Ничего не поделаешь, таковы законы конкуренции... Зато пройдут годы, и богатство одних обеспечит нормальный жизненный уровень других, и тогда наши миллионеры и миллиардеры тоже вспомнят о культуре, начнут, как русские купцы, замаливая свои грехи, строить храмы...

Всему этому можно поверить, только похоже, покончив с марксистско-ленинской идеологией, мы продолжаем жить по ее материалистическим законам: материя первична, сознание — вторично. В результате все, что касается человека, — социальные программы, социальная защита, не говоря уже о его духовных потребностях, — остается вторичным. То есть все, как и прежде, перевернуто с ног на голову, хотя в нормальном обществе сначала должен быть человек, его жизнь, его внутренний мир, его дети, семья, а уже на этой первичной основе — все остальное. Это и есть подлинный, а не декларативный приоритет человеческих ценностей, которому должна быть подчинена и экономика, и промышленность (а не наоборот!).

Пока же мы находимся в той стадии первичного накопления капитала или «дикого рынка», которую уже давным-давно миновали все развитые и полуразвитые страны. Мы совершаем свой путь — «вперед к победе капитализма», но двигаемся при этом в обратную сторону: не к товарно-денежным отношениям, а к натуральному обмену, к пресловутому «бартеру» первобытно-общинных племен. И наша великая держава, имеющая не семидесятилетнюю, а тысячелетнюю историю собирания Земли Русской, разваливается на удельно-суверенные племена. Налицо явный регресс, деградация, коснувшаяся всех областей политики, экономики, культуры.

Возьмем книжный рынок, который в этом отношении тоже наиболее типичен и отражает общее состояние нашей культуры.

По всей стране на этом рынке «крутятся» двадцать-тридцать названий одного и того же детективно-приключенческого, садово-огородного, сексуального и мистического «чтива». В издательских планах уже давно нет ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, русская классика, ставшая величайшим достижением мировой культуры, не входит в число коммерческой «книжной номенклатуры» (появился и такой термин). Ни в одной цивилизованной стране не придет в голову издавать, например, многотомное собрание сочинений третьестепенного английского детективщика Чейза, а у нас этим Чейзом заполнены едва ли не все книжные прилавки и лотки, его тиражи исчисляются уже не сотнями, а сотнями миллионов экземпляров. Сами англичане удивляются: да что с вами сталось, ведь вы — страна Чехова, Толстого, Достоевского, а «делаете деньги» на Чейзе?!

Мне скажут: ничего не поделаешь, «деньги не пахнут», придется привыкать к рыночным механизмам, если покупают Чейза, значит, он кому-то нужен, — рынок реагирует на спрос... На что можно ответить лишь одно: во-первых, у нас действует отнюдь не рыночный механизм и отнюдь не рынок определяет, точнее, диктует предложение и спрос, а главное — цены. Ведь по всем законам рыночной экономики цены на книги и на бумагу должны падать, а не расти. «Рынок» уже давно перенасыщен, но цены продолжают расти. Значит, эти цены определяет не «рынок», а люди, его контролирующие, заинтересованные в росте цен. И во-вторых, во всех цивилизованных странах рынок регулируется государством с помощью налогов и дотаций (особенно в области культуры), иначе он окажется в руках монопольно-мафиозных структур. Государственная монополия, осуществлявшаяся партийно-административным аппаратом, сменится другой монополией, не менее страшной. Поскольку старая уже «наелась», уже издохла, изжила себя, а новая — только набирает силу. Все это и происходит у нас, ринувшихся в «рынок», не приняв антимонопольных законов.

Лет через пять-десять мы, конечно, вновь спохватимся, да боюсь, что будет поздно. К этому времени мы потеряем (если уже не потеряли) целые поколения, которые вырастут вне книг, вне русской и мировой классики, вне духовной культуры.

Тем не менее наш журнал не потерял надежды сохранить своих самых преданных подписчиков, которые даже при таком повышении цен выпишут «Слово». А значит — пойдут на определенные материальные лишения ради журнала, которому верят, который им необходим. Почта этого года убеждает, что у нас уже сложился определенный круг своих читателей. Вот строки из некоторых писем:

«В глубинке Новгородчины все лето каждый вечер мы с сестрой читаем «Слово» вслух, ловим минуты, часы, чтобы только все дочитать, потом — перечитать, ничего не пропустить...» (Орлова М. Д., Ленинград).

«Я эстонка, но шлю вам «большое русское спасибо». Очень жаль, что стара, мне уже 78-й год, но уверена, что после меня журнал будут получать мои дети и внуки, их у меня пять. Ваш журнал читаем всей семьей» (Белова Линда Михайловна, Нижний Новгород).

«Мне посчастливилось, что, благодаря рекламе телевидения в прошлом году, я стал вашим подписчиком и, как я и ожидал, не прогадал в выборе. Читаю, как говорится, от корки до корки, с большим волнением, неизмеримой грустью»... (Бриндин И. Е., Мордовская ССР, с. Каргашино).

«Статьи Зиновьева, Авторханова, Личутина не просто читаю, а буквально штудирую. Материал захватывающий...» (Дубранова М. А., Днепропетровск).

«Цены, мягко говоря, выросли даже по сравнению с годом прошлым. Но ничто не заставит меня расстаться с таким высокохудожественным изданием, каким является «Слово». «Слово» служит украшением нашего дома, его приятно и читать, и просто просматривать. Одним словом, господа, я рад, что «Слово» делают профи, а по-русски говоря — люди, знающие свое дело» (Биченков В. В., Киров).

«Почти каждый номер «Слова» рождает в душе боль за наше прошлое, за поруганную и униженную Россию, истребленный цвет нации — русское дворянство, уничтоженную веру в Бога. Многие, которым я даю журнал прочесть, переписывают из него целые страницы» (Ладан А. И., Омск).

Не скажу, что таких писем сотни, тысячи, но они есть. Равно как и раздраженные, гневные.

«Ваш журнал неумен и злобен» (Суворов А., Мурманск).

«Я понимаю, что среди вас много антикоммунистов и антисоветчиков, но зачем оскорблять бездоказательно чувства людей, имеющих другую веру» (Милов А. К., Киев).

Камнем преткновения читательских страстей стали в основном публикации раздела «Архив русской революции». Одни не хотят ни читать, ни знать ничего подобного, считая, что все это «гадость» и «сточная канава» истории, которую лучше обходить стороной. Другие (и таких большинство!) видят в этих публикациях буквально откровение. «Когда мы с женой читали № 4, то мы плакали. Что сделали большевики с Россией? История человечества не знает подобных масштабов саморазрушения и самоуничтожения» (Стручков Н. Ф., Брянск). Не осталась не замеченной читателями и наша критическая «лениниана», которую мы начали еще в 1989 году, опубликовав (№ 10) стихотворение Юрия Кузнецова, оказавшееся пророческим. Приведу его полностью, в нем всего десять строф:

Хотя страна давно его отпела
На все свои стальные голоса,
Но мать-земля не принимает тело,
А душу отвергают небеса.
Два раза в год душа его томится,
В трибуну превращается гробница.
Самозабвенно движется поток,
Его знамена мимо проплывают.
Стоящим на трибуне невдомек,
Чей прах они ногами попирают.

Затем последовали другие публикации, итог которым мы подвели в предыдущем номере. Многие читатели прекрасно поняли, что эти публикации имеют для нас принципиальное значение. И не потому, что мы стремились не отстать от других в сенсациях всевозможных разоблачений, сокрушения кумиров. Для нас было главное — осмыслить, понять эту центральную роковую фигуру, чтобы в будущем «не сотворить кумира» из очередных вождей, которые готовы вести нас в «светлое будущее» (теперь уже не коммунистическое, а антикоммунистическое, что не меняет сути слепой веры, лишающей человека способности мыслить самостоятельно).

«Теперь мне известно, а я склонен доверять журналу, кто был духовным вождем и наставником Ленина. Самый человечный человек, как нам внушали, на самом-то деле был величайшим авантюристом, агрессором и экстремистом и никогда не был защитником рабочих и крестьян. Диктатор, он и есть диктатор: тут ничего не убавить, не прибавить. Палач, а не добрый дедушка» (Слепокуров А. П., Челябинск).

Характерно, что подобные письма присылают пожилые люди, которым не так-то просто отказаться от былых идеалов всей своей жизни. Вспомним, сколько усилий потратила «Советская Россия», чтобы, используя эти искренние чувства людей, создать фонд спасения Ленина. Да и сейчас, когда кумир повержен, его предлагается «предать земле», похоронить «по христианскому обычаю». Но как можно применять христианский обычай к тому, кто был сознательным нехристем, Антихристом!.. Не лучше ли было бы — в назидание потомкам — оставить его на прежнем месте... Ведь именно в том, что он не был похоронен, что его не приняла «сыра земля», тоже есть свой глубочайший смысл..

Некоторые письма касаются «позиции» журнала, которая или близка, или чужда читателям. И это вполне естественно. Невозможно представить себе журнал, который удовлетворил бы всех, всем нравился, всех устраивал. Тем более что у читателей появилась возможность выбора. «Сейчас журналов издается много. Читатели ищут свой», — вполне справедливо замечает В. А. Сазонов из Химок, остановивший свой выбор на нашем журнале.

Но некоторым читателям отдельные публикации интересны, а вот «позиция» журнала настораживает, если не пугает. Г. Д. Волобуев из Воронежа пишет об этом со всей откровенностью (за что мы ему и признательны): «Что мне всегда нравилось в журнале, так это какая-то внутренняя интеллигентность издания при всем его радикализме. Интуитивно чувствовал, что не сравнить вас с черносотенными («Наш современник» и «Молодая гвардия»). А тут вы напечатали рекламу «Литературной России» и фотографию Юрия Бондарева. И до меня дошло: вы якшаетесь с политическими бронтозаврами. Хорошо, если вы сумеете сохранить нынешнюю ориентацию журнала, но если скатитесь к черносотенцам, то потеряете читателя, т. к. будущее за демократами».

Что ж, мы тоже нисколько не сомневаемся, что будущее за демократией, если только она станет таковой... Именно поэтому — веря в демократию — мы и оставляем за собой право выражать свою точку зрения и оставаться в духовной оппозиции к любому правящему режиму, вне зависимости от того, как называется этот режим.

Точно так же и в отношении «черносотенства» названных выше журналов, рядом с которыми мы и оказались в списке «антисемитских изданий», опубликованном в «Еврейской газете». Тошно говорить как об этой, так и о других провокациях, объясняя вновь и вновь, что патриотизм и любовь к Отечеству не имеют никакого отношения ни к антисемитизму, ни к черносотенству. Эти чувства святы как для японца, так и для американца, англичанина, француза, поляка. Нельзя жить ненавистью к своей стране, к своему народу, ставшему жертвой (а не причиной!) мировой революции, спасшему мир от фашизма и большевизма. Мир должен памятник поставить России за все жертвы, которые она понесла, а не поощрять русофобию, ставшую еще одним видом расизма, человеконенавистничества.

Но объяснять все это сейчас становится необычайно трудно, поскольку политизация сознания достигла того предела, когда уже не действуют никакие доводы. По всей видимости, в будущем мы вообще будем стараться уходить от полемики, поскольку она уже не имеет смысла. Примерно это и советует нам Ю. А. Фомин из Москвы: «Ваш журнал слишком серьезен, чтобы перевоспитывать Оскоцких, Коротичей и «разных прочих Яковлевых»: надо просто молча и убежденно, решительно и целенаправленно, расчетливо, энергично и дисциплинированно делать свое дело: возрождать Великую Россию прежде всего в душах, упорно и настойчиво строить тайную, незримую, но несокрушимую крепость Духа, сокровенную (до времени), но вечную Святую Русь».

Строки из этого письма, быть может, точнее всего выражают позицию нашего журнала, хотя и уйти от полемики в наше время тоже не так-то просто. Особенно когда получаешь такие письма:

«Мне повезло, я проследил из номера в номер весь ваш путь в сторону возрождения русской культуры. Дело это благородное и нужное. Дай Бог вам удачи! Но я хотел бы посоветовать вам не отказываться от помощи всех тех, кого вы огульно назвали «нашими плюралистами». Вы свалили всех в одну кучу. Но поймите одно, что среди этих людей есть немало хороших, хотя я и не отрицаю и твердо уверен в том, что и среди них много дряни. Не знаю, что вас ослепило. Поймите, что вы отталкиваете руку помощи, делаете это себе во вред. Вам одним это дело не осилить. Вас раздавят, как давили других. И среди «демократов» есть люди, которых волнует дело возрождения русской культуры. И пускай они еще к тому же кое-что берут с Запада и пытаются кое-какие западные достижения приспособить к нашей действительности. В деле освобождения (от власти коммунистов и всего того, что они нам долбили) без помощи извне нам не обойтись. Нельзя замыкаться в себе. Вы, т. е. «почвенники», называете это экспериментом, одним из тех экспериментов в истории нашей страны, что привели ее к краю пропасти. Но дело в том, что История сама великий экспериментатор» (Руслан Часбий, Харьков).

По этому письму (кстати, молодого человека, поклонника рок-музыки) тоже видно, как глубоко внедрилось

убеждение, что почвенники — непременно антизападники, а патриоты — антидемократы... Но подобное представление точно так же одностороннее, как и представление о том, что западники — это враги Руси, а демократы — антипатриоты. В том-то и дело, что наш журнал как раз и пытается разрушить подобные стереотипы, внедренные и ежедневно внедряемые средствами массовой информации. Для нас великая русская культура едина во всех ее проявлениях, в том числе и в ее «всемирной отзывчивости», о которой говорил «почвенник» Ф. М. Достоевский. Поэтому мы и называем свой журнал свободомыслящим, свободным от любых идеологических догм как былых коммунистических, так и новых — «демократических», которые сейчас навязываются диктаторскими, большевистскими методами. А первый признак такого необольшевизма — полное неприятие инакомыслия, поиск врагов...

Далеко не все читатели принимают наши публикации в рубрике «Закон Божий», да и «крен» в сторону Русского Зарубежья и «белогвардейщины» вызывает неоднозначную реакцию. Наш постоянный читатель и автор из села Троицкое Орловской области О. Л. Гусаревич выразил свое отношение весьма лаконично: «Несмотря на направление вашего журнала в сторону заграницы, Белой гвардии и религии, позвольте предложить вам статью о том, что происходит на нашей грешной земле».

Сообщаем уважаемому Олегу Львовичу Гусаревичу что его статью мы тут же заслали в первый номер и в дальнейшем готовы публиковать его «Письма из деревни» (см. «Слово», № 4, 1991). Что же касается «заграницы, Белой гвардии и религии», то без них мы сейчас вряд ли в состоянии осмыслить происходящее на нашей «грешной земле». Только экономическими методами — без духовного опыта Русского Зарубежья и без тысячелетних традиций русского православия — нам не решить ни одной из насущный проблем сегодняшнего дня. Великий русский философ Иван Ильин недаром говорил, что это была эмиграция не из России, это была эмиграция России. И сейчас зарубежная Россия — сохранившаяся, не уничтоженная большевистским террором — должна вернуться к нам. В этом историческое значение и историческая миссия русской эмиграции. Мы глубоко убеждены, что нет литературы ни советской, ни антисоветской (белогвардейской, эмигрантской), а есть единая русская литература, до сих пор не воссоединившаяся. Наш журнал по мере сил и возможностей способствует такому воссоединению.

Понятно также, что читатели хотели бы видеть на страницах журнала не только произведения писателей Русского Зарубежья, но и талантливые произведения современных авторов. Упреки в избытке такой ретрансляции мы принимаем...

Читатели призывают нас соблюдать чувство меры в религиозных публикациях, обращая внимание на то, что сейчас религиозная литература буквально заполонила все книжные магазины, газетные и другие киоски. И с этим тоже трудно не согласиться. Печально видеть, как иконы продаются рядом с сигаретами, а «Библия для детей» — рядом с порнухой. Результат такого религиозно-коммерческого бума может быть только обратный: книги осядут на прилавках мертвым грузом.

Мы начинали свой журнальный раздел «Закон Божий» в то время, когда коммерция еще не вторглась в эту область духовной жизни, законодательно (как и вся наша культура) не защищенную от издательского произвола. А в результате Церковь не имеет средств на восстановление возвращаемых ей храмов и монастырей, в то время как предприимчивые дельцы наживают миллионы на издании религиозных книг.

Наш журнал начал одним из первых вводить читателей в мир духовной литературы. И в дальнейшем мы будем продолжать подобные публикации, но уже учитывая изменившиеся условия, когда нет недостатка ни в религиозных журналах, ни в религиозных книгах. Это означает, что в новом году мы продолжим поиск новых тем, новых неизвестных или малодоступных религиозных книг, будем рассказывать о судьбах подвижников Русской Земли уже нашего, XX века. Изменится и название раздела, теперь он будет называться не «Закон Божий», а «Благовест». Мы исходим из того, что духовная литература является частью нашей жизни, нашей российской культуры, а потом преодоление наследия воинствующего атеизма является для нас преодолением воинствующей бездуховности.

Конкретные замечания в этом году, как и в предыдущем, в основном касаются абонементов на книги и неудобочитаемый шрифт. Честно говоря, мы долго сопротивлялись, не уступая многим просьбам читателей не использовать мелкий шрифт. Причина была одна: таким образом мы весьма существенно увеличивали емкость журнала при весьма ограниченном его объеме. Но теперь вынуждены уступить. Аргументы из письма Богомоловой показались нам наиболее убедительными: «С этого года я ваша подписчица. Журнал интересный, серьезный, на высоком уровне дает материал. Но... на будущий год вряд ли подпишусь: такой мелкий текст вызывает глазную боль. Подумайте, может, стоит печатать более крупным шрифтом. Пусть меньше — но доступнее. Ведь 100% зрения обычно только у тех, кто ничего не читает».

Так что сообщаем: в 1992 году мы будем набирать мелким шрифтом только справочные материалы, комментарии, примечания и т. п., а все литературные — крупным.

Что же касается абонементов, то от этого эксперимента мы не собираемся отказываться, хотя и понимаем, что у нас по-прежнему «инициатива наказуема». Многие читатели жалуются, что приобретают «кота в мешке», толком не зная, какой — по полиграфическому исполнению, по качеству обложки, бумаги — будет книга, а платить по 5—10 рублей за «брошюры» уже никто не желает. Все эти требования абсолютно справедливы. В дальнейшем, публикуя абонементы, мы будем приводить более точные и конкретные сведения о внешнем виде издания, а уж дело читателя решать: стоит или не стоит ему заказывать данную книгу, учитывая еще и значительно возросшие цены за пересылку «Книга — почтой», которая к тому же может и не выполнить заказ (такие случаи, увы, не единичны). И тем не менее в 1992 году мы намерены предложить читателям уже не пять книг, как это было в 1991 году, а десять-пятнадцать, в том числе десятитомную библиотеку «Историческая романистика Русского Зарубежья», в которую войдут произведения В. В. Шульгина, Михаила Каратеева, Петра Краснова, Романа Гуля, Ивана Лукаша и других писателей, создавших целый ряд исторических романов и повестей, еще не известных нашим читателям.

Уверены, что это издание будет иметь и чисто коммерческий успех, без чего мы попросту не сможем сохранить сам журнал. Ведь в 1991 году практически мы выпускали его за полцены. Но даже при новой цене в 1992 году — 3 рубля (по подписке) и 4 рубля (в розницу) — он не станет рентабельным, хотя и поднимать цену уже трудно...

Об остальных наших планах можно судить по «Афише «Слова», опубликованной в седьмом номере. Добавлю только, что и в новом году мы готовы вести свой диалог с читателями. А потому — ждем ваших писем, откликов, предложений, размышлений, замечаний, да и критики тоже (бранитесь, если это облегчает душу!). Любая реакция читателей лучше равнодушия, глухого молчания, свидетельствующего о том, что мы утратили связь с читателями. Пока у нас такого ощущения нет: нам пишут, а значит — нас слышат, нас понимают...

ВИКТОР КАЛУГИН

О вечном

Эти две книги попали ко мне на стол почти одновременно. Но книгу Валентина Распутина «Сибирь, Сибирь...» я ждал давно. Много о ней говорилось в литературной среде и писалось в прессе, да и сама серия «Отечество» близка мне, поскольку к одной из первых книг ее я имел самое непосредственное отношение. И хотелось ревниво сравнить, куда же идет дело..

А знакомство в полной мере принесло радость и утешение — не все еще мы растеряли на ухабах перестройки. Живет ревностно-горячее сердце патриота-писателя, способное охватить огромную землю и описать ее любовно, с болью, сочувствием и состраданием. То, что дано Валентину Распутину от Бога, нашло здесь посильное свое воплощение. Он увидел и даль сибирскую, и тобольскую степенность, и красноярскую современную суетность, и народ разноликий, разнохарактерный, но стержневой...

Все это и позволило мне солидный, великолепно оформленный том Распутина (художник А. Быков, фотомастер Б. Дмитриев) поставить рядом с книгой «О вечном» Николая Константиновича Рериха, известного русского живописца и писателя. Наши художники прошлого владели не только кистью, но и изысканным, свободным литературным словом. Новеллы К. Коровина и сегодня читаются легко и увлекательно, философские воспоминания К. Петрова-Водкина занимают свое особое место в нашей литературе, также как и философско-нравственные этюды Николая Рериха. Он был не только созерцатель и живописец сверкающих вершин Гималаев или скромно-блеклых картин Беломорья, он был еще и глубоко мудрый старец, способный отрешенно посмотреть на саму природу человеческую. Особенно его занимела и увлекала стихия русского человека. И в долгие годы своей жизни за рубежом у него были время и возможность поразмышлять о сути нашей.

Вот этот пристальный, глубокий взгляд на землю русскую и русского человека объединяет книги Распутина и Рериха. Жизнь в разных временных пространствах их не отторгает, а, наоборот, усиливает, по особому высвечивает и увековечивает человеколюбивую суть русских людей.

АРС. КУЗЬМИН

Валентин Распутин. СИБИРЬ, СИБИРЬ... Серия «Отечество». М.: Молодая гвардия, 1991.

Николай Рерих. О ВЕЧНОМ. Сборник статей о воспитании. М.: Политиздат, 1991.



В борьбе со злом

Впервые имя профессора Оксфордского университета Джона Рональда Руэла Толкиена предстало перед широким читателем в СССР в 1976 году с изданием детской книжки «Хоббит». «Мойдодыров» и «павликов морозовых» в то время уверенно и с молодым напором сменяли «чебурашки» и «братья, умеющие играть на кларнете», в зарубежных консервах для советского читателя был тоже небогатый выбор — «чиполлино» — луковый вариант мальчиша-кибальчиша или «карлсоны», которые давно сами по себе. Толкиеновский «Хоббит» выгодно отличался от всего этого набора хорошей опорой на эпос и настоящую сказку, чувствовался мастер незаурядный, знаток и добрый рассказчик. но дальнейшее знакомство с его творчеством отложили еще на много лет, а если уж быть точным, то трилогия о Властелине колец впервые вышла в Лондоне в 1954 году, давно переведена на все европейские языки, ежегодно переиздается, но мальчиши-кибальчиши из Детлита стояли за себя насмерть. Да и сейчас не сдаются, первая книжка «Хранители» выпущена микроскопическим для нашей детской аудитории тиражом — 50 тысяч экземпляров! (Для сравнения можно указать, что даже такая «нечитающая» страна, как Дания, эту же книгу продала в 1985 году в количестве около 300 тысяч.)

Кто же он, этот автор, которого от нас тщательно прятали без малого 40 лет? О чем его книги, которыми давно зачитываются миллионы? Трудно рассказать об этом в небольшой заметке, которая призвана быть не более чем дорожным указателем.

Джон Р. Р. Толкиен (1892—1973) — специалист по истории английского языка, знаток эпоса средневековой Северной Европы, то есть той ветви мировой литературы, которой родственны первые славянские произведения (сказки, былины, обрядовые песни и другое), и, если угодно, талантливейший популяризатор эпоса.

Свидетельство тому — венец его литературного творчества «Властелин колец», книга, о которой идет речь. Это вовсе не трилогия, как можно было бы понять из названий, а просто одна книжка, разделенная для удобства чтения на три.

Действие происходит в стране, которая никогда не существовала. Но после прочтения «Властелина колец» такое будет явной неправдой. Толкиеновское Средиземье существует, там свои народы — хоббиты, эльфы, гномы, — и с ними наравне люди борются с кажущимся всесильем зла, которое в стародавние времена обманом выковало Кольцо Всевластия, случайно потеряло его и вновь хочет овладеть им. Зло, да еще всевластное, — это страшно. Кому другому такое надо растолковывать, а читателю, три поколения которого считались даже не людьми, а материалом для революционного глобального эксперимента, лишнего и говорить не надо. Сам поймет. Правда, автор всегда категорически отрицал, что его книга — аллегория второй мировой войны, безостановочно переходящей в третью, но подобная параллель напрашивалась не одному десятку критиков, надо полагать — не без оснований.

Оригинально сюжетное построение. Это «Аргонавты» — наоборот, антипоход. Ясон идет за золотым руном — герои Толкиена отправляются «положить вещь на место», бросить случайно доставшееся им Кольцо Всевластия в жерло вулкана Ородруин — только так его можно уничтожить и тем уравнять шансы в борьбе со злом. Задача осложняется еще и тем, что Хранители Кольца не могут воспользоваться его всесильем — они знают, что тот, кто вызовет его, обязательно станет на сторону злых сил. Хранителей мало, всего девять: волшебник, четверо хоббитов, эльф, гном и... двое людей, причем люди занимают далеко не ведущие роли в отряде, да к тому же они самые «короткоживущие» по сравнению со всеми остальными, но каждый в отдельности делает для успеха предприятия все от него зависящее. Все сполна. Любопытно, что идея «всемирного братства» людей, поднятая на щит многими нынешними писателями и публицистами, у Толкиена не противопоставлена патриотизму, как это сейчас принято, а вытекает из него. И поэтому английский филолог, постигший эту истину, смотрится неизмеримо выше своего коллеги — нашего академика-филолога, чьи пресные письма-поучения юношеству массово изданы тем же Детлитом (говорю о Д. С. Лихачеве). Сравнение напрашивается поневоле в силу профессиональной принадлежности авторов и единству адресата (в данном случае) их творчества.

В Средиземье существует своя мифология, письменность, топонимика. Существуют даже карты страны, составленные самим автором. Они подробны и помогают проследить весь непростой путь отряда Хранителей, с которыми юному (да и не очень юному) читателю будет интересно идти. Как говорится, счастливого пути! Доброй дороги с умным и честным проводником!

В. САБИНИН

Толкиен Дж. ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. М.: Радуга, 1990.

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА.

ЮРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

Был ли заговор Тухачевского?

К числу наиболее темных страниц советской истории принадлежат те, на которых повествуется о деле Тухачевского и других военачальников, арестованных и осужденных в 1937 г. по обвинению в антигосударственной деятельности, а спустя почти 20 лет реабилитированных. Объясняя причины осуждения видных руководителей Красной Армии, Н. С. Хрущев в 1956 г. рассказал о том, что немецкая разведка сумела передать советскому руководству через третьи лица умело сфабрикованные материалы, которые дискредитировали М. Н. Тухачевского, Я. Б. Гамарника, И. П. Уборевича, И. Э. Якира и других.

В еженедельнике «За рубежом» (27 мая — 2 июня 1988 г.) был опубликован материал под названием «Заговор против Тухачевского», представлявший выдержки из книги западногерманского ученого Пауля Карелла «Война Гитлера против России» (выходила также под заглавием «Гитлер идет на восток. 1941—1943»)*. В публикации рассказывалось подробно о тех путях, которыми проследовала информация, собранная гестапо, из Берлина в Москву, что соответствовало известной версии, изложенной в 1956 г. советским руководством.

Однако, обратившись к подлинному тексту книги «Война Гитлера в России», нетрудно убедиться в том, что еженедельник «За рубежом» обрывал изложение Пауля Карелла как раз там, где он объявлял широко распространенную версию событий несостоятельной. Настоящая история, подчеркивает П. Карелл, «не столь проста, как ее представил Хрущев или как ее изложили Бенеш, Черчилль и помощники Гиммлера».

Какие основания были у германского историка ставить под сомнение сложившуюся версию об этих событиях 1937 года? Прежде всего следует учесть, что автор многочисленных публикаций, посвященных второй мировой войне, избравший себе псевдоним Пауль Карелл, был сотрудником рейхсминистерства иностранных дел Паулем Шмидтом и в качестве такового не раз исполнял обязанности переводчика у Гитлера.

Будучи ветераном германской дипломатии, Пауль Шмидт-Карелл был прекрасно осведомлен о тайном сотрудничестве между двумя странами в 20-х годах. Отвергнув в 1917 г. принцип тайных соглашений и разгласив секретные договоры, заключенные странами Антанты, Советское правительство вскоре убедилось в невозможности поддерживать внешнеполитическую деятельность в условиях абсолютной гласности.

Реальность международной ситуации, сложившейся после завершения первой мировой войны, способствовала сближению тех стран, которые не оказались в числе архитекторов Версальской системы. Результатом этого явился договор, подписанный Советской Россией и Германией в 1922 г. в Рапалло. Этот договор, как подчеркивал П. Карелл, «положил конец дипломатической и экономической изоляции» и Германии, и Советской страны. «В договоре Рапалло не было секретных положений, хотя предположения такого рода делаются до сегодняшнего дня. Эта ошибка связана с тем, что соглашение по общим экономическим вопросам вскоре дало толчок для новых соглашений. Это было логическим развитием событий.»

Потребность в секретных соглашениях, по мнению П. Карелла, диктовалась прежде всего теми запретами на развитие вооруженных сил, которые были навязаны Германии Версальским мирным договором. «Рейхсверу, например, было запрещено иметь танки или противотанковое вооружение, любые самоходные орудия, любую авиацию, любые химические средства ведения войны. Такие ограничения не позволяли создать современную армию.»

Серьезные перемены происходили и в отношении Советской России к буржуазной Германии. С первых же дней Октябрьской революции советские руководители ожидали революционных событий в Германии. Само существование Советской власти в России ставилось в зависимость от победы германской социалистической революции. В своей книге «Преданная революция», написанной в 1936 г., Л. Д. Троцкий указывал на то, что все планы социалистического строительства в России зиждились на активном привлечении германских специалистов и рабочих в Россию, а также усиленном экспорте в Россию готовой продукции, а в Германию — российского сырья. Поэтому любые сообщения о демонстрациях рабочих в Берлине или волнениях матросов в Киле воспринимались как долгожданные известия о начале германской революции. Надежды советских руководителей на революционный взрыв в Германии порой заставляли их проявлять поразительное легковерие по отношению к непроверенным сообщениям о восстании германского пролетариата. Так, в ходе работы IX съезда РКП(б) 29 марта 1920 г. Н. И. Бухарин объявил его делегатам, что «берлинская радиостанция находится в руках германских рабочих». Он заявил, что это еще не окончательная победа, но германский пролетариат, «несмотря на частичные поражения, идет твердой поступью к рабочей диктатуре». По предложению Бухарина съезд направил в Берлин телеграмму, в которой выражалась уверенность, что «победа германского пролетариата послужит сигналом к мировой социальной революции». Телеграмма завершалась здравицами в честь «германской Красной армии и германской Советской социалистической революции»*.

Позже выяснилось, что сообщение о революции в Германии было ошибочным, но вряд ли в Берлине верили в искренность заверений Советского правительства о стремлении развивать сотрудничество после получения там телеграммы, в которой находившиеся у власти руководители были названы правительством «социал-предателей, буржуазных демократов и изуверов католического центра» и в которой приветствовалась никогда не существовавшая германская Красная армия и германская Советская социалистическая республика.

Будучи готовыми поддержать революцию в Германии, вожди Советской России тем не менее исходили из реально сложившейся ситуации и поэтому выступали за деловое сотрудничество с Веймарской республикой. Сторонником такого сотрудничества выступал и глашатай мировой революции Троцкий. Как утверждал его биограф И. Дейтчер, «самые важные действия» Троцкого «в сфере дипломатии были осуществлены в начале 1921 года, когда он предпринял целый ряд смелых и довольно деликатных шагов, которые в конечном счете привели к заключению договора в Рапалло»*.

* Paul Carell. Hitler moves East. 1941—1943. New York. Bantam Books. 1966.

* Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 годе. Протоколы. М., 1960, с. 9—10.

Как подчеркивал И. Дейтчер, стремление Троцкого добиться развития советско-германского сотрудничества в значительной степени было обусловлено тем, что, находясь на посту наркомвоенмора, он остро понимал необходимость модернизации советской оборонной промышленности. «Как военный нарком Троцкий очень хотел оснастить Красную Армию современным оружием. Советская военная промышленность, примитивная и разрушенная, не могла обеспечить их производство.»

Как подчеркивал И. Дейтчер, «была лишь одна страна, к которой он мог повернуться в надежде на успех, и это была Германия. В соответствии с Версальским договором Германии было запрещено производить оружие. Ее оружейные фабрики, самые современные в Европе, простаивали... В начале 1921 г. Виктор Копп, бывший меньшевик, который когда-то сотрудничал в венской «Правде» (ее редактором был Троцкий. — Ю. Е.), заключил от имени Троцкого тайные контракты с крупнейшими концернами Круппа — «Блом унд Фосс» и «Альбатрос Верке». Уже 7 апреля 1921 г. он сообщил, что эти концерны готовы сотрудничать, оказывать техническую помощь и продавать продукцию, необходимую России для производства самолетов, подводных лодок, артиллерии и других видов оружия. В течение года между Москвой и Берлином постоянно курсировали посланцы, а Троцкий информировал Ленина и Чичерина о каждой фазе переговоров, которые продолжались в величайшей тайне; он держал в своих руках все нити подготовительных переговоров перед заключением договора в Рапалло, пока не наступил момент для действий дипломатов».

И. Дейтчер обращает внимание и на роль К. Б. Радека в первых шагах на пути к оформлению советско-германского сотрудничества. Еще в конце 1918 г. «после падения монархии Гогенцоллернов он был направлен Лениным с секретной миссией в Германию, где он должен был помочь поставить на ноги вновь созданную Коммунистическую партию. Он совершил опасное путешествие, полное приключений, через «санитарный кордон», которым была окружена Россия, и прибыл в Берлин инкогнито незадолго до того, как были убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Он был схвачен полицией и брошен в тюрьму. Там, когда Берлин был во власти белого террора и его жизнь висела на волоске, он совершил чудеса политической виртуозности: он сумел установить контакты с ведущими германскими дипломатами, промышленниками и генералами; он их проводил в своей тюремной камере, особенно часто с Вальтером Ратенау, которому суждено было стать министром иностранных дел эры Рапалло. Эти переговоры явились первым прорывом в «санитарном кордоне». Из своей камеры он также поддерживал контакты с германской коммунистической партией и помогал ей сформулировать свою политику».

Пауль Карелл также выделяет роль этого политического деятеля в организации советско-германского сотрудничества. «Именно Карл Радек, — утверждал П. Карелл, — блестящий интеллектуал ленинской «старой гвардии», установил первые контакты между Советами и генерал-полковником рейхсвера фон Сектом. Это и помогло Германии сбросить оковы Версаля».

Необходимо отметить, что в руководстве Веймарской республики политика Рапалло многими воспринималась как временная и вынужденная мера, от которой в будущем необходимо отказаться. Так, советник президента Германии Парвус (А. Л. Гельфанд), бывший наставник Троцкого и его соавтор в разработке теории перманентной революции, а затем крупный финансист и организатор деятельности сепаратистских и революционных сил в России, в 1914—17 гг. в своей брошюре, опубликованной в 1922 г., изложил экспансионистские планы Германии в отношении России. Через некоторое время эти планы получили развитие в главной работе вождя германских национал-социалистов Гитлера «Моя борьба», в которой говорилось: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно подводим черту под внешней политикой, которой следовала предвоенная Германия. Мы начинаем там, где остановились шестьсот лет назад. Мы прекращаем вечное германское движение на юг и запад Европы и поворачиваем наши взоры к землям на востоке. Мы, наконец, кладем конец колониальной и торговой политике предвоенных времен и переходим к территориальной политике будущего. Когда мы сегодня говорим о территории в Европе, мы можем думать прежде всего о России и о пограничных государствах, являющихся ее вассалами»*. Так идеи, выдвинутые бывшим социал-демократом, а затем финансистом Парвусом, получали поддержку и эмоциональную окраску в книге, автор которой не скупился на проклятия в адрес как социал-демократов, так и финансистов.

Не ясно, каким образом, по мысли Радека, правые националисты могли стать «переходным этапом» к социалистической революции. Последующие события показали, что Троцкий, который был организатором революционных выступлений в Германии 1923 г. и одновременно поощрял «временное» сотрудничество с правыми националистами, после прихода Гитлера к власти выступал за немедленное объявление Советским Союзом всеобщей мобилизации, что могло бы спровоцировать советско-германскую войну в крайне невыгодных условиях для СССР. Был ли в сотрудничестве с реваншистскими силами Германии дальний расчет на провоцирование таким образом вооруженного столкновения между двумя странами, а затем революционного взрыва в Германии, или же эта политика была обусловлена краткосрочными выгодами, исходящими из случайного совпадения интересов двух непримиримых сил, но это был крайне рискованный курс, который укреплял потенциал разрушительной силы у страны, уже не раз совершавшей агрессии против России.

Стремление к взаимному сотрудничеству в военной области было оформлено в период после подписания договора в Рапалло. Бывший работник германского МИДа П. Карелл (Шмидт) сообщал о «ряде тайных соглашений, заключенных между Рейхсвером и красным Генеральным штабом. С германской стороны эта деятельность была поручена «Особой группе Р» («Р» — означало Россия), засекреченному отделу в руководстве германской армии. Ее исполнительным органом стала экономическая организация, созданная для прикрытия, — фирма ГЕФУ, Ассоциация для защиты торговых предприятий. Эта фирма имела свои конторы в Берлине и Москве и финансировалась за счет секретных фондов рейхсвера».

П. Карелл не является единственным историком, раскрывшим характер и масштабы тайного сотрудничества, которое развивалось между Советской Россией и Германией. Он признает, что Джоффри Бейли является «американским экспертом по закулисной работе Красной Армии», и приводит данные из книги «Заговорщики» своего американского коллеги:

«К 1924 г. фирма «Юнкерс» производила несколько сот цельнометаллических самолетов в год в подмосковном пригороде Фили. Очень скоро более 300 тысяч снарядов в год стали производить модернизированные царские оружейные заводы Ленинграда, Тулы и Златоуста. Отравляющий газ производила фирма «Берзоль» в городе Троцк (Гатчине), а подводные лодки и бронированные корабли строились и спускались на воду в доках Ленинграда и Николаева. В 1926 г. более чем 150 миллионов марок, почти треть ежегодного бюджета рейхсвера, направлялись на закупки вооружений и боеприпасов в СССР».

Эти данные вполне согласуются с теми сведениями, которыми располагал Пауль Карелл. Он добавляет: «Естественно, что производство запрещенной военной продукции было лишь одной стороной этого сотрудничества. Так как ввоз таких вооружений в Германию был также запрещен и в существовавших условиях их нельзя было оградить тайной, было крайне важно создать условия для организации за пределами Германии полигонов, на которых применялось бы это оружие. Таким образом Советский Союз превратился в полигон рейхсвера

С 1922 по 1930 г. были созданы следующие центры, которые использовались немцами: центр германских ВВС под Липецком, школа химической войны в Саратове на Нижней Волге (создана в 1927 г.), бронетанковая школа с танкодромом в Казани на Средней Волге (введена в действие с 1930 г.).

Огромный военный аэродром возле Липецка был расположен на возвышенности, с которой открывался вид на город. Начиная с 1924 года он превратился в совершенно современную военную базу. Официально здесь размещалась 4-я советская эскадрилья, но язык 4-й эскадрильи был немецким. Только офицер связи и охрана аэро-

* Isaac Deutscher. The Prophet Unarmed. Trotscy. 1921—1929. Oxford, 1987, p. 56.

* Adolf Hitler. Mein Kampf. Boston, 1943, p. 654

дрома были русскими. У ангаров стояло несколько старинных русских разведывательных самолетов, на крыльях которых были заметные советские опознавательные знаки. Остальное же все было немецкое. На Липецк из бюджета рейхсвера выделялось 2 миллиона марок ежегодно. Первые сто истребителей, которые использовались для обучения немецких пилотов, были закуплены на заводах «Фоккер» в Голландии. В Липецке находилось от 200 до 300 немецких летчиков. Тут были использованы первые немецкие истребители-бомбардировщики. В ходе маневров, приближенных к боевым условиям, «липецкие истребители» практиковали технику бомбометания на низкой высоте. Именно так были заложены основы для разработки последовавших «штурмовиков», которые вызывали ужас в годы войны.

Первые типы легких бомбардировщиков и истребителей для массового производства средств ВВС Германии, развернувшегося с 1933 г., были созданы и испытаны в Липецке. Первые 120 отлично подготовленных пилотов-истребителей, ядро истребительной авиации, все были из Липецка. То же можно сказать и о первой сотне штурманов. Без Липецка Гитлеру понадобилось бы еще десять лет для того, чтобы создать современную авиацию. Ныне даже трудно представить себе, какой грандиозной авантюрой явился Липецк. В то время как подозрительные взоры западных союзников и пацифистски настроенных немецких левых рыскали по Германии в поисках малейших свидетельств запрещенного перевооружения, где-то вдали, в Аркадии немецких коммунистов и левых марксистов, эскадрильи липецких истребителей с ревом проносились над Доном, сбрасывая модели бомб по мишеням, испытывая новые прицелы для бомбометания, с грохотом пролетали на низкой высоте над советскими деревнями в центральной России, вплоть до окраин самой Москвы, и выступали в роли наблюдателей в ходе широкомасштабных маневров советских сухопутных сил в районе Воронежа.

То, чем стал Липецк для военно-воздушных сил, Казань стала для танкистов. Здесь, на средней Волге, были заложены основы бронетанковых дивизий Гудериана, Гепнера, Гота и Клейста».

Все эти операции удалось сохранить в тайне несмотря на то, что, по словам П. Карелла, «все до последнего гвоздя ввозилось из Германии... Необходимые материалы и снаряжение поступали в Ленинград из свободного порта Штеттин. Особо секретное или взрывоопасное оборудование или предметы, которые нелегко было замаскировать, нельзя было погрузить в Штеттине. Их погружали на небольшие прогулочные яхты, на которых находились офицеры флота, и они плыли тайными маршрутами через Балтику. Естественно, из-за этого порой исчезал целый груз. В обратном направлении шли такие предметы, как гробы летчиков, разбившихся под Липецком: их запаковывали в ящики, на которых было написано, что это запасные части, и отправляли в Штеттин. Таможенники по договоренности с рейхсвером помогали переправлять их из порта».

Одним из условий тайных соглашений двух стран явилась военная подготовка советского командного состава. «Бывшие солдаты царской армии, прославленные бойцы гражданской войны, украшенные боевыми наградами политические комиссары сидели бок о бок с аспирантами германских военных академий и слушали лекции о военном искусстве Мольтке, Клаузевица и Людендорфа.» Итогом этого многолетнего сотрудничества явилось установление личного знакомства между германскими и советскими военными. Все беседы, которые вели советские военные с германскими коллегами, тщательно записывались последними. Это направлялось в архив ГЕФУ. Впоследствии группенфюрер СС Р. Гейдрих по заданию А. Гитлера и Г. Гиммлера использовал материалы этого архива для дискредитации ряда советских военных, включая М. Н. Тухачевского. «Гейдрих, — отмечает П. Карелл, — внес изменения в содержание архивных материалов ГЕФУ. Он внес добавления в переписку, добавив несколько новых писем и заметок так, что в конце концов был готов превосходный материал с подлинными документами и печатями, материал, который поставил бы любого генерала в любой стране перед военным трибуналом по обвинению в государственной измене».

Не умаляя провокационной роли Гейдриха, П. Карелл в то же время не испытывает ни малейших сомнений в том, что у германской разведки были убедительные свидетельства о деятельности Тухачевского и других, направленной на свержение правительства СССР. Он приводит некоторые известные ему сведения, подтверждающие активную роль Тухачевского в организации попытки государственного переворота. При этом симпатии П. Карелла на стороне Тухачевского, которого он не раз именует «российским Бонапартом».

Этой уверенности германского историка, казалось бы, противоречат три четверти столетия советской истории, не знавшие военных переворотов. Между тем есть немало свидетельств, что страх перед появлением «советского Бонапарта», готового совершить военный переворот, постоянно преследовал советских руководителей. По обвинению в бонапартистских амбициях был смещен и арестован в 1919 г., в разгар гражданской войны, первый главнокомандующий республики И. И. Вацетис. Правда, дело было замято, и И. И. Вацетис вскоре был освобожден, но пост главнокомандующего занял С. С. Каменев. Вскоре С. С. Каменев также стал вызывать аналогичные подозрения, как это ясно из письма, направленного эмигранту Илие Британу анонимным корреспондентом (в авторе письма многие узнавали Н. И. Бухарина). Подозрения в бонапартистских амбициях вызывал и Председатель Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкий. Как утверждал позже троцкист А. Росмер, в 1923 г. в Москве часто можно было слышать: «Троцкий действует, как Бонапарт». Вызов, который бросил начальник Политуправления РККА, сторонник Троцкого, В. А. Антонов-Овсеенко в декабре 1923 г., отказавшись выполнять решения ЦК по борьбе с оппозицией, явился новым поводом для подозрений Троцкого в попытке узурпировать власть в духе Наполеона. Выступления в поддержку Л. Д. Троцкого в разгар дискуссий в партии 1927 г. таких видных военных руководителей, как Н. И. Муралов, В. К. Путна, И. Э. Якир и других, также было поводом для новых тревог.

Сам же Троцкий не раз возвращался к теме о возможности военного переворота в Советской стране. Он видел в подобном событии логическое завершение «термидорианского перерождения» Октября. Находясь в ссылке в Алма-Ате в октябре 1928 г., Троцкий писал о возможности того, что такие руководители, как Ворошилов или Буденный, могут свергнуть большевистское правительство. При этом Троцкий считал, что против угрозы такого переворота троцкисты должны будут объединиться со сталинистами. Объясняя позицию Троцкого в этом вопросе, его биограф И. Дейтчер отмечал: «Казалось, было абсурдно, что Троцкий мог вообразить Ворошилова или Буденного в роли Бонапарта.. Однако, как политический аналитик, Троцкий должен был учитывать не только реальности, но и возможности, а вероятность военного переворота постоянно присутствовала. Хотя она не стала реальностью, во всяком случае, за последние 30 лет эта угроза не раз преследовала Сталина и его наследников: обратите внимание на конфликты Сталина с Тухачевским и другими генералами в 1937 г. и с Жуковым в 1946 г. и столкновение Хрущева с Жуковым в 1957 г. Здесь Троцкий затронул глубокую тенденцию советской политической жизни, но, очевидно, он переоценил ее силу».

Сведения, которыми располагал П. Карелл, позволяли ему с уверенностью утверждать, что конфликт Сталина с Тухачевским чуть не превратил вероятность военного переворота в реальность. Он пишет, что в 1932 г. первый заместитель наркомвоенмора Я. Гамарник внес предложение создать на Дальнем Востоке коллективные хозяйства из военнослужащих. «К 1936 г., — пишет П. Карелл, — колхозный корпус насчитывал 60 тысяч человек, несущих боевую службу, и 50 тысяч резервистов, работавших в поле. Это была боевая сила из десяти дивизий со своей структурой, практически независимая от системы управления Красной Армии и удаленная от сердца режима, находившегося в Москве. Это было идеальным орудием в руках генерала, имеющего политические амбиции. Гамарник был именно таким человеком. Но в еще большей степени таким был его друг Тухачевский... «Колхозный корпус» идеальным образом соответствовал его планам и должен был сыграть в них решающую роль. В случае вооруженного конфликта против просталинских сил армии и партии удаленный особый восточно-сибирский корпус превратится в своеобразную крепость повстанцев, а при необходимости обеспечит безопасный путь для отступления».

Объясняя политические цели действий Тухачевского, Гамарника и других не только личными амбициями, Пауль Карелл утверждает, что приход Тухачевского к власти означал бы изменение внешнеполитической ориентации СССР. «Решающим мотивом для его политической оппозиции была внешняя политика Сталина, Тухачевский все больше убеждался в том, что союз между Германией и Советским Союзом был неумолимым велением истории, с тем чтобы развернуть совместную борьбу против «загнивающего Запада». Тухачевский, конечно, знал, что эта цель может быть достигнута в борьбе против Сталина и узколобых бюрократов. Поэтому он должен был вооружиться на случай стычки. Его личной армией стал Хабаровский корпус.»

По словам П. Карелла, Тухачевский и Гамарник стремились укрепить не только внутри-, но и внешнеполитическую базу заговора. «Весной 1936 года Тухачевский направился в Лондон в качестве руководителя советской делегации на похороны короля Георга V. Дорога туда и обратно вела его через Берлин. Он воспользовался этой возможностью для того, чтобы провести переговоры с ведущими немецкими генералами. Он хотел получить от них гарантию в том, что Германия не воспользуется революционными потрясениями в Советском Союзе в качестве предлога для того, чтобы начать поход на Восток. Самым главным для него была идея российско-германского союза после свержения Сталина. Есть ли тому подтверждение?

Джоффри Бейли в своей книге, которая упоминалась выше, приводит документально подтвержденное замечание Тухачевского, которое он высказал румынскому министру иностранных дел Титулеску. Тухачевский сказал: „Вы неправы, связывая судьбу своей страны с такими старыми и конченными странами, как Франция и Англия. Мы должны повернуться лицом к новой Германии. В течение по крайней мере некоторого времени Германия займет ведущее положение на европейском континенте".»

Очевидно, что переговоры Тухачевского с германскими генералами, его высказывания, неординарные для советского официального лица, не прошли мимо внимания германской разведки. Объясняя мотивы действий Гитлера, решившего снабдить НКВД доказательствами вины Тухачевского и других, Пауль Карелл считает, что фюрер испытывал опасения перед талантом Тухачевского и таким образом стремился ослабить Красную Армию. Возможно, что так и было на самом деле. В то же время странный способ добычи документов из архива ГЕФУ (взлом и тайное похищение архива, находившегося в ведении вермахта) показывает, что Гитлер прежде всего испытывал недоверие к военному руководству Германии. Не исключено, что, стремясь сорвать заговор Тухачевского, Гитлер желал помешать укреплению в Советской стране тех сил, которые являлись надежными союзниками германских военных. Страх перед военным переворотом преследовал не только советских руководителей. Покушение на Гитлера и попытка военного переворота в Берлине 20 июля 1944 г. были открытым проявлением заговора военных, который давно сложился. Уже в сентябре 1938 г. германские военные руководители были готовы совершить государственный переворот, и лишь капитуляция Чемберлена и Даладье в Мюнхене сорвала планы заговорщиков. Вероятно, узнав об обращении Тухачевского

за поддержкой к германским военным в деле переворота, Гитлер и другие лидеры Германии могли прийти к выводу, что в случае победы Тухачевского германские военные также могли обратиться к нему с просьбой о косвенной или даже прямой помощи.

Тем временем, утверждал П. Карелл, сведения о готовившемся заговоре военных уже давно стали известны НКВД. Еще до того как президент Чехословакии Э. Бенеш и тогдашний министр обороны Франции Э. Даладье сыграли свои невольные роли передатчиков информации, подготовленной Гейдрихом, в январе 1937 г., на процессе по делу так называемого параллельного троцкистского центра, в ходе допроса К. Б. Радека впервые прозвучало имя Тухачевского. Правда, Радек оговорился, сказав, что «Тухачевский и не подозревал о той преступной роли, которую я играл».

В дальнейшем К. Б. Радек назвал бывшего командующего Приморской армией и военного атташе в ряде стран В. К. Путну своим сообщником. К этому времени Путна уже был арестован. «Так с конца 1936 года, — пишет П. Карелл, — осуществлялись шаги против Тухачевского. Естественно, маршал и его друзья поняли опасность. Допустим, Путна заговорит? Не хотелось даже думать об этом. Требовались быстрые действия».

Как утверждает П. Карелл, «в марте 1937 г. соревнование между Тухачевским и агентами Сталина приобрело драматичный характер. Словно рокот приближавшейся грозы прозвучало замечание Сталина на Пленуме Центрального Комитета: «В рядах Красной Армии есть шпионы и враги государства». Почему маршал тогда не выступил? Ответ довольно прост. Было трудно координировать действия офицеров генерального штаба и командиров армии, штабы которых нередко находились на расстоянии в тысячи километров друг от друга. Это затруднялось из-за внимательного наблюдения за ними со стороны тайной полиции, что вынуждало их проявлять максимальную осторожность. Переворот против Сталина был назначен на 1 мая 1937 г., главным образом из-за того, что первомайские парады позволяли осуществить значительные перемещения войск в Москву, не вызвав подозрения.

Однако случайность (или хитрость Сталина) привела к отсрочке решения. Кремль объявил, что маршал Тухачевский возглавит советскую делегацию в Лондон на церемонию коронации короля Георга VI 12 мая 1937 г. Это должно было успокоить Тухачевского. И он действительно успокоился. Он отложил переворот на три недели. Это было его роковой ошибкой. Он не отправился в Лондон, и переворот не состоялся. Около 25 апреля его видели последний раз на весеннем балу в Московском доме офицеров. 28 апреля он присутствовал на приеме в американском посольстве. Это его последнее публичное появление, которое официально подтверждено. Все, что произошло потом, известно лишь по слухам, ненадежным источникам и через третьи руки».

В печати было объявлено об аресте маршала Тухачевского, командующих Украинским и Белорусским военными округами Якира и Уборевича, заместителя командующего Ленинградским военным округом Примакова, начальника Военной академии имени Фрунзе Корка, начальника Управления кадров Красной Армии Фельдмана, комкоров Эйдемана и Путны. Сообщалось также о самоубийстве Гамарника.

«Нет свидетельств, — пишет П. Карелл, — того, присутствовали ли Тухачевский и его семь коллег по делу на процессе и были ли они живы. Надежный свидетель — работник НКВД Шпигельгласс — приводил слова замнаркома НКВД Фриновского: „Весь советский строй висел на волоске. Действовать обычными методами мы не могли — сначала провести процесс, а затем — казнь. В данном случае нам пришлось сначала расстрелять, а затем вынести приговор"...»

Версия, изложенная историком и бывшим ответственным работником германского МИДа Паулем Кареллом (Шмидтом) и разделяемая многими западными историками, существенно отличается от той, которая господствует в общественном сознании нашей страны уже четверть века. Поиск истины в той сложной внутриполитической борьбе, которая происходила внутри советского общества с ее неожиданными проявлениями в международной сфере, требует внимательного рассмотрения и тех данных, о которых давно поведал миру Пауль Карелл.



Юрий Васильевич Емельянов родился в 1937 году в Москве. В 1960 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Работает в Институте рабочего движения и сравнительных политических исследований АН СССР. Автор книг «Заметки о Бухарине. История, революция, личность», «До и после секретных протоколов», «Большая игра. Судьбы народов и ставки сепаратистов» и других. В настоящее время готовится к печати новая работа «Эскизы к портрету Троцкого».

Речи Столыпина

Возвращение великих имен государственных деятелей России началось значительно позже и происходит значительно труднее, чем «открытие заново» Набокова или Малевича. Это и понятно: эта запретная когорта, как никакая иная, олицетворяет в том числе и чисто политическое противостояние идее революции, а значит, и Советской власти. Последняя еще могла допустить к читателю Алданова или даже Бунина — ибо про художника всегда можно было сказать расхожую фразу, что тот, мол, «ошибался», «не понял» или, по крайней мере, «увидел в искаженном свете», «преувеличил» какие-то негативные события или явления и т. д., — свести разногласия писателя, музыканта, живописца с режимом к проблемам личным или, на худой конец, эстетическим.

С деятелями государства Российского совершить такую передержку значительно труднее. Не случайно на страницах наших энциклопедий и учебников даже «реакционные», скажем, писатели, могли иногда и «разоблачать капиталистическую эксплуатацию» или «показывать разложение верхов», а «сановники» и «бюрократы» только душили народ и спасали прогнивший царский режим. Последний русский государственник, о котором со времен «Краткого курса» позволялись теплые слова, был «революционер на троне» Петр I. Все остальные представлялись советскому читателю сплошным сонмом негодяев, эксплуататоров, казнокрадов и т. д. И даже о В. Н. Татищеве и Г. Р. Державине позволялось говорить лишь как об ученом и поэте, но не как о людях на государственной службе (исключение делалось лишь для военных).

П. А. Столыпин был несомненно одной из самых одиозных фигур для идеологически выверенной советской Клио. С 4-го класса школы молодому поколению бывшей Великой России внушался образ злобного реакционера, царского сатрапа, вешателя, указами которого посылались на смерть пламенные революционеры, закрывалась Дума (легальная трибуна большевиков), создавался класс кулаков-мироедов. «Столыпинщина» стала чуть ли не синонимом словосочетаний типа «пиночетовский режим». Стоило писателю (например, В. С. Пикулю) дать себе вольность намекнуть даже в разрывах между обязательными идеологическими ярлыками, что «премьер» был неординарной личностью, обладал светлым умом, как против вольнодумца тут же начиналась травля.

И вот вслед за Флоренским, Бердяевым и Солженицыным — титанами слова и мысли — «забытый исполин»* державы. Кажется вполне справедливым, что новое знакомство с этой личностью начинается для нас не с фильмов и биографий, а с простого собрания его речей в Государственной думе и Государственном совете — с наименее поддающегося искажениям следа Столыпина в истории, по которому можно получить предварительную, неполную, но и непредвзятую картину его государственной деятельности. Вышло в свет издание, осуществленное «Молодой гвардией» на основе книги, изданной два года назад в Нью-Йорке (составитель Ю. Г. Фельштинский).

С ее страниц предстает не только образ премьер-министра, но и образ ведомой им России, обуреваемой политическими страстями, аграрными и национальными проблемами, и на фоне этой кипящей волны тем выше и суровее кажется образ штурмана государственного корабля, пересекавшего это бурное море.

«Обязанность правительства — святая обязанность ограждать спокойствие и законность, свободу не только труда, но и жизни, и все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких реформ», — так изложил он свое политическое кредо, вступая на пост министре внутренних дел, ответив на угрозы слева знаменитым «не запугаете!».

Трудное искусство политики, к которому только-только начинают приобщаться наши народные избранники, было в совершенстве освоено Петром Аркадьевичем. Приходится только удивляться, насколько виртуозно он вел свою линию между Сциллой левых и Харибдой правых (ненавидевшими его одновременно), Царем и Думой. Но вел неуклонно, не теряя при этом ни чести, ни достоинства. Редкий дар для политика, по достоинству оцененный современниками (В. В. Розанов, М. О. Меньшиков) и нынешними патриотами России, перенявшими в наследство «столыпинскую линию: борьба с революцией и реакцией во имя России и монархии» (газета «Наша страна»).

Вопросы земельной реформы, преобразование морского флота, тарифные сборы, борьба с террористами, польский, финляндский и прочие вопросы — все эти нервные нити русской жизни сходились в голове премьер-министра и отражались в его думских речах. Но была единая крепкая цепь, связывавшая их в неразрывное целое: «Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка... служить во славу Родины и Царя для меня высшая цель и высшее счастье».

Несколько снижает впечатление от книги предисловие К. Ф. Шацилло — одного из столпов застойной историографии русских революций. Несмотря на то, что почтенным доктором наук сделана «скидка на перестройку» и даже критикуются взгляды А. Я. Авреха на Столыпина, как на «крайне правого реакционера», марксистские схемы, довлеющие над автором, дают о себе знать. Все то же «капиталистическое развитие», «бонапартистский курс» и т. д. Непонятно, почему П. А. Столыпин назван «на порядок менее ярким», чем «звезда первой величины» русского политического небосклона С. Ю. Витте. Давать такое соотношение выдающегося реформатора, патриота России и пронырливого карьериста, угодника революции, тайно разжигавшего в стране крамолу, «графа Полусахалинского», отдавшего почем зря полувыдохшейся Японии бесценные русские территории, — по меньшей мере необъективно для историка.

П. А. Столыпина отличала глубокая преданность Родине и Престолу: «Верховная власть является хранительницей идеи русского государства, она олицетворяет собой ее силу и цельность, и если быть России, то лишь при условии всех ее сынов охранять, оберегать эту Власть, сковавшую Россию и оберегающую ее от распада». Он прозорливо предсказывал, что с падением державного венца падет и Россия. С тревогой вслушивался он в завывание штормовых западных ветров, тщившихся сломать державные устои и забросить на российскую почву ядовитый иноземный сорняк: «Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок... пусть расцветет наш родной русский цвет...»

Нельзя не отметить высокое качество оформления книги, которую, заключенную в нежно-голубой переплет, приятно даже просто взять в руки, — не в пример многим современным «коммерческим» изданиям. Жаль только, что «для контраста» в подборку фотоиллюстраций из нью-йоркского издания не вошла фотография с отвратительной физиономией убийцы Столыпина Дмитрия (Мордехая) Богрова, разительно оттенявшая благородный облик своей жертвы.

Не случайно, что все речи Петра Аркадьевича за пять лет работы на высших государственных постах вместились в не очень объемистую книгу. Столыпин мало говорил, но много делал. И не его вина, что плоды этого дела сгубили его не слишком умные и не слишком умелые преемники. В истории ничто не проходит бесследно. И имя Столыпина навеки останется вписанным в ее анналы золотыми буквами. Как не умрет в наших сердцах и согреет их в нынешнее нелегкое время и его надежда: «Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится: улучшит свой уклад, пойдет вперед...»

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ

* Точная характеристика современного видения Столыпина автора первых послеперестроечных статей о нем И. Дьякова.

Живцы

В период небывалых в истории христианства гонений Церковь Русская явила многочисленные примеры крепкого стояния за веру, мученичества и исповедничества. На крови безвинных страдальцев, обильно оросившей ниву Христову, возрождается сегодня наша церковная жизнь.

Но помимо открытых гонений, обрушившихся на православных, в 20—40-е годы существовала еще одна сила, посягавшая на устои Церкви, — движение части духовенства и мирян, известное под названием обновленческого раскола, зародившееся еще до революции в либеральных кругах русского образованного общества. Лидеры движения, ратовавшие за возвращение «к чистоте раннего христианства», призывавшие «к обновлению церковной жизни», пришли очень быстро к отрицанию освященной веками православной традиции, «пересмотру» святоотеческого наследия, извращенному толкованию догматов веры. Увлекая поверивших им людей в пучину политиканства, вожди обновленческого раскола стали послушным орудием в руках гонителей. К этим «слепым вождям слепых» вполне приложимы слова Апостола: «Они вышли от нас, но не были наши» (1 Ин. 2, 19).

Писатель Михаил Вострышев, чей исторический очерк «Живцы» мы помещаем на страницах «Слова», не впервые обращается к трагическим страницам истории Русской Православной Церкви. Его перу принадлежит замечательная книга о подвиге святителя Тихона (М. Вострышев. Божий избранник. Крестный путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. М.: Современник, 1990) и публикации на страницах нашего журнала («Травля Патриарха Тихона». — «Слово», № 1, 1991 и «Не творите мучеников». — «Слово», № 5. 1991).

События, о которых рассказывается в очерке М. Вострышева, служат сегодня грозным предостережением всем, кто под стягом «модернизма» или же «возвращения к старине» из политических и конъюнктурных соображений посягает на единство Церкви, пытается разрывать Хитон Христов.

Живцы — мелкая живая рыба для наживы удочки.

Великая русская революция, разбив вековые цепи царского самодержавия, могучим порывом освободила одновременно двух задыхавшихся в них в течение целых столетий великих узников — Государство и Церковь», — торжествовала профессура Московской Духовной Академии весной 1917 года, выгнав с должности редактора журнала «Богословский вестник» монархиста отца Павла Флоренского.

Уже 7 марта 1917 года был создан Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян, выступивший против восстановления на Руси патриаршества, а в январе 1918 года тайком подготовлявший свои «прогрессивные ряды» к решительной атаке на Патриарха Тихона. В современном «Атеистическом словаре», где с пиететом говорится об обновленчестве, главный, первый его признак аттестован следующими словами: «Оппозиционное движение внутри русского православия на почве недовольства верующих и части духовенства контрреволюционной политикой патриарха Тихона».

Конечно, часть обновленцев была одурачена, наивно полагая, что свободу для Церкви можно получить извне, путем революционных преобразований, запамятовав, что истинная свобода приходит из души человека. Но были среди «борцов за демократизацию и либерализацию» Церкви иные священники, которым удалось возглавить обновленческое движение. Ими двигали корысть, зависть, гордыня, а зачастую и элементарное безверие. Они вышли из среды духовенства, но приняли священный сан не по убеждению, а «скверного ради прибытка» (Тит. 1, 11).

Будущие главари обновленчества уже в феврале 1917 года вошли в раж, бесконечно выступая на митингах, собраниях, конференциях. Они клялись, что презирают прошлое России, девятивековую историю православия на Руси. Они требовали осудить учение о божественном происхождении самодержавия, заклиная: все беды от царей. Они пели в храмах: «Многие лета благовернейшему Совнаркому». Они всю церковную Русь хотели наводнить лозунгами: «Разными путями, но мы идем к одной цели: к устроению царства Божия — Социализма — на земле».

«Демократы от Церкви» проводили экзальтированные богослужения, в 1918 году начали издавать журнал под витиеватым названием: «Соборный разум. Орган христианского жизнестроительства в свободе». Выпускали брошюрки с броскими заголовками: «Бог или природа?», «Социализм и христианство», «Два пути к свободе и братству».

Один из главных обновленческих расколов остался в истории под названием «Живая Церковь». Имя свое он получил в мае 1922 года по первому номеру журнала, который подготовил настоятель Гребневской церкви на Лубянке С. Калиновский, через несколько месяцев снявший с себя сан и в течение более десятка лет, до последних своих дней, подвизавшийся на поприще антирелигиозной пропаганды.

История деятельности живцов, как звали представителей «Живой Церкви» православные христиане, изобилует примерами подлого авантюризма, предательства, клеветы. Чего, спрашивается, ради они пакостили в рясах, а не в комиссарских тужурках и галифе? «Мы решили остаться в Церкви, — вспоминает живец Введенский, — чтобы взорвать патриаршество изнутри».

9 мая 1922 года, через день после ареста Главы Русской Православной Церкви Патриарха Тихона и объявления одиннадцати смертных приговоров на московском процес-

се по сопротивлению изъятию церковных ценностей, в Москву из Петрограда прибыли главари обновленчества — протоиерей Александр Введенский, священники Владимир Красницкий и Евгений Белков, псаломщик Стефан Стадник. Несколько дней они вели переговоры в «различных инстанциях», а ночью с 12 на 13 мая начальник конвоя беспрекословно пропустил их в сопровождении двух сотрудников ГПУ к уже легшему почивать арестованному Святейшему. Непрошенные гости подняли с постели Патриарха и повели с ним беседу.

— На днях, владыка, — первым заговорил хладнокровный Красницкий, растягивая слова, словно на церковной службе, — объявлено одиннадцать смертных приговоров. И кровь этих страдальцев лежит на вас, распространившего 28 февраля прокламацию о сопротивлении изъятию церковных ценностей.

— Это очень тяжелое обвинение, и я его уже слышал на суде. Но не ожидал, что духовные лица тоже осуждают меня.

— Ваше послание, — вспылил элегантный Введенский, у которого крест на тоненькой цепочке напоминал импозантный брелок, — явилось сигналом к гражданской войне Церкви против Советской власти.

— Вы, наверное, не читали его, если так полагаете, — горько вздохнул Святейший. — Кто же, по-вашему, если не я, должен защищать права Церкви?

— Мы! — выкрикнул Красницкий. Это было похоже на ленинское: «Есть такая партия!». — Ибо мы готовы сотрудничать с Советской властью, а вы — ее враг. Вы демонстративно предавали анафеме большевиков, призывали к сокрытию церковного имущества, вы выступали против декрета о «свободе совести», посылали через епископа Гермогена арестованному Николаю Романову благословение и просфоры. Вы именем Церкви решили свергнуть Советскую власть...

— Зачем вы пришли ко мне? — перебил увлекшегося перед сотрудниками ГПУ «священника» Патриарх.

— Мы хотим, — рвался в бой Введенский, — чтобы вы отошли от церковной власти, отдав распоряжение о созыве Собора, а до тех пор мы, по распоряжению ВЦИКа, будем управлять вашей канцелярией.

— Но иереи не имеют права заменять Патриарха.

— Но надо передать власть, дела стоят без движения, а вы арестованы и будете преданы суду, — наконец внес свою лепту в апокалипсическую беседу и псаломщик. — Неужто вас не беспокоит дальнейшая судьба Церкви? Да и товарищ Калинин ждет, о чем мы с вами договоримся...

Делегация столпов обновленчества предложила Патриарху снять сан, сложить с себя обязанности по управлению Церковью и передать канцелярию, печать и прочее имущество им, живцам, ведь они с Советской властью и ее карательными органами живут в ладах. Живцы предложили Святейшему забыть, что он избран на патриарший престол по указанию Божию и не смеет распоряжаться своей судьбой. Но не забыл Тихон, чей он избранник.

— Патриаршество — тяжелый крест, который меня тяготит, — ответил Святейший, — но ни вы, ни я, а лишь грядущий Собор может лишить меня сана. Но я напишу председателю ВЦИКа и объявлю своего заместителя на время заточения. Идите с Богом, — и Патриарх, благословив незваных гостей, выпроводил их за порог.

Спустя пять дней живцы вновь посетили Святейшего. Об этом дне и последующих за ним событиях поведал сам Патриарх после того, как был наконец выпущен на свободу:

Что же успели сделать для России и Церкви живцы, пока Патриарх был в заточении?

Разослав уполномоченных по епархиям для захвата власти, протоиерей Александр Введенский отправился в Петроград и потребовал у своего епархиального владыки митрополита Вениамина, чтобы он подчинился созданному живцами Высшему Церковному Управлению и признал Патриарха низложенным. При этом он, по примеру комиссаров, обзавелся удостоверением:

«Российская Православная Церковь. Высшее Церковное Управление. Троицкое подворье. № 17, 24 мая 1922 г.

Удостоверение

Дано сие протоиерею Александру Иоанновичу Введенскому, настоятелю церкви св. Захарии и Елизаветы в Петрограде, в том, что он, согласно резолюции святейшего Патриарха Тихона, является полномочным членом Высшего Церковного Управления и командируется по делам Церкви в Петроград и другие местности Российской республики.

За председателя Высшего Церковного Управления еп. Леонид.

Секретарь Невский».

Митрополит Вениамин с грустью посмотрел на своего бывшего ученика, не единожды обласканного, который задумал похитить церковную власть. Он ответил ему, что никаких сообщений от Святейшего Патриарха об его отречении и учреждении ВЦУ не получал, поэтому не может признать в священниках своей епархии — Введенском, Красницком и Белкове высшую церковную власть, и по-прежнему во всех храмах епархии будут возносить имя Патриарха Тихона.

Спустя несколько дней владыка Вениамин опубликовал в «Петроградской правде» послание к своей пастве, где указал, что живцы «ставят себя в положение отпавших от общения со Святой Церковью, доколе не принесут покаяния перед своим епископом». Тотчас митрополит Вениамин был арестован ГПУ, а заодно «в силу явной неспособности к управлению епархией» уволен живцами с Петроградской кафедры.

Владыка Вениамин томился в тюрьме в ожидании суда, а в это время протоиерей Введенский, в значительной степени обязанный своей карьере добродушному митрополиту, выходил на трибуны под восторженные крики экзальтированных дам и выказывал свои артистические способности и хорошую филологическую память. Вот только «подмять под себя» петроградское духовенство петроградскому иуде не удалось. Он явился на их собрание в Сергиево подворье на Фонтанке, чтобы пламенным красноречием завоевать сердца батюшек рабочих кварталов, но потерпел фиаско. Спустя годы он рассказывал об этом случае, как о забавном курьезе в своей артистической пастырской службе.

29 мая/11 июня 1922 г. начался судебный процесс, где на скамейке подсудимых оказалось 86 священников и мирян, повинных в искренней любви ко Христу и его Церкви. Как только был объявлен приговор, по которому десятерых обвиняемых, в том числе и митрополита, посчитали нужным расстрелять, живцы тотчас же проявили воистину дьявольское проворство и подлость:

«ВЦУ, заслушав приговор петроградского Ревтрибунала о бывшем петроградском митрополите Вениамине и других, вместе с ним обвиняемых священнослужителях и мирянах Петроградской епархии, постановило:

1) бывшего петроградского митрополита Вениамина (Казанского), изобличенного в измене своему архипастырскому долгу, лишить священного сана и монашества». Этим же постановлением лишались сана и все другие осужденные на смерть священнослужители, а приговоренные к расстрелу миряне отлучались от Церкви.

И это был отнюдь не последний случай сотрудничества живцов с карательными органами. Все тот же протоиерей Введенский, имевший шесть дипломов о высшем образовании, знаток искусства, друг-оппонент Луначарского подал «в одну высокую инстанцию» список «контрреволюционного петербургского духовенства», который на долгое время стал настольной книгой в «высоких инстанциях» для арестов священнослужителей.

Главный же штаб живцов — ВЦУ — обосновался на Троицком подворье в Москве, в покоях арестованного Патриарха. Здесь, в комнате, где был кабинет Святейшего, а теперь висела табличка «Президиум», 19 июля 1922 года живцы порешили, что патриаршего духа не должно быть не только в его доме, но и во всей России, а потому порешили расправиться с еще недостреляннными его ближайшими соратниками. И полетело во ВЦИК, в губернские исполкомы, в церковные оплоты обновленчества постановление:

«В заседании 19 июля, по прошению, уволены митрополиты Митрофан Донской, Арсений Новгородский; без прошения за контрреволюционную скверну митрополиты: Кирилл Казанский, Михаил Киевский, Назарий Курский, епископы: Евфимий Олонецкий, Александр Симбирский, Дионисий Челябинский. Как осужденный Ревтрибуналом — епископ Иркутский, как привлекаемый к суду Ревтрибунала — Григорий Томский. За церковную смуту отстранен от должности и должен подлежать церковному суду митрополит Агафангел Ярославский. По жалобе саратовского духовенства уволены епископ Досифей и его викарный епископ Иов. Местопребывание последнему указано в Архангельской губернии».

6 августа 1922 года ВЦУ, по настоянию Красницкого, приняло постановление, которое стало первой взрывчаткой, подложенной под всенародный Храм Христа Спасителя:

«В связи с контрреволюционной агитацией, ведущейся около Храма Христа Спасителя в Москве и в самом Храме, постановлено:

а) считать причт Храма виновным в допущении агитации и непринятия мер к недопущению таковой;

б) протоиереев: настоятеля Храма Арсеньева, Хотовицкого и Зотикова перевести в Семиреченский край в распоряжение местного духовного начальства;

в) просить Наркомат юстиции произвести следствие о контрреволюционной деятельности при Храме Христа Спасителя».

На место настоятеля Храма Христа Спасителя был назначен все тот же Красницкий. Опорой его во время богослужений были не столько прихожане, сколько милиционеры. Ибо для встречи «протопресвитера», как он сам себя именовал, старушки приносили на паперть горшки с мочой, метали ему в голову гнилые яблоки. Но Красницкий терпел все; этот лысоватый курносый батюшка, до революции принадлежавший к правой партии «Русское собрание», а после перековавшийся в «социалиста», захватив Храм, где был избран на патриарший престол Тихон, решил, что настала пора расправиться и с самим Патриархом, и принялся беспрестанно клеветать на Святейшего как в печати, так и во время встреч с Советскими властями.

Моральная нечистоплотность, доносы и даже шпионаж были неотделимы от обновленчества. И благодаря подобным грязным делам живцы пополняли свои ряды. Ведь как только епископ заявлял о своем непризнании ВЦУ, так тотчас же попадал в ГПУ. Наглядным примером сотрудничества с карательными органами и сикофанства может служить конфиденциальный рапорт 1924 года в обновленческий Синод о работе священника-провокатора, пересланный затем в ОГПУ и подшитый в следственное дело Патриарха Тихона:

«Сего 9 сентября мною был командирован в Донской монастырь уполномоченный Тайковского уезда Иваново-Вознесенской епархии протоиерей Константин Орлов, кому было поручено выяснить отношение бывшего патриарха Тихона и его Синода к обновленцам вообще и, в частности, к празднованию по новому стилю всех церковных праздников. Причем ему, отцу Орлову, предложено было мною скрыть перед бывшим патриархом Тихоном свою принадлежность к обновленчеству и заявить о себе, как о самом преданном тихоновце, что он и исполнил. Протоиерей Орлов доложил мне, что за отсутствием Тихона он был принят его заместителем митрополитом Петром Крутицким, который долго и любезно беседовал с ним по затронутым вопросам. На вопрос отца Орлова, как ему, самому преданнейшему тихоновцу, действовать в своем причте и приходе, где второй священник вместе с двумя членами приходского совета, вопреки его как настоятеля требованию, отказываются поминать святейшего патриарха Тихона за церковными службами, а, наоборот, поминают Священный Синод и ведут энергичную обновленческую пропаганду в приходе, чем вносят в приходскую жизнь большую смуту. На этот вопрос митрополит Петр ответил: „Я вам скажу то же, что сказал бы вам и Святейший, ибо я им на все уполномочен и он решительно во всем со мною согласен. Вам, дорогой отец, отнюдь не следует сдаваться, и нужно принять все возможные меры, чтобы прекратить еретическую пропаганду. Действуйте, а как, вам на месте виднее. Что же касается вашего опасения, что вы можете дождаться неприятности от гражданской власти за свою борьбу с обновленчеством, то вы этого не опасайтесь, ничего не будет, теперь уже все изменилось к нашему благополучию, и мы спокойно можем ждать торжества своей полной победы над обновленцами. Что же касается перехода нашего на новый стиль, то ваша тревога совершенно напрасна. Передайте умненько всем своим товарищам и прихожанам, что на новый стиль мы никогда и ни за что не перейдем, потому что этого не желает народ. Но нас может заставить перейти гражданская власть, и мы тогда подчинимся и выпустим соответствующее послание. Но вы не обращайте на это внимание и считайте такие вынужденные наши послания необязательными. Секретно, на ушко, через надежных лиц вы разъясните верующим, что Святейший в настоящее время находится в ужасных условиях, именно между молотом и наковальней. С одной стороны, нужно подчиниться гражданской власти, а с другой — в церковных делах ей никак нельзя подчиниться, ибо она безбожна и ведет к разрушению Церкви. Да и с массами на конфликт мы вступать не будем, иначе они уйдут к обновленцам. А ведь вы сами знаете, что эти красные те же безбожники, большевики. Итак, не смущайтесь, положение наше прочное, обновленцы с каждым днем все слабее и слабее. Так и передайте всем нашим братьям“.

Кроме этой беседы с лицом официальным отец Орлов имел беседу с архимандритом Донского монастыря Алексием. Тот высказался еще откровенне. „Мы теперь укрепились прочно, — говорит Алексий, — и никак не сдадимся. Скоро всему будет конец, долго ждали — маленько подождем“. Отец Орлов понял это как намек на скорый конец Советской власти. „Нас опять хотят поймать на удочку, на новый стиль, но ошибутся, все равно народ не пойдет на это, потому что мы скажем кому нужно из своих, что патриарх разослал послание не по своей воле, а под давлением, и благословим всех совершать праздники по старому стилю. Мы уже здесь обдумали так: во все церковные праздники по старому стилю мы будем служить без звона или будем звонить по-будничному, и народ все равно к нам пойдет, и нас за это не осудит, потому что поймет, в каких тисках мы находимся“.

Обо всем этом я, как лицо ответственное перед Священным Синодом, счел своим долгом доложить Священному Синоду.

Особоуполномоченный Священного Синода по борьбе с тихоновщиной протоиерей Павел Авроров».

Приведенные выше документы освещают беспринципную деятельность живцов по захвату церковной власти. Ну а какие же реформы предлагали они, карабкаясь на капитанский мостик тысячелетнего корабля русского православия? В первую очередь, те, что позволили бы им подняться на высшую ступеньку иерархической лестницы. Они предлагали уничтожить главное препятствие, мешающее им стать епископами, — обет девства, который давало черное духовенство. И вот съезд живцов в августе 1922 года провозглашает: отныне монахи вправе снять с себя монашеские обеты и жениться (значит, будут, как мы!), отныне российские монастыри повсеместно необходимо закрыть, как «орудия контрреволюционных организаций», отныне епископом может стать не только монах, но и женатый священник.

Часть обновленцев во главе с епископом Антонином, обидевшись за черное духовенство, то бишь за себя, покинули съезд «Живой Церкви», чтобы создать новые еретические секты. А оставшиеся набрасывали все новые и новые резолюции:

— настаивать на снятии сана с Патриарха Тихона;
— немедленно прекратить поминовение его имени за богослужением;
— уволить на покой всех монахов-архиереев, противодействующих обновленческому движению;
— остальных монахов-архиереев перевести в другие епархии;
— ВЦУ выразить одобрение:
— выслать из пределов своих епархий всех противников обновленческого движения...

Хорошо поработали живцы, чтобы потопить тысячелетний корабль русского православия. За это их делегация во главе с Красницким удостоилась «чести» быть принятой председателем ВЦИКа тов. Калининым.

Мало кто был уверен в эти дни, что Патриарх жив. Лишь по грязи, ушатами выливавшейся на него газетой «Известия ВЦИК» и журналом «Живая Церковь», догадывались, что, наверное, пока еще Святейший не умерщвлен.

Один за другим отрекались от своего Архипастыря и переходили на сторону обновленцев епископы и священники — кто со страху за себя и за близких, кто потеряв веру, что Святейший когда-нибудь обретет свободу, кто поверив клевете. К 1923 году в ведении обновленцев находилось уже 70% православных приходов страны.

Конечно, подобное было бы невозможно без помощи и опеки Советской власти. Еще 15 мая 1922 года Троцкий направил секретное письмо членам Политбюро ЦК РКП(б): «...Не скрывая нашего материалистического отношения к религии, не выдвигать его, однако, в **ближайшее время** (выделено Троцким. — *М. В.*), то есть в оценке нынешней борьбы, на первый план, дабы не толкать обе стороны к сближению, а наоборот, дать возможность борьбе развернуться в самой яркой и решительной форме».

Но неужто возможно предательство без платы, без тридцати сребренников? Конечно же, нет. Обновленцам скостили налоги. Им выделяли отряды милиции для освобождения церквей от причта и мирян, не желавших их признавать. ГПУ внимательно прислушивалось к их пожеланиям о применении репрессий к неугодному духовенству. Начальник «церковного отдела» ГПУ Е. Тучков отчитывался перед вышестоящим начальством:

«Момент изъятия церковных ценностей послужил как нельзя лучше к образованию обновленческих противотихоновских групп, сначала в Москве, а потом по всему СССР. До этого времени как со стороны органов ГПУ, так и со стороны нашей партии внимание на Церковь обращалось исключительно с информационной целью, поэтому требовалось для того, чтобы противотихоновские группы овладели церковным аппаратом, создать такую осведомительную сеть, которую можно было бы использовать не только в вышеупомянутых целях, но и руководить через нее всею Церковью, что нами и было достигнуто. Достижение это, само собой разумеется, не могло получиться сразу и без затраты денежных средств».

Святейший Патриарх, когда был на свободе, хотел выполнить волю Собора 1917—1918 гг. и созвать следующий Поместный Собор в 1922 году. Разрешения он не получил от гражданской власти, да и сам, вкупе с многими другими членами Собора, угодил за решетку. Зато обновленцам разрешили.

И вот 29 апреля 1923 года в Москве открылся Второй Поместный Собор Русской Православной Церкви, заклейменный в народе как лжесобор. Чем занимались на лжесоборе? Склокой, дележом камилавок и доходных приходов. Что порешили? Узаконить постановления «Живой Церкви» о закрытии монастырей, ликвидации святых мощей, разрешении второбрачия духовенству. Как расправились с Патриархом в преддверии объявленного суда, где Первоиерарха, по обвинительному заключению Вышинского, должны были приговорить к смертной казни? Лишили Святейшего сана и уничтожили Патриаршество, как «монархический и контрреволюционный способ руководства Церковью».

Обновленцы торжествовали. Ведь их поддержали не только Советская власть, не только смалодушничавшее духовенство, но и восточные патриархи, добиваясь политической игрой поддержки себе у такой мощной военизированной державы, как СССР.

Но не поддержал новую «коммунистическую церковь» самый верный сын Патриарха — русский народ. Во Владивостоке, например, все до единого храма были в руках обновленцев. И в то время, как церкви города пустовали, истинные православные собирались и молились в переполненном гараже.

Великий архидиакон Розов, «наш дядя Костя», как ласково его звали москвичи, обладавший уникальным, могучим, как колокол, голосом, несмотря на выгоднейшие материальные предложения живцов, остался верен Святейшему, дошел до нужды, но не изменил убеждений, а продал драгоценнейшую реликвию — часы, подаренные Государем.

Ради своего народа, ради Тела Христова — Церкви Патриарх не принял высшей земной радости — мученической кончины за Христа, а решил в страшные дни раскола, когда обновленцы готовы были уничтожить вековые устои православия, обличить ложь и тщету «коммунистической церкви» и вернуть российскому народу себя — Отца и Предстателя за них пред Богом. Он подписал заявление в Верховный суд РСФСР («Я раскаиваюсь в своих поступках против государственного строя») и 14/27 июня 1923 года был выпущен из ГПУ.

На следующий же день Святейший, после более чем годичного перерыва, появился на народе — приехал на погребение популярного в Москве протоиерея Алексея Мечева. На кладбище Патриарх не вошел в церковь, так как в ней служили обновленцы, а направился к свежей могиле, где и совершил панихиду по почившему священнику.

На имя председателя Совета Народных Комиссаров Рыкова Патриарх пишет письмо, в котором, подчиняясь воле пасомых, заявляет о своих правах, похитить которые пытались обновленцы, поддерживаемые властью. Но Святейший не требует «приструнить» клеветников, он просит лишь поставить его в равные с ними условия.

И потекли епископы и священники, изменившие в тяжелую годину своему Пастырю, в скромную патриаршую келью в Донском монастыре. Пастырь не оттолкнул кающихся, но и не прощал всех гуртом. Почти каждый день, при огромном скоплении верующих, Патриарх служил в разных церквах Москвы и заставлял вчерашних живцов перед лицом прихода каяться всенародно. Потом церковь освящалась кем-нибудь из архиереев и считалась отторгнутой от «Живой Церкви».

...Лишенный моментом покаяния и архиерейской мантии, и клобука, и панагии, и креста стоит на амвоне митрополит Владимирский и Шуйский Сергий, выдающийся богослов и канонист, по примеру которого сотни епископов и священников признали живцов. Низко кланяется Святейшему Тихону, в сознании своего уничижения и признанной вины приносит дрожащим от волнения голосом покаяние. Он припадает до пола и в сопровождении патриарших иподиаконов и архидиаконов сходит с солеи. Снова земной поклон. Постепенно ему вручаются из рук Святейшего панагия с крестом, белый клобук, мантия и посох. Патриарх приветствует своего собрата во Христе взаимным лобызанием, и, прерванное чином покаяния, чтение часов возобновляется. Митрополит Сергий, раскаявшийся, соучаствует в сослужении с Патриархом Тихоном за Божественной литургией.

В течение нескольких месяцев по выходе Святейшего из темницы живцы потеряли в России большую часть присвоенных себе храмов. В Москве за ними осталось лишь три церкви! Высшее церковное управление упразднилось, его бывших главарей народ не пускал в православные храмы, всецело отдавая свою любовь *нашему Батюшке* и верным ему священникам.

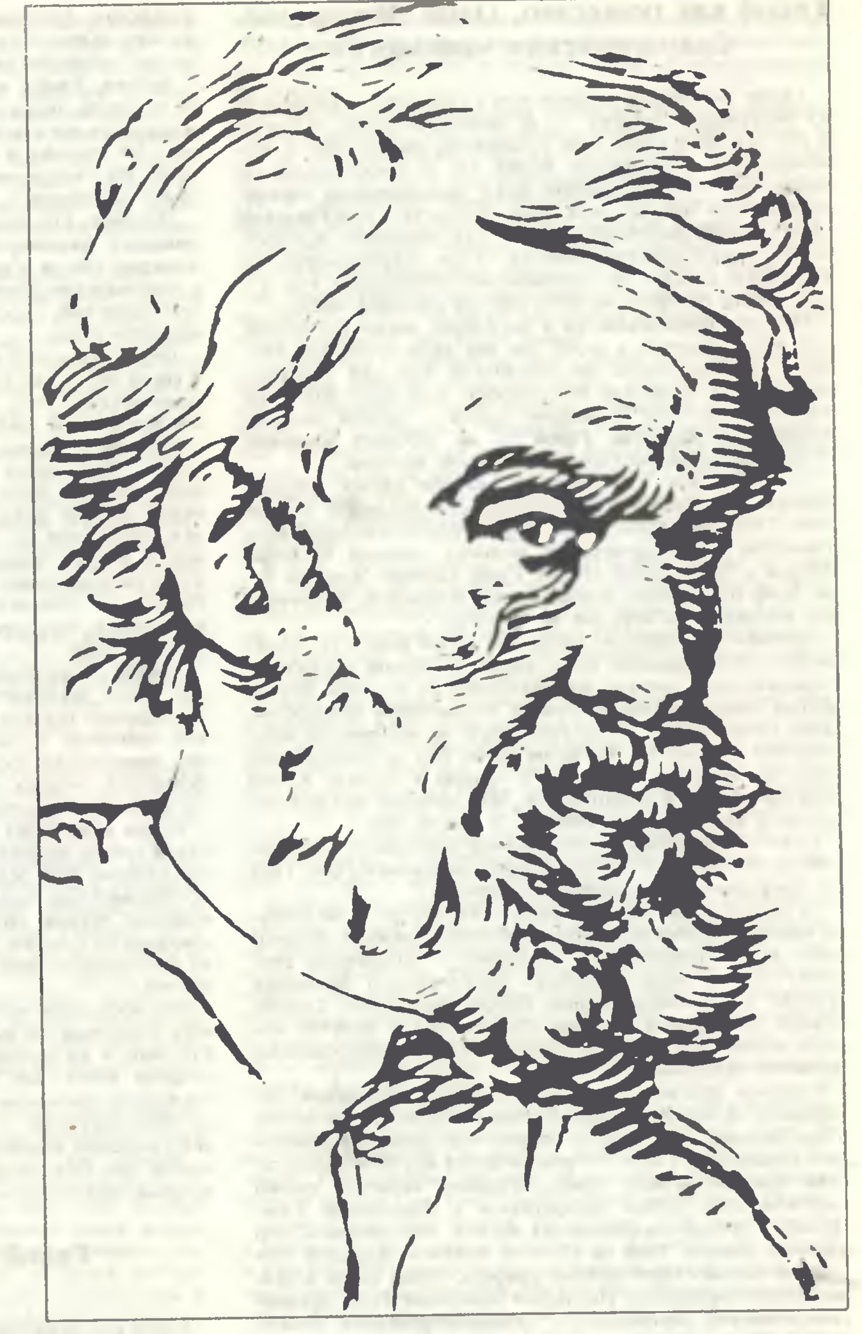
«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

МИХАИЛ ВОСТРЫШЕВ

Великие незнакомцы

Пробелы «забытых» имен, о которых стали вспоминать только в последние годы, существуют для советского читателя не только в отечественной культурной сокровищнице. До сих пор огромен список «великих незнакомцев», тех, кто составил славу мировой философской и исторической мысли, от сияющих вершин кототой так заботливо охраняли наши девственные взоры идеологические цензоры.
Одно из таких имен — Томас Карлейль (1795—1881). Великий английский историк и философ знаком нам лишь по едким характеристикам отцов марксизма, заклеймивших его, как представителя реакционного «феодального социализма». Немудрено.
В противоположность апологетам коммунистического муравейника, растворявшем в «грандиозной стройке» реального человека — «социальный продукт», Карлейль был певцом Личности, Героя, считая его главной движущей силой истории.
Точно так же, в противоположность опусам неистовых богоборцев и закоренелых материалистов, сочинения этого философа проникнуты глубоким религиозным чувством, несовместимым с моралью «пламенных революционеров» (видимо, не случайна такая черта биографии: Карлейль в детстве мечтал стать священником, Бухарин — антихристом).
Влияние Карлейля на мысль прошлого и настоящего столетия громадно. Как писал его русский переводчик В. Яковенко, этот «английский Руссо» «совершил для Англии... гигантскую работу: он вызвал на бой пессимизм, байронизм и тому подобные расслабляющие человеческую энергию учения и ниспроверг их... воспитал в Англии целое поколение энергичных общественных деятелей».
Его влияние испытали на себе многие мыслители Европы, различные по своим взглядам, — от Дж. Милля до Ф. Ницше. Его перу принадлежат считающееся и ныне непревзойденным исследование о французской революции, биографии Фридриха 2-го, Шиллера, Байрона и т. д. В нынешнем году исполняется 150 лет со времени выхода в свет его знаменитого цикла лекций «Герои и героическое в истории», где он наиболее ярко выразил свое философское кредо. Не имея возможности ознакомить читателя с этим произведением в полном объеме (как и другие труды Карлейля, не переиздававшимся у нас в советское время), мы решили опубликовать авторское резюме всех его глав, дабы можно было получить представление обо всей книге.
И тем самым помочь возвращению нам всего богатейшего наследия «певца героизма».

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ



ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

Герои и героическое

Герой как божество. Один. Язычество. Скандинавская мифология

Герои: Всемирная история есть в сущности совокупность их биографий. Религия — не церковное credo человека, а его действительная *вера* касательно самого себя и вселенной: как относительно людей, так и относительно народов, это — единственный факт, положительно определяющий для них все остальное. Язычество; христианство; современный скептицизм. Герой как божество. Язычество — самая действительность, а не шарлатанство, не аллегория; следует не претенциозно «объяснять» его, а с симпатиею, смотреть на него, как на древнюю мысль.

Природа представляется в настоящее время божественной только пророку и поэту, так как люди перестали *мыслить;* для языческого же мыслителя, как для человека-ребенка, все было или богоподобно, или само божество. Канопа и человек. Почитание героев — основа религии, лояльности, общества. Герой — не «продукт времени». Почитание героев нерушимо. Джонсон, Вольтер.

Скандинавское язычество — религия наших предков. Описание Исландии, родины древне-скандинавских поэтов. *Эдда.* Основная характерная черта древне-скандинавского язычества — олицетворение видимых явлений природы. Иотуны и боги. Огонь; Мороз; Гром; Солнце; Морская буря. Миф о творении; дерево жизни Игдразиль. Современное воззрение на мир, как на *машину.*

Древне-скандинавское верование в том виде, как сохранились о нем предания, представляет наслоение многих последовательных систем; первоначально же это была форма, данная народной мысли первым «гениальным человеком». Один. Относительно его не существует ни истории, ни исторических данных, но тем не менее он был не просто лишь *прирагательным,* а человеком с кровью и плотью. Каким образом его стали обоготворять. Мир природы для всякого человека является фантазией — о самом себе.

Один — изобретатель рун, письмен и поэзии. Отношение к нему, как к герою: идеал древнего скандинава; бог. Тень его покрывает всю историю его народа.

Сущность древне-скандинавского язычества — не столько мораль, сколько искреннее признание природы. Искренность лучше грациозности. Аллегории — позднейшие продукты всякой веры. Сущность практического верования древних скандинавов: дворец Одина, Валькирии, Судьба, Отвага. Его ценная сторона. Скандинавские морские короли, короли лесорубщики — наши духовные прародители. Развитие одинизма.

Крайняя простота древне-скандинавских преданий, совершенно не понятая Грэм. Истинно скандинавская ярость Тора. Бальдер, белый бог — солнце. Как древне-скандинавское сердце любит бога — Грома и шутит над ним. Исполинский Бробдиньягский гений, которому остается только укротить себя, чтобы превратиться в Шекспиров, Гете. Истина в древне-скандинавских песнях: наш мир есть мир явлений. Набеги Тора на Царство иотунов. Ragnarök или сумерки богов; старое должно умереть, чтобы новое и лучшее могло народиться. Последнее появление Тора. Древне-скандинавское верование — санкционированная отвага. Оно, как и все прошедшее, есть достояние настоящего.

Герой как пророк. Магомет. Ислам

На героя уже не смотрят более, как на бога, а лишь как на богом вдохновенного человека. Все герои созданы собственно из одной и той же материи; они отличаются по тому отношению, в какое становятся к ним люди. Отношение к герою — самый верный пробный камень для известной эпохи. Один. Бёрнс.

Магомет — не интриган и не обманщик, а истинный пророк. Он — великий человек и в силу этого, прежде всего, искренний человек. Никогда не следует судить о человеке по одним только его заблуждениям. Давид, царь иудейский. *Раскаяние* — самый божественный поступок из всех человеческих поступков. Нет хуже греха, чем надменное сознание полного безгрешия.

Аравия. Арабы всегда были народом богатоодаренным от природы; дикая мощь их чувств и железная сила, сдерживающая эти чувства. Их религиозность: поклонение звездам. Их пророки и вдохновенные люди от Иова до Магомета. Их святые места. Мекка; ее положение, история и образ правления.

Магомет. Его юность. Его любящий дед. Он не получил никакого школьного образования. Поездки на сирийские ярмарки, где он в первый раз приходит в соприкосновение с христианским учением. Магомет — человек вполне серьезный, братский, простой. Его хороший смех и его хорошие вспышки гнева.

Он женится на Хадиджи. Пророком Магомет становится в сорок лет. Allah Akbar; Бог — велик; *Ислам;* мы должны повиноваться Богу. Не Исламу ли в сущности следуем и мы все в своей жизни? Магомет — «пророк Бога».

Добрая Хадиджи уверовала в него; благодарность Магомета. Его успехи в начале были медленны: из сорока родственников один только юноша Али присоединился к нему. Добрый дядя увещевает его: Магомет, горько рыдая, настаивает на своей миссии. Гиждра. Пропаганда с мечом в руке. Сначала добудьте себе меч. Всякое дело пусть распространяется всеми путями, какими оно может. Природа — справедливый судья. Вера Магомета неизмеримо выше, чем деревянные идолы и препирательства сирийских сект.

Коран — всеобъемлющий кодекс магометанской жизни; книга неудовлетворительно, скверно написанная, но неподдельно искренняя — восторженная, импровизированная проповедь в пылу борьбы с врагами. Непосредственная поэтическая прозорливость сказывается в этой книге. Вселенная, человек, человеческое сострадание — все это представляется истинным чудом для Магомета.

Ислам имел успех не потому, что он «был легок»; успехи какой угодно религии не могут зависеть от этого. Чувственная сторона этой религии не есть дело рук Магомета. Лично Магомет был человеком воздержанным; он чинил собственными руками свою одежду; он доказал свой героизм двадцатитрехлетним суровым испытанием. Его благородство и покорность воле Божьей. В нем не было и тени ханжества.

Его моральные предписания не всегда самого возвышенного характера, но им всегда присуща хорошая тенденция. Его небо и ад чувственны, но не абсолютно. Бесконечная природа долга. Зло чувственности заключается не в наслаждении приятным, а в рабской зависимости от приятного. Магометанство — религия, которую последователи ее действительно исповедывали в глубине своего сердца. Для арабов она была возрождением от мрака к свету; Аравия впервые пробудилась к жизни, благодаря ей.

Герой как поэт. Данте. Шекспир

Герой как божество и герой как пророк — не соответствуют современному состоянию знания; герои как поэт — фигура общая всем векам. Всякого рода герои, по своей сущности, представляют одно и то же; разница, как бы она ни была велика, обусловливается различием *сфер* деятельности; примеры. Наклонности.

Vates соединяет в себе пророка и поэта; Евангелие у того и другого — одно и то же, так как прекрасное и доброе в сущности также одно и то же. Всякий человек до некоторой степени поэт; но даже самый великий поэт далеко не представляет еще абсолютного совершенства. Проза и поэзия, или *музыкальная мысль.* Песня — это своего рода речь, исходящая из неисповедимых и неизъяснимых глубин. Все глубокое выливается в песне. Почитание героев сначала как богов и пророков, а затем всего лишь как поэтов не указывает вовсе на упадок культа героев. Это происходит оттого, что наши понятия о Боге стали шире и глубже.

Шекспир и Данте — святые поэзии. Данте: вся его жизнь отразилась в его книге и на его портрете. Схоластическое образование, полученное им. Его бедствия. Любовь к Беатриче. Его брак не по любви. Изгнание. Он решается лучше никогда не возвращаться на родину, чем признать себя виновным. Его скитания: «Come è duro calle». Жизнь при дворе делла Скалы. Великая душа Данте, лишенного всякого пристанища на этой земле, обращает все более и более свой взор к вечности. Его мистическая, неисповедимая песня. Смерть.

Его «Божественная комедия» есть песнь; все глубокое — музыкально. Это — самая искренняя из всех поэм; она вся как бы вылилась из раскаленного горнила его души. Необычайная напряженность и художественная сила в обрисовке. Три ее части составляют истинный невидимый мир средних веков: каким образом христианин Данте понимал, что добро и зло составляют два крайних полюса в этом мире. Язычество и христианство.

Десять молчаливых веков находят своего выразителя в Данте. Слова, исходящие из глубины человеческой души, совершенно не походят на слова, произносимые одними устами. «Польза», проистекающая от Данте. Мы не оцениваем благодетельности солнца количеством светильного газа, сберегаемого нами. Магомет и Данте. Пусть человек делает свое дело; результаты составляют предмет заботы иного, чем он, деятеля.

Как Данте воплощает в музыкальные образы внутреннюю жизнь средних веков, так Шекспир рисует выросшую из нее внешнюю жизнь. Неожиданный расцвет английского духа, называемый «эрой Елизаветы». Шекспир — глава всех поэтов. Его спокойный, всепроницающий ум. Его необычайная сила в обрисовке образов.

Первый дар поэта, как и всякого человека, заключается в том, чтобы он был достаточно умен, чтобы он обладал способностью видеть. Ум как совокупность всех человеческих дарований. Сопоставление человеческого ума с лисьим умом. Инстинктивное, несознаваемое величие Шекспира. Его произведения — продукты самой природы, и как таковые отличаются неисчерпаемой глубиной. Шекспир более велик, чем Данте: он не только скорбел, но и торжествовал над своими скорбями. Его жизнерадостность и неподдельный, безграничный смех. Его исторические драмы — в своем роде национальный эпос. Битва при Аженкуре. Благородный патриотизм, весьма далекий от приписываемого ему иногда равнодушия. Его произведения служат как бы окнами, через которые мы можем заглянуть в его внутренний мир.

Данте — сладкозвучный первосвященник средневекового католицизма. Из уст Шекспира также раздается своего рода мировой псалом, который можно слушать наравне с священными псалмами. Шекспир — «бессознательный пророк», и потому он выше и правдивее Магомета. Бедный варвикский крестьянин дороже нам целого полка всяких высших титулованных особ. Индейская империя или Шекспир? Английский король, которого ни время, ни случайности не могут лишить трона. Знамя солидарности и единения для всего саксонского царства. Англичанин и англичанка, где бы они ни были, всегда будут говорить: «Да, этот Шекспир — наш»...

Герой как пастырь. Лютер, реформация. Нокс, пуританизм

Пастырь — тот же пророк, но при более обыденной обстановке, изо дня в день просвещающий нас в нашей повседневной жизни. Истинным реформатором бывает тот, кто взывает к незримой справедливости небес против видимого насилия земли. Вполне законченный поэт часто служит признаком, что известная эпоха достигла своего зенита развития и завершается. Увы, ратоборствующий реформатор так же бывает в известные времена необходим, и появление его неизбежно: неправды накопляются, пока не станут невыносимыми. Форма верования, внешний образ жизни проходит, но все существенно-хорошее никогда не погибает: оно составляет наше всеобщее вечное достояние.

У всякой религии есть свои идолы или видимые, признаваемые символы. Они становятся ненавистными только в случае неискренности человека. Особенность каждого героя состоит в том, что он возвращается назад, к искренности, к реальности. Протестантизм и «личное суждение». Никакое жизненное общение не возможно между людьми, живущими одними только ходячими фразами. Учитель-герой тот, кто рассеивает мрак и вносит свет в жизнь людей. Протестантизм не упраздняет почитания героев, напротив, он ведет скорее ко всеобщему героизму, к целому миру *искренних,* верующих людей.

Лютер; его появление на свет Божий представляет, повидимому, событие самое ничтожное, незаметное. Он растет и развивается среди невзгод и суровой действительности. Он становится монахом. Религиозное отчаяние. Ему попадается в руки латинская Библия. Нет ничего удивительного, что он начал благоговеть перед Библиею... Лютер посещает Рим. Он отвечает папе огнем на огонь. Сейм в Вормсе: величайший момент в современной истории человечества.

Войны, последовавшие вслед за реформацией, не следует относить на ее счет. Древняя религия некогда была истинной, и тогда возглас «долой папство» был бы безумием. Протестантизм не умер еще. Германская литература и французская революция представляют довольно заметные признаки его жизненности.

Лютер все время оставался верховным руководителем реформации, и мир, пока он жил, не был нарушен. Его язык стал всеобщим литературным языком. Никогда не появлялось среди тевтонцев, типичную черту которых составляет отвага, человека более *отважного,* чем Лютер; но вместе с тем в груди его билось самое простое, любящее, сострадательное сердце. Его характеристика по *«Застольным беседам».* У смертного одра дочери. Чудесное в природе. Любовь к музыке. Его портрет.

Пуританизм как единственная форма протестантизма, ставшего живой верой. Несмотря на все свои недостатки, он отличался неподдельной искренностью. Мировое значение пуританизма. Отплытие Мэйфлоуэра из Дельфской гавани положило основание царству саксов в Америке. В истории Шотландии одна только эпоха — реформация Нокса — представляет всеобщий интерес. «Нация героев» — *верующая* нация. Пуританизм из Шотландии переходит в Англию, в Новую Англию и т. д.

Вся вина Нокса в том, что он был самым отважным шотландцем. Он не домогался положения пророка. Нокс во время осады замка Св. Андрея. Безусловно искренний человек. Раб-галерник на реке Луаре. Еврейский ветхозаветный пророк в одеянии эдинбургского министра XVI века.

Нокс и королева Мария. Их беседы. Его нетерпимость к фальши всякого рода и плутовства. Нокс вовсе не низкий и язвительный человек, иначе он никогда не был бы действительным президентом-повелителем Шотландии. Неожиданная в нем жилка шутливости: веселый, общительный человек; практичный, нетерпеливый, осторожный, хотя вместе с тем и преисполненный надежд. Его «благочестивая мечта» о теократии или Божьем правлении. Гильдебрандт, Кромвель, Магомет стремились к тому же. В той или другой форме царство Божие на земле и есть именно то, за что следует бороться.

Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бёрнс

Герой как писатель представляет всецело продукт новейших времен. Геройская душа появляется теперь в крайне странном одеянии. Писатели: искренние и неискренние. «Божественная идея мира». Как Фихте понимает истинного писателя. Гёте как образец героя-писателя.

ИСТОРИЯ. Возвращение Томаса Карлейля

Полная дезорганизация в литературе. Искренние писатели — настоящие проповедники в наши времена. Чудеса, производимые книгами. Еврейская Библия. Книги составляют наш действительный университет, нашу церковь, наше правительство. Демократия появляется неизбежно вместе с книгою. Все человеческие дела суть чудодейственные порождения мысли.

Организация литературной корпорации. Необходимость дисциплины. «Бесценные уроки» бедности. Литературное жречество и его важное значение для общества. Китайские ученые правители. Мы переживаем странные времена, когда приходится размышлять над странными предметами.

Век скептицизма: самая возможность героизма формально отрицается. Бентамизм — безглазый героизм. Скептицизм, духовный паралич, неискренность. Героев не стало, их место заняли шарлатаны. Храбрый Чатам, ведущий странную подражательную жизнь. Свирепый протест: чартизм, французская революция. Век скептицизма проходит. Пусть всякий человек работает над совершенством своей жизни.

Джонсон — один из великих английских людей. Его несчастная юность и ипохондрия. Непреклонная самостоятельность. Он искренне подчиняется всему, что стоит действительно выше его. Он придерживался старых формул, и тем не менее — оригинальный человек. Формулы, их действительное значение и злоупотребление ими. Джонсон бессознательно искренен. Его двойное Евангелие: нравственное благоразумие и неизменная ненависть к хаижеству. Его литературные произведения отличаются искренностью и сдержанностью. Архитектурное благородстао его словаря. Боссуэль, несмотря на все свои погрешности, истинно геройский почитатель истинного героя.

Руссо — болезненный, раздражительный, спазматический человек, скорее напрягающийся, чем действаительно сильный. Он не обладает неоценимым «талантом молчания». На его лице отражается весь его внутренний мир. Его эгоизм. Жажда восхвалений. Его сочинения: страстные призывы к действительности. Пророк своего времени. Румяны и прикрасы. Измученный и раздраженный, он впадает почти в помешательство. Его могли загнать на чердак и морить там голодом; могли смеяться над ним, как над маньяком, но ему не могли помешать воспламенить мир.

Бéрнс — настоящий герой в эпоху всеобщего безверия и безжизненных, повторяемых с чужих слов, теорий. Это величайшая во всей Британии душа появилась среди нас в образе шотландского крестьянина с мозолистыми руками. Его геройские отец и мать и их тяжелая жизненная борьба. Его грубый, необработанный язык; веселый, нежный нрав. Его произведения представляют лишь жалкую частицу его самого. Необычайные таланты Бéрнса как собеседника. Он очаровывает как высоких герцогинь, так и низких конюхов.

Сходство между Бéрнсом и Мирабо. Чиновные власти; они надменно отвергают величайшую «умственную силу» своей страны. Странные условия, в каких находится почитание героев. Посещение Эдинбурга — замечательнейщий момент в жизни Бéрнса. На одного человека, способного противостоять счастью, приходится целая сотня способных противостоять несчастью. Литературный львизм.

Герой как вождь. Кромвель. Наполеон. Современный революционизм

Вождь — первый человек среди великих людей; в нем объединяются все формы героизма. Истинная сущность всех социальных процессов, идеал конституции состоит в том, чтобы возвести на трон самого способного человека. Приблизительные решения этого вопроса. Божественное право и дьявольское бесправие.

Печальное положение людей: необходимость *отыскать* своего способного человека и незнание, как сделать это. Эра современного революционизма ведет свое начало от Лютера. Французская революция — вовсе не проявление одного только всеобщего безрассудства. Это истина, облеченная в огонь преисподней; трубные звуки, возвещающие страшный суд всем призракам и пустой рутине. Крики о «свободе и равенстве» указывают в сущности на отречение от фальшивых героев. Почитание героев существует всегда и повсюду — от благоговейного обожания высшего существа до повседневной учтивости между людьми. Почитание героев составляет душу порядка, к которому стремится все в мире, даже революция. Кромвели и Наполеоны всегда являются последним словом всякого санкюлотизма. Как возникают царства и появляются короли?

Пуританизм — лишь эпизод из мировой борьбы истинной веры против всяких деланных вер. Лоод — злополучный педант; в своей спазматической запальчивости он остается глух к голосу благоразумия и сострадания. Всеобщая необходимость истинных форм. Как различить истинные формы от ложных. Обнаженная донага действительность предпочтительнее даже превозносимой до небес пустой видимости.

Дело пуритан. Скептический восемнадцатый век и его отношение к Кромвелю и вообще пуританам. Автор вовсе не желает умалять таких людей, как Гемпден, Элиот, Пим, людей безупречных, исполненных достоинства, последовательных конституционалистов. Но дикий, окаянный Кромаель выделяется из всех них как человек, в котором вы все еще находите действительный человеческий образ. Единственный случай, когда восстание не только оправдывается, но и представляет достойное дело.

Невозможная теория о лицемерии Кромвеля. Его благочестнаая жизнь в качестве фермера до сорокалетнего возраста. Его общественные успехи — безусловно честные успехи отважного человека. Казнь короля не может служить основанием к осуждению Кромвеля. Лицемеры не обладают талантом видеть действительность. Латники Кромвеля как свидетельство его прозорливости.

Увы, мы еще и в настоящее время весьма далеки от уменья узнавать людей, которым можно доверяться. Ипохондрия Кромвеля. Общепризнанная неясность его речей. Его обыкновение молиться. Его импровизированные речи полны смысла. Его *умалчивания*, в которых усматривали «ложь» и «притворство»; однако никто не может до сих пор изобличить его во лжи.

Глупое обвинение в честолюбии. Великое царство молчания; благородные молчаливые люди, разбросанные то там, то здесь, каждый в своей сфере; люди, молчаливо думающие, молчаливо надеющиеся, молчаливо работающие. Честолюбие бывает двоякого рода: одно заслуживает безусловного порицания, другое — похвалы, последнее является неизбежно, как и было в действительности с Кромвелем.

Юмовская теория о фанатике-лицемере. *Вождь* повсюду, во всех человеческих делах является безусловно необходимым лицом. Кромвель, как король Пуританизма, король Англии. Конституционная болтовня. Распущение парламента. Кромвельские парламенты и протекторат. Раз парламенты потерпели неудачу, оставался один только исход — деспотизм. Последние дни Кромвеля. Его бедная старуха мать. Кромвель обращался в конце концов не к суду людей, и нельзя сказать, чтобы люди судили его снисходительно.

Французская революция — «третий акт» протестантизма. Наполеон, зараженный проказой своего века — шарлатанством, проявляет, однако, своего рода искренность: он инстинктивно чует все *практическое*.

Его *вера*: «средства и орудия должны быть предоставлены тому, кто может владеть ими»; в этом же состоит и истинная сущность свмой демократии. Его глубокая ненависть к анархии. В конце концов шарлатанство берет верх: он задумывает основать собственную «династию»; он безусловно верит и полагается на людскую глупость. Этот наполеонизм был *несправедлив*, ложен и не мог долго просуществовать.

Русиновский ноктюрн

Неисповедимы пути художника. Никто, да и сам он, не сможет объяснить, что заставило его — какая высщая сила, какое неведомое чувство — выбрать для жизни и работы из всех русско-равнинных красот и просторов именно этот уголок вятской земли — тихозвучное Лалье, где сливается оно с землей архангельской, вологодской, с землей Коми, где многие сотни лет жили русские люди, возделывали ниву, строили вознесенные к небу строгие храмы, основательные и крепкие на века дома...

Может, так и устроен русский художник с дальнедревних времен, что душа его не обретает покоя, а талант — устойчивости, пока не найдет он в отчем краю места, где среди обыденной и повседневной жизни людей откроется ему высший смысл бытия? Неважно, ссыльное ли это Михайловское или родовая Ясная Поляна, тихий Клин или Золотой Плес, задвинно-провинциальный Хвалынск, глубинно-посконная Прислониха или нынешняя разоренная деревня Харовская... Только, вероятно, современникам нашим найти свою «милую родину» — опору и духовную основу — во сто крат труднее, хотя потребность в ней как никогда велика. Запустение и разорение, постигшие нашу землю, нескончаемые смуты, войны и социально-политические эксперименты так взвихрили и перемешали русский люд, вырвали и срыли с корнем сотни тысяч родовых гнезд, что оставили без роду-племени миллионы людей с недюжинным талантом и, казалось бы, умеющих постоять за себя...

Вот почему художник-график из Вятки Вера Ушакова считает благословением судьбы случившуюся почти двадцать лет назад встречу с Лальем, с Русиновом, ставшими для нее и для ее мужа, художника Виктора Харлова, творческим обиталищем. Ее, горожанку не в первом поколении, до душевной боли тронули тогда непритязательная красота просторной северной земли и строгий достойный уклад жизни русиновцев. И чувства, устремления, подспудно бродившие в ней, заложенные еще, вероятно, нижегородскими прадедушками и прабабушками, старообрядцами, когда-то крестьянствовавшими, а потом ушедшими за лучшей долей в город, ожили, соприкоснувшись с жизнью неторопливой, трудовой и трудной, что течет здесь века...

Художник Вера Ушакова. Фото Павла Кривцова

С той поры и на долгие годы вятская деревня Русиново стала для нее и домом, и мастерской, радостным и очень печальным смыслом жизни и творчества. Легко восприняв уклад деревенской жизни, с его повседневным ритмом — от зари до зари, обязательными заботами по дому и о хлебе насущном с ранней весны и до поздней осени, а порой и зимой, вся небольшая семья — муж, мама Татьяна Александровна, сын Максим — перебиралась в Русиново. Почти каждое утро с карандашом и бумагой (преимущество графика!) отправлялась она по ближним и дальним окрестностям, в леса и поля, по соседним крестьянским дворам... Множество графических листов, рисунков создано за эти годы. И остается удивляться, как удалось Вере Ушаковой в столь изысканно-тонкой, несколько даже эстетской технике офорта, любимой и предпочитаемой ею (к тому же двухмерной — только черное и белое), уместить все, на что откликнулась ее душа. Русиновские закаты и восходы, бурное пробуждение земли и зимняя бесприютность, стылость ее. Упокоившаяся от последнего тепла усталая березка у разбитой в месиво осенней дороги и светлая жизнерадостная речушка вдали, великая печаль спелого, не по-хозяйски неубранного поля и благодушное северное солнце, нежно ласкающее теплыми лучами заскучавшую землю, просторные поля, леса, перелески, и грустные осиротевшие окна... На ее глазах промелькнула нелегкая крестьянская жизнь русиновцев, стремительно подвигавшаяся к разорению веко-



Дорога в деревню

вечного уклада, — уезжали люди, хирели дома, пустела добрая земля, пустели души, отдавая свою боль, печаль и страдания страждущей душе художника... Для Веры Ушаковой «натура» — Русиново и ее жители — стала основой духовного познания традиционного русского мира и познания самой себя.

Вот как она сама рассказывает об этом:

— Со стариками Павлином Ивановичем и Павлой Михайловной Плюсниными я дружила лет десять-двенадцать. Они мне были как родные. Они — одни в деревне Исаковской, мы — одни в деревне Русиново. Самая близкая душа в трех километрах! Сейчас они доживают свой век в дымном городе Ухта, у дочери. Как-то там им прижилось в восемьдесят-то лет? Присылают открытки к праздникам, где ничего не пишут о себе... Жизнь их деревенская полностью соответствовала моим представлениям. Не знаю, что будет с деревней после Павлина и Павлы. Нынешние люди в новых деревнях совсем другие. Грех впадать в уныние. И эти, другие, тоже растят хлеб, чтобы не умереть нам с голоду, но той силы, что была в стариках, в них совсем не ощущается. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» ...Да, картинки мои — последние вздохи деревни. Ее нам пришлось увидеть только уходящей. Первые ощущения — 18 лет назад (о людях) — ну и чудаки! Живут для того, чтобы наработаться досыта, а поесть, что есть. Еда — не главное. Поражал резкий аскетизм в быту, в образе мыслей... И только сейчас начинаешь осознавать значение слов «хлеб насущный». Этот труд во спасение души, во спасение вечно будущей жизни! Этот единый для всех закон — порядок, установленный на земле. Закон этот генетически крепко заложен был в душу русского крестьянина. Он, может, этого и не осознавал, да одним умом этого не постигнуть.

Вполне допускаю, что кто-то все сделанное Верой Ушаковой в Русиновом за эти почти два десятка лет посчитает бытописательством, мало кому интересным и нужным, а скорее чуть ли не физиологическим натурализмом. Ну разве предмет для искусства — корова да солома, навоз да старики и старухи в ватниках и сапогах? Вполне допускаю, что не всякой душе, не всякому сердцу откроется высокий смысл и щемяще-трепетная гармония простой и чистой человеческой жизни, того безвозвратно ушедшего единения неба, земли и человека, где «всякое дыхание да хвалит Господа», веками одухотворявшее повседневную жизнь русского крестьянина и русского художника, который душой и сердцем ощущал это триединство...

К сожалению, иные теперь времена. Иные нравы и взгляды на жизнь и на труд утверждаются в нашем сознании. Но есть сторона в творчестве любого художника, которой мы, как правило, не касаемся. Особенно если речь идет о художниках, среди нас живущих и не обремененных шумной «всемирной» славой. Я имею в виду их взаимосвязь с мировой художественной культурой. Пусть опосредованная и условная, она ведь есть всегда, если есть у художника талант и свое отношение к жизни и искусству. И если она не зависит ни от времени, ни от места, ни от нашего отношения, то почему бы пристрастному зрителю не вспомнить о том, что офорты Веры Ушаковой, ее деревенский «русиновский» цикл по темам, сюжетам, композиционному строю очень по-своему, самобытно, но все же продолжают одну из самых жизнелюбивых, добрых и человечных традиций мировой живописи, до непревзойденного совершенства доведенную великолепными «голландцами», впервые открывшими поэтичность и красоту обыденно-бытового мира

Справедливо было бы сказать: от непомерного богатства, видно, не ценим и не бережем то, что имеем по великому таланту своему... А пора бы!

ЕЛЕНА КАЗЬМИНА



Мария с ведрами



Март

Ветер



Зима надвигается

Ассоциация независимых

Сегодня сладкое еще недавно ощущение свободы стало для издателей равносильным предложению пуститься по миру с протянутой рукой, ибо полиграфию, бумагу, право свободного, без всяческого ущемления распространения среди читателей приходится выискивать и даже клянчить с мизерной надеждой на благоприятный исход. На этом бездорожье всякая поддержка, всякое участие, искренняя рука помощи — бесценный дар. Вот и мы, редакция «Слова», оставшись не только единственными учредителями журнала, но и превратившись в самостоятельное предприятие с правом издательской деятельности, ищем всякую возможность для укрепления жизнеспособности «Слова» и его сохранения для читателей. С этой целью мы и вступили в Ассоциацию независимых издателей. О ее целях и возможностях рассказал корреспонденту журнала генеральный директор Ассоциации, **Михаил Борисович Никольский:**

— Создание этой новой организации вызвано желанием в наше трудное время сплотиться, чтобы защитить и даже спасти свое издание, потому что одному в сложном мире отечественной перестройки не прожить. С этой практической целью и создана Ассоциация независимых издателей. Это не какое-то огромное объединение, у нас нет стремления к всеохватности, которое было присуще прежним государственным структурам, сгонявшим под одну крышу в «добровольно-принудительном» порядке всех и вся, в том числе издательские коллективы, — есть рекомендации Совета Ассоциации: количество ее членов должно быть ограничено пятьюдесятью.

Что же такое Ассоциация независимых издателей? Это добровольный союз представителей главным образом среднего издательского звена, те предприимчивые люди, хорошие организаторы, которые смогли уцелеть в конкурентной, все более ожесточенной борьбе и достичь определенных успехов в условиях рынка. А наша независимость — в свободе от любой конъюнктуры и различных политических ситуаций. Мы независимы экономически, морально, идейно. Однако среди нас есть представители государственных издательских структур, тяготеющих к независимой деятельности, например, Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр», издательство «Прометей». К нам присоединились такие организации, как Ассоциация «XXI век», несколько совместных предприятий и среди них — советско-швейцарское «Бук Чембер Интернэшнл», наконец, просто частные лица, скажем, журналистка Лидия Орлова, которая была главным редактором «Журнала мод», а теперь возглавила частный журнал «Московский стиль».

У каждого члена нашей Ассоциации свои трудности, и они в той или иной степени нуждаются в поддержке, но на свободных, независимых принципах. Отсюда вытекает другая особенность Ассоциации — кроме издательских структур мы привлекаем в нее и производителей. Так, нашим членом стало латвийское государственно-кооперативное предприятие «Бумажно-картонная фабрика «Югла», Ассоциация полиграфических предприятий «АСПОЛ», коммерческо-торговая фирма «Полиграфресурсы», а также Московский коммерческий банк издателей «Издатбанк». В числе членов Ассоциации и распространители печатной продукции, к примеру, — московский арендный магазин «Находка», располагающий двумястами киосками для продажи книг и периодики.

Хочу заметить, что нами установлены не только границы, но и критерии приема в члены Ассоциации. Прежде всего, требуется достаточная дееспособность, должно прослеживаться желание интенсивно работать. Мы сторонимся тех, кто хочет сорвать куш побольше на выпуске какой-нибудь низкопробной книжки, чтобы потом уйти в кусты.

Необходимо сказать, что у нас нет тематического или жанрового ограничения продукции членов Ассоциации. Журнал «Мир звезд» — о выдающихся деятелях современности на поприще искусства, политики, экономики, спорта... У работающего при Московском педагогическом университете издательства «Прометей» основная направленность — педагогическая книга. Ряд других членов Ассоциации выпускают беллетристику. В Минске существует благотворительная организация «Служба семьи», которая выпускает семейный журнал и книги, содержание которых направлено на укрепление семейных отношений, ведение здорового образа жизни.

В противовес чуть ли не повсеместному стремлению к суверенности мы будем стараться через Ассоциацию укреплять и расширять традиционные связи в своей области деятельности. Ведь коммерсанты больше ищут экономического, а не политического решения своих проблем. Среди нас есть представители Латвии и Эстонии, обсуждается вопрос о принятии в члены Ассоциации коллег из Казахстана.

Не менее важно то, как члены Ассоциации смогут обеспечить себя необходимыми материалами. Как уже было сказано, нашим членом стала Ассоциация «Полиграфресурсы», которая является участницей нескольких бирж, где продается бумага. Наши члены получают право не покупать брокерские места, а могут заказать брокеру приобрести определенное количество бумаги, картона и так далее. Причем брокер будет обязан купить их по цене, не выше заявленной членом Ассоциации. Примерно такой же принцип положен во взаимоотношениях с «АСПОЛ». В будущем же мы намереваемся вложить деньги в аренду типографии и ее оснащение современным оборудованием.

Планируем также участие в возможном конкурсе издательств по созданию программ выпуска учебников, детской литературы, других социально-значимых книг и для этого могли бы предложить при условии выделения бумаги по «казенной» цене оптимальный подбор авторов, квалифицированную работу с рукописями. Есть также намерение включиться в создание альтернативных учебников для лицеев, гимназий, воскресных школ. А если говорить о более отдаленном будущем, Ассоциация не отказалась бы и от организации конкурса программ книгоиздания.

В заключение хочу пригласить издателей к разговору — высказать на страницах журнала свое мнение о перспективах деятельности нашей Ассоциации, сделать конструктивные предложения. С такой же просьбой обращаюсь и к распространителям печати. Однако не хотелось бы превращать этот рассказ о первых шагах нашей деятельности в агитку с целью вовлечения в Ассоциацию все новых членов. Некоторое время надо присмотреться, как может существовать такая независимая структура в условиях экономической неразберихи и организационных трудностей. И тогда можно будет вернуться к этому разговору на страницах журнала.

Любитель истории

Русская историческая мысль за рубежом — тема, еще не «вспаханная» новеньким плугом гласности. Речь не идет об исторической романистике, вершину которой, безусловно, представляет творчество А. И. Солженицына, которая, даже и исследуя глубинные течения, «предания старины глубокой», все же, естественно, не может быть лишена художественного вымысла и всего прочего, что мы именуем беллетристикой. С наукой и «людьми науки» дело обстоит куда сложнее.

Разве что специалисты могли слышать имя русского академика и оксфордского профессора П. Г. Виноградова (1854—1925), чьи исследования по средневековой Англии, по выражению его западных биографов, «открыли англичанам их собственную историю». Всем известна теория ноосферы академика В. И. Вернадского, но мало кто знает исторические схемы его сына и «отца евразийства» Георгия. Между тем на Западе оценки отца и сына (тоже академика) подчас противоположны. Так, Н. Н. Берберова, представляя в словаре русских масонов 20 века имя В. И. Вернадского, говорит о нем лаконичной фразой: «отец историка».

Можно писать еще о многих и многих блестящих представителях русской исторической школы, вынесенных бурей Октябрьского переворота на чужой берег. Причем это были не только такие высококлассные профессионалы, как С. П. Мельгунов, но и целая армия так называемых «любителей», т. е. просто образованных русских людей, мучительно размышлявших «на чужой стороне» о корнях катастрофы 1917 г. (таких глубоких!) и о путях к возрождению Родины.

Одним из таких «любителей» был Сергей Лесной (1898—1968). Этот псевдоним взял себе доктор биологических наук, до войны ведущий советский энтомолог Сергей Яковлевич Парамонов. Оказавшись в 1943 году на оккупированной немцами Украине, он не пожелал возвращения в коммунистическое лоно и, проблуждав затем в дебрях «Архипелага Ди-пи», эмигрировал в Австралию. Став там во главе крупного биологического института, он, помимо систематизации австралийских двукрылых, углубился в русскую историю. Причины тому были общие для многих эмигрантов «второй волны» — и острая тоска по далекой несчастной Родине, и утонченная русофобия, с которой он столкнулся на Западе.

И Парамонов, подобно Карамзину, «постригается в историки». Список и разнообразие его исторических изысканий действительно поражают. Здесь и 4 выпуска исследования о «Слове о полку Игореве», и 6 томов «Истории «руссов» в неизвращенном виде», и труд о «Влесовой книге» (а ведь Парамонов не бросил биологию и публиковал, кроме того, стихи и прозу). Парамонов-Лесной подверг критическому переосмыслению буквально всю раннюю русскую историю, извращенную, по его мнению, западной наукой и ее российскими и советскими подпевалами. Происхождение славян, Руси, норманская теория — весь этот громадный комплекс проблем необходимо решать совершенно по-новому, — вот лейтмотив его сочинений.

Советские научные издания если и отзывались изредка на сочинения Лесного, то с нескрываемым пренебрежением, например: «Редакция ТОДРЛ не считает возможным вступать в спор с С. Лесным по вопросам филологическим, историческим и прочим ввиду полной его некомпетентности в гуманитарных науках. С этой стороны книги С. Лесного лишены какого бы то ни было научного значения». Такие суровые вердикты позволяли, однако, их авторам «не вступать в спор» с Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным и множеством «учителей» еще менее «компетентных», от которых зато выслушивались и принимались к исполнению «ценные указания». Эти идеологические указания и догмы, руководившие наукой, не только намертво сковывали мысль ученых, но и безбожно извращали представления об отечественной истории в массах «советского народа».

Об этой плачевной ситуации и били в набат такие «дилетанты», как С. Лесной. К сожалению, за прошедшие годы ситуация мало изменилась к лучшему. Историки роются помногу в конъюнктурном сталинизме, понемногу в ленинизме, а дальше, в тысячелетней русской толще, для них и для нас все еще непроглядная мгла. И снова лезут ее озарять патриоты-«непрофессионалы», грозя опередить неповоротливых и догматичных «специалистов», которые за схоластическими спорами опять дадут какому-нибудь новому торговцу Шлиману откопать русскую Трою. Но в конечном счете, родная история — это наша общая боль и радость, и поэтому и изучение ее — дело общее, а не только привилегия избранных. И сейчас, вглядываясь в туман прошедшего, нелишне помнить слова, сказанные грядущим исследователям историком 18-го века Г. Ф. Миллером: «Чем глубже рыться, тем богатее будет добыча. Светильников надо собирать сюда как можно более, здесь много еще темного».

Одним из таких светильников и могут стать исторические труды Сергея Лесного, до сих пор не переизданные и не известные на его родине.

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ

Краткая библиография исторических трудов С. Лесного:

«Слово о полку Игореве» (к 150-летию со дня опубликования). Ч. 1—4. Париж, 1950—1953 (текст издания 1800 г., реконструированный текст 12 в., перевод на современный русский язык, комментарии, принципы, определяющие понимание «Слова»).

История «руссов» в неизвращенном виде. Париж, 1953—1957. Вып. 1—6 (критика норманской теории).

Пересмотр основ истории славян. Т. 1. Мельбурн, 1956 (славяне — исторический народ Центральной Европы).

Русь, откуда ты! Основные проблемы Древней Руси. Виннипег, 1964 (проблемы истории славян, Руси, варягов, славянской письменности).

«Влесова книга» — языческая летопись доолеговой Руси. Виннипег, 1966 (история находки, текст с переводом, комментарии).

Новый справочник

Это, пожалуй, первая у нас книга такого рода, и ее появление пришлось как нельзя кстати: быстрые и коренные перемены в издательском деле, создание все новых центров по выпуску печатной продукции, растущий интерес деловых людей к заманчивому своей экономической выгодой работе требуют исчерпывающей и достоверной информации о всех, кто занимается книгоизданием. И ее в данном справочнике немало — адреса, телефоны, фамилии директоров и главных редакторов, тематика, число произведенных каждым издательством единиц печатной продукции, ее общий тираж... Пользуясь этими данными, можно не только представить общую картину отечественного книжного дела нашего времени, но и при необходимости определить в нем свое место и роль. Тем более что в справочнике, помимо хорошо знакомых данных об издательствах, имеется весьма полный перечень недавно созданных малых предприятий, редакционных и информационно-издательских агентств, фирм и центров, СП, типографий... Включены в справочник и Устав Ассоциации советских книгоиздателей вместе с аналогичным документом Фонда развития отечественного книгоиздания им. И. Д. Сытина. Очевидно, что те, кто занимается выпуском и распространением справочника, должен иметь в виду, что он нуждается в регулярном обновлении и переиздании, ибо состав издателей, их возможности и намерения меняются буквально каждый день.

Г. ВАСИЛЬЕВ

Книгоиздание в СССР. Справочник книжных издательств, издающих организаций и предприятий (по состоянию на 1 июня 1991 года) / Сост. Н. И. Кузнецов, П. С. Скрипников. — М.: Ассоциация советских книгоиздателей (АСКИ), 1991.

Справочник можно приобрести за наличный и безналичный расчет, обратившись по адресу: 121002, Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 43, комната 210. Тел. 241-10-30.

Изваяния древних мастеров

Древнерусское изобразительное искусство обречено было временем на тяжелые испытания. Полное забвение на протяжении нескольких столетий тяготело над великолепными творениями художников Древней Руси. Пожелтевшие лаки и ремесленные аляповатые записи скрывали драгоценные краски русской иконы. Только в конце прошлого века скальпель реставраторов приоткрыл завесу небытия над чудесными образцами старой живописи. Реставрация икон в России стала неотъемлемой частью изучения культурного наследия прошлого, а открытия отечественных реставраторов получили мировую известность. По мере расчистки все большего и большего числа образцов древней живописи невольно вставал вопрос о том, могла ли существовать скульптура рядом с так многосторонне развитым искусством иконописи. Положительный ответ на этот вопрос дали реставрационные работы.

Скульптура Древней Руси в основном была расписной, и те же разрушения, которым подвергались иконы, наносили ущерб памятникам деревянной резьбы. Роспись темнела, дерево рассыхалось, растрескивалось, и, может, именно поэтому до наших дней сохранилось так мало скульптурных изображений. Но даже ограниченное количество произведений резчиков по дереву позволяет представить полную картину развития скульптурного ремесла на Руси.

Изваяния из дерева бытовали на Руси в глубокой древности. Ко временам далекого язычества относятся прообразы многих скульптурных изображений, созданных народными мастерами. Языческие идолы в наглядной форме выражали преклонение древних обитателей нашего края перед верховными божествами, рожденными их суеверным воображением. Арабский путешественник Ибн-Фадлан, побывавший на берегах Волги в 922 году, описывает один из обрядов поклонения идолам здешних жителей: «Как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и несет с собой хлеб, мясо, лук, молоко, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой лицо, похожее на человека, вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений стоят высокие деревяшки, воткнутые в землю».

Дохристианское искусство резьбы по дереву, навыки, приобретенные народными мастерами в глубокой древности, легли в основу многих скульптурных образцов позднего времени. Традиция оказалась настолько устойчивой, что подчас резьбу XVII века с изображением птиц, зверей или фантастических животных невозможно отличить от языческих идолов.

Церковная деревянная скульптура — область, где во всем многообразии и блеске проявился талант народных резчиков по дереву. Мы намеренно оставляем в стороне искусство пермских скульпторов, ибо о нем много написано и сказано, а «пермские боги» стали хрестоматийным примером.

Начавшееся в 1958 году во Всероссийском реставрационном центре восстановление русской деревянной скульптуры из провинциальных музеев дало поистине грандиозные результаты. Уже через пять лет в Москве состоялась большая выставка, где были показаны шедевры русской деревянной пластики, происходящие из самых различных городов и княжеств Древней Руси. Особое место на этой произведшей фурор выставке занимали работы архангельских резчиков, обнаруженные в северных храмах специальными экспедициями, которые возглавил большой знаток и ценитель деревянной скульптуры Н. Н. Померанцев.

Резчики архангельской земли часто превращали скульптурное искусство в иллюстрацию былинного эпоса. Их произведениям не всегда свойственны лаконизм и сдержанность сотоварищей по ремеслу, работавших в других областях России. Блистательно исполненный архангельский киот с изображением св. Георгия, который по праву можно назвать классическим, — точный пересказ легенды о воине, победившем дракона. Здесь изображен фантастический город с причудливыми постройками. Люди выглядывают из окон, наблюдая за ожесточенным поединком; змей в предсмертных судорогах извивается у копыт белого коня. Все зафиксировано с пунктуальной точностью, и вместе с тем художник дал полную свободу своим творческим устремлениям и ремесленному мастерству.

На цветной вкладке представлено несколько экспонатов из Архангельского музея изобразительных искусств, каждый из которых являет образец высокого искусства.

Неровные поверхности скульптурных объемов вызывают при реставрации множество особых трудностей, исключенных в работах по восстановлению гладких поверхностей иконных досок. Поэтому мастерство реставраторов резьбы по дереву, вернувших за короткий срок первоначальный облик огромному количеству образцов русской деревянной скульптуры, заслуживает самой высокой похвалы. Результатами работы таких корифеев любимой профессии, как А. Егоров, В. Филимонов, О. Трофимов, Л. Дунаев, восхищались посетители выставок русской деревянной скульптуры в Москве, Ленинграде, Архангельске, Париже, Токио, Монреале, Варшаве и Праге. Хочется, чтобы в наши трудные времена, когда на глазах рушатся традиции и профессиональные устои редких ремесел, отечественная школа реставрации деревянной скульптуры не погибла, ибо в запасниках российских музеев ждут своей очереди на воскрешение творения старых резчиков по дереву.

САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ

С любезного разрешения Архангельского музея изобразительного искусства работы древних северных мастеров снял на слайды фотохудожник Виктор Коноплев (см. сс. 35—38).



На снимке: в центре — А. Зверев

В. ШУМСКИЙ

Магический Анатолий Зверев

Художник о себе и своей жизни...

— Родился в 1931 году, 3-го ноября, в Москве. Первое свое рисование, как помню, совершил в пятилетнем возрасте. А было так. Пошел с родителями во время выборов на избирательный участок. Детям там была отведена комната, где давали рисовать, а для этого снабжали бумагой и цветными карандашами. Изобразил «уличное движение». Мне присвоили первый приз — портрет Сталина в рамке. Та премия была первой и последней в моей жизни — «сталинская премия».

Девяти лет, перед войной, был зачислен в кружок рисования в пионерском лагере. Как-то нарисовал акварелью чайную розу или шиповник. Точно не помню. Неожиданно для себя имел большой успех. Руководитель кружка пришел в удивление. А на другой день, 22 июня, началась война. Так и с пионерским лагерем — в первый и последний раз. Тот кружок рисования напоминает мне сон, «утренний туман». Рисунок же, роза или шиповник, хорошо запомнился, потому что нравился самому. А альбомчик тот, где был рисунок, исчез навсегда во время войны, которая длилась, кажется, пять лет. («Кажется» — это так типично для Зверева. — *В. Ш.*) С началом войны, — продолжал художник, — рисованием не занимался. Жил в Москве. Шли бомбежки. Потом мы эвакуировались в Тамбовскую губернию, в деревню Березовка, Красивского района. Там была родина моего отца. Жили там с родителями — с матерью и отцом. Мать — Пелагея Никифоровна, отец — Тимофей Иванович. Мать — рабочая, прачка, отец был инвалидом I группы с гражданской войны. В деревне прожили два года. Рисовать не удавалось. Уже тогда научился курить. Мать курильщиков звала «трубокурами». Но по-настоящему к этому зелью не привык. Видимо, потому, что легкие были плохие, часто задыхался и кашлял. Отец же курил «по-черному». «Козьи ножки» ему ловко накручивала мать, так как у отца одна рука была парализована.

В деревне учился в школе, окончил два класса, в третьем остался на второй год. Плохо учился еще и потому, что сверстники мои издевались надо мною. Я для них был белой вороной среди серой стаи. И не знаю почему. Из-за этого в школу не хотелось ходить. Жизни и остальному учился у отца. Он мне объяснял, откуда булки, плюшки-сдобы берутся, как их зарабатывают. Многое виделось в природе, нас окружающей. Видел сугробы от метелей и буранов, видел ласточек на проводах столбов, видел половодье и бобров, видел лес, речку Ворона, у которой некогда бывал атаман Антонов. Помню раков, которых привозили в Москву живьем в мешках и которые после отваривания становились красными, как пасхальные яйца от луковой чешуи. Многое видел в разницах и единстве между лугами и задами, между полем и лесом, между сухостью и дождем и т. д. Тамбовский чернозем богат. Когда шла «война народная, священная война», мы в Тамбовской области никогда так сильно не нуждались в еде, как во многих местах страны, мы не голодали.

В деревне что-то нравилось, а что-то нет. Много было приятного, но бывало и наоборот. Запомнил гул полей, когда речка насторожена перед разливом. Во время разлива рыбачили. С одним рыбаком подружился, он меня не отталкивал. Но из меня рыбака не вышло, видно, не дано, хотя и хотелось. Я «состряпал» себе удочку, но хорошим уловом похвастаться не мог. Надо все-таки уметь. И расстался я с этим занятием, но в душе продолжаю уважать рыбалку...

Помню, юношей любил рисовать верхушки деревьев. Они у меня получались. Я их рисовал не как с натуры, а как бы изнутри, как бы я сам был в их середке, у ствола, и оттуда видел их: от основания до кончиков ветвей. Теперь так не смогу. Для этого надо обладать особой энергией. Теперь ее нет. Теперь и на дерево-то не залезешь.

— А не смог бы, — спрашиваю, — хоть как-то показать, напомнить, как это было.

— Смогу, но получится не то. Поэтому лучше не надо. Того уже не вернешь. Такова жизнь. Но она щедра, она дает что-то взамен, то, чего тогда, в юности, еще не было.

Помню, как мать ходила в лес зимой за хворостом, в мороз. Прихватывала с собою ведро, чтобы на обратном пути подбирать щурят, выбросившихся из проруби. Помню, болели глаза. Я много смотрел на потолок, а оттуда сыпалась известка. Долго лечился, ездили к врачам в Тамбов...

В Москве снова стал учиться. Но снова плохо, неровно. Классная руководительница Мария Васильевна говорила, что это из-за лености, из постоянного желания ничего не делать. Бывали лишь случайные прорывы, как ветер при тихой погоде. Поэтому оценки «отлично» бывали в весьма ограниченном количестве. Всегда были пятерки по немецкому. (Могу засвидетельствовать, как свободно знающий немецкий язык: Зверев прекрасно помнит по-немецки все, что приходилось ему изучать в школе или слышать за ее пределами. Он любил этот язык, знал кое-что наизусть, в частности, пословицы. — *В. Ш.*) Пятерки еще были по черчению, рисованию, иногда по поведению. Посредственно учился по литературе и русскому языку, по остальным предметам — плохо. В силу такого силуэта мне долгое время не удавалось закончить седьмой класс. Закончил злосчастную семилетку в школе рабочей молодежи, и то благодаря классной руководительнице, которая вела литературу и которая иногда говорила, что я в литературе — не от мира сего, особый вроде. Иногда писал стихи. А в общем-то меня пожалели и вместо двоек поставили тройки: я наводил на учителей жалость своей общей бездарностью в учебе. (Судя по всему, учеба далась Звереву непросто; видимо, поэтому во время споров он нередко говаривал: «Прошу со мной не спорить, я все-таки окончил семь классов». — *В. Ш.*)

— Потом, — говорил далее Зверев, — учился в художественном ремесленном училище. Ремеслуху закончил, когда мне уже было лет 17—18, и с хорошими оценками. На экзаменах мне дали самый высокий разряд — маляра-альфрейщика. Это стенная живопись по сырой штукатурке. Потом все это упразднили, нас не доучили на целый год. Все разбрелись кто куда. Я устроился работать художником. Сначала в Доме пионеров, потом в парке «Сокольники». Многого навидался. Однажды в Доме пионеров, где я работал фактически истопником, устроили выставку художественного кружка. Выставил и я кое-что. На выставке побывала делегация японцев. И надо же, они не сговариваясь оценили только мои вещи и тут же выразили желание их купить. Продать, конечно, не продали: закона такого у нас нет. Директриса испугалась чуть ли не до обморока: пришьют еще что-нибудь. Времена такие были. На следующий день меня уволили, не помню уж под каким предлогом. Знающие люди мне потом говорили, что неправильно меня уволили, не по закону. Ну да Бог с ними! Какое это имеет значение...

Потом павильон, где занимались рисованием, сгорел. Многое сгорело. Но я не переживал. И не из-за того, что уволили. Нет. Уж слишком много у человечества всяких несчастий, чтобы досадовать по поводу каких-то непредвиденных мелких случаев...

В свое время я был призван в армию, во флот. Но вместо нескольких лет береговой обороны пробыл там всего семь месяцев. Уволили по болезни. (А дело заключалось скорее всего в том, что Зверев катастрофически не мог выполнять любые воинские приказы, начиная с того, что он без смеха не мог выполнять команду «смирно». — *В. Ш.*) Вернулся домой, — продолжает Зверев, — и обнаружил, что рисование мое, насчитывавшее несколько сотен единиц, сожжено братом. Когда стукнуло двадцать, я был поражен красотой одной дамы — не из Амстердама. Мне было грустно... Я хорохорился, хотелось выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Но судьба, в которую я, очевидно, никогда не верил, не совершила то чудо, о коем может только мечтать современный шизофреник.

...Этот диагноз — «шизофрения» — мне поставили врачи. Я тогда не понимал, что это такое, никогда этого слова раньше не слыхал. Как-то пришел к Ваське Ситникову* и спрашиваю его, что такое шизофрения. Вдруг Васька налился гневом и замахнулся на меня какой-то железякой. Я шарахнулся в угол. Оказывается, Васька сам был шизофреником, и он подумал, что я, спрашивая его, издеваюсь над ним. Когда выяснилось, что я всерьез, Васька мне и объяснил, что такое шизофрения.

А с любовью тоже не везло. Я знал знаменитого коллекционера Костаки. И хотел даже жениться на его дочери. Но Костаки сказал: «Толечка, ты — необыкновенный, ты — гениальный, в тебе масса плюсов, но еще больше минусов, особенно для семейной жизни. Так что, Толечка, на нас не рассчитывай».

Так я расстался с любовью, которая, может быть, всех заводит в тупик, после которого сам не сам. В общем, личного счастья не получилось, хотя я и стремился к этому.

...Я рисовал по-прежнему много, но несерьезно, в силу той поверхностной серьезности, которая меня и всех нас окружала. Надо было жить и выживать. Но мои замыслы выявили мои шпионы. (У Зверева была определенная мания преследования, и, кстати, не без основания. — *В. Ш.*) Они устроили мне «темную», жестоко избили. И было это не раз. Мне тогда казалось, что с живописью в стране Советов надо прекратить. Думал, женюсь и уеду жить в Тамбовскую губернию, где когда-то находился во время войны... Но, увы! Я так и не добрался до этой «зоны смешанных лесов». Да, видно, оседлая жизнь не по мне. Предлагали мне уехать во Францию с помощью фиктивного брака. Но и это не по мне: все-таки я — русский. (Зверев здесь не раскрылся: он не уехал за границу прежде всего из-за женщины, которую любил и о которой сказано дальше. — *В. Ш.*)

Зверев отрицательно относился к советской системе. Однажды мы с ним разговорились и затронули такую тему, как Советская власть. Зверев вспылил до крика и гнева в глазах: «Нет никакой Советской власти! Дай листок бумаги, и я напишу, давай, давай!» Я дал. И вот как Зверев, видимо, впервые в жизни изложил свое кредо: «Советской власти не существует и не существовало. Ее придумали «личности» весьма сомнительные, бандитские и авантюрного порядка. Думать о существовании Советской власти обозначает заблуждение глубочайшего характера... Поэтому сообщаю: тот, кто говорит о так называемой Советской власти, еще раз, еще и еще раз глубоко заблуждается». И далее Зверев добавил: «Советская власть — мистификационное понятие. Чтобы в нем разобраться, надо побывать в вытрезвителе: там обворовывают, кладут в обоссанную до тебя постель и больно избивают, калечат. И занимаются этим также женщины, здоровые, как лошади».

— Тем не менее, — продолжал Зверев, — живопись, ри-

* В. Ситников — талантливый художник. Несколько лет назад эмигрировал за границу. Там и умер.

сование не прекращались. Но тут я должен заметить, что все остальное настолько всем известно, настолько баиально, что дальше ехать некуда. (Выражение «дальше ехать некуда» было одним из любимых у Зверева. — *В. Ш.*) По рисункам моим и картинам можно видеть и слышать меня.

Зверев решил в заключение почитать некоторые свои стихи, коих им написано немало. Если бы их собрать (а такое намерение есть у одного из поклонников Зверева), то получился бы не один сборник зверевской поэзии. Из стихов мы узнаем, что Зверев был заядлым футбольиым болельщиком «Спартака». Особенно он чтил великого английского форварда послевоенного времени Стэнли Метьюза и Федора Черенкова.

Дальше он декламировал такое: «Я синие глвза люблю твои. А глаз куда ни кинь — повсюду ты. О, все цветы у красоты, у высоты высот, у гор... Там, где немыслим никогда индус Рабиндранат Тагор. И не гранит его хранит средь гор и горя, его единственно хранит исток с горы, с форелью споря. О горе, горе! О горе гор! И с гор родник из утомленья к счастью рвется».

Закончил он свой рассказ таким четверостишием: «А поэтому, став поэтом, шлю привет вам от чистой души, что хотела кормить вас котлетой где-то в очень далекой глуши!» И добавил: «Аминь, до свидания!» И подпись — АЗ и дата — 1981 год.

То был как раз год его пятидесятилетия.

Из того, что я запомнил о нем...

По улицам Москвы бредет сутулящийся человек и носками обшарпанных ботинок бьет то по попавшему под ногу камню, то по ледышке. Он идет шаркая, никого не замечая и никогда не оглядываясь. Он идет туда, куда попросилсв, или туда, где его не ждут. Он бездомен, словно бродяга. Плохо одет, с чужого плеча. Если на нем рубашка, или джемпер, или фуфайка, то надеты они обязательно наизнанку. Так ему хотелось. Взлохмачен, борода — клочьямн. У него никогда не водилось расчесок, а чужими он не пользовался по причине болезненно развитой брезгливости. В нем все необычно: и походка, и манера держать голову — по-птичьи втянув ее в плечи, — и то, как он глядит на окружающее — как бы в отрешениости. Это и есть Анатолий Зверев.

Познакомился я с ним без малого лет двадцать назад, через художника А. Степанова, в его мастерской на Беговой улице. Зверев сидел за столом как бы нахохлившись и опершись локтями на голый стол. С лица его не сходило подобие виноватой улыбки. Хозяин мастерской показал мне некоторые работы Зверева, внсевшие нв стенах. Моя влюбленность в художника возиикла сразу же, буквально с первого взгляда. Я тут же предложил А. Степанову (картины были подарены Зверевым ему) продать их мне. Тот довольно охотно уступил, взяв за них «по-божески» (по тем временам). Вообще, надо сказать, что при жизни Зверева за его вещи платили неизмеримо меньше того, что они стоили на самом деле. Художники, резко уступающие Звереву в таланте, оценивали свои вещи во много, в десятки рвз дороже зверевских. Объяснялось это тем, что Зверев мог создать картину в вашем присутствии и попросить (именно попросить) за нее «четвертинку», а то и того меньше. Где такое еще встретишь? Но все это отрицательно влияло на коммерческую сторону творчества Зверева. Както сказал ему: «Толя, твои вещи стоят гораздо дороже того, что за них дают. Что касается меня, то я могу исходить только из своих финансовых возможностей, а они невелики. Поэтому решай сам». «Ладио, ладно, — сказал Зверев,— сочтемся. Я тебе прощаю. Дашь, сколько сможешь». Конечно, на этом можно было спекулировать, что некоторые и делвли: покупали дешево, а потом дорого перепродавали. Но были и те, кто помогал Звереву, и если сами не покупали по высоким ценам (Зверев мог и запросто дарить), то содействовали тому, чтобы реализовать картины по более или менее достойным ценам. Таковым был известный художник и друг Зверева Владимир Немухин. Надо признать, что этот человек, всегда и неизменно искренно высоко ценивший Зверева, много сделал для его популяризации и утверждения в числе наиболее талантливых художников России и современности. Без таких, как Немухин, Звереву пришлось бы совсем неважно.

Картины, портреты Зверева, когда он их писал, многим казались даже несуразицей. А после, видя их раз от раза, люди тянулись к ним. Как видно, любовь к Звереву приходит порой не сразу, но зато неизбывно. Как любое истинное искусство, вещи Зверева притягивают. Тот же, кто их не принимает (а такие тоже есть), — это люди, которые обойдены судьбой в том смысле, что они вообще ие видят прекрасного. Не трудом, не вымучиванием, не количественными слагаемыми берет за душу Зверев, а вспышками, порывами и прорывами видеиия, озарения. Талант Зверева импульсивен. Он всегда хотел писать, никогда не отказывался. Писал совсем не по канонам, быстро, успевая за один присест создать три-четыре, а то и пять картин. Максимальная продолжнтельность его работы над вещью не превыщала 30—40 минут. Но это вовсе ие значит, что только за столь «долгий» срок он создавал нечто лучшее. Нет, лучшие его вещи (из портретов, пейзажей и тем более рисунков) есть и среди тех, на которые уходило минут десять-пятнадцать, а то и того меньше.

Прежде чем создать портрет, Зверев обычно говорил: «Давай, детуля, увековечу». Вроде бы шутка, а с долей правды.

Уникальный характер Зверева создал художника необузданного чувства, которое он, однако, выражает с неповторимой экономностью. Буйство чувств и чувство меры — эти черты свойственны Звереву как никакому другому художнику. Думаю, что в лаконизме ему нет равных. Зверев в совершенстве владеет методом квжущейся незавершенности, по поводу чего «непосвященные» (в том числе и среди известных художнков и искусствоведов) порой не скупятся на нелестные эпитеты. Но в этой мнимой незавершенности и кроется один из секретов красоты. Это направление в заеревском творчестве высоко оценил сам Пикассо, подчеркивавший, что народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать «законодателей» изобразительного искусства за пределами своей страны. Говорил о нем и Фальк: «Каждый взмах его кисти — сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие».

Зверева любят и ценят за то, что он абсолютно не способен сфальшивить, быть хоть в малейшей степени измысливаемым. Бездонная искренность — это естественное состояиие Зверева — не зависима от того, что совершается вокруг, — кутеж или войнв. Он, подобно Есенину в поэзии, источал художничество. Есть художники вторичные, рассудочные, претенциозные. Зверев всегда первичен. И к нему нельзя быть равнодушным: либо его любят, либо отвергают.

Некоторые считают Зверева «гениальным люмпеном». Относительно «люмпена» я бы поостерегся. Да, по образу жизни кое-что сходиое было, но не душа. Это был неповторимый художник, творивший с самых ранних лет жизни и вплоть до самых ее последних дней. Коллекционеры подсчитали, что всего Зверев создал более 30 тысяч единиц. Не многовато ли для «люмпена»? Живописную манеру Зверева определяют квк «вдохновенный экспромт». С этим можно согласиться, но я бы определил ее еще как «магический реализм».

Однажды один из разбогатевших художников был в гостях у Костаки, коллекционера с мировым имеием. Он «открыл» Зверева, во всяком случае для Запада, где позднее появились серьезные исследования, в которых Звереву неизменно отводилось значительное место. Одно из них — «Неофициальное искусство в Советском Союзе» Игоря Голомштока и Александра Глезера, вышедшее в Лондоне еще в 1977 году. Тот богатый художник, увидев у Костаки работы Зверева, сказал:

— А что это за мазня у вас? Я такое могу делать по пятнадцать штук за полчаса. Это даже не полуфабрикат.

— Голубчик, — сказал Костакн, — ловлю вас на слове. Вот вам лучшие английские краски, кисти, бумага. Пожалуйста, покажите. Но договоримся о пари: если у вас получится, то можете забрать любую из икон в моей коллекции, если же не получится, то публично признаете свое поражение.

— Хорошо, согласен, — обрадованно сказал художник (кстати, тоже собирающий иконы) и начал работать «под Зверева». Он совершил не менее семи попыток, и ни одна не удалась.

— Я сегодня не в форме, — буркнул низвергатель Зверева.

— Голубчик, — сказал Костаки, — вы всегда будете не в форме. Вы проиграли пари... Вы не разглядели замечательного художника, слава которого еще впереди. Ай-я-яй...

О художниках вышеописанного толка Зверев говорил: «Все они обманщики и, сами того не ведая, гибнут в собственном обмане».

Зверев хорошо относился к тем художнкам, которые были по-настоящему талантливы и в чем-то своей натурой напоминали самого Зверева. Одним из таких был уже упоминавшийся Василий Ситников. В нем Зверев особенно ценил его личностные особенности.

Зверев был крайне ревнивым. Одна женщина сыграла в жизни Зверева важную и существенную роль. Речь идет о Ксении Михайловне Асеевой, вдове известного поэта. Сейчас ее тоже нет в живых. Она была намного, лет на тридцать с лишним, старше Зверева. Между тем Зверев ее любил, был привязан к ней, и если не уехал за рубеж (а предложения на этот счет, как мы видели, были), то прежде всего из-за нее.

— Толя, любить вас я не могу, а быть рядом могу, — сказала Асеева Звереву.

Больше всего Зверев любил быть с нею один на один. Тогда он пел, дирижировал музыкой, передаваемой по радио, танцевал, ликовал. Асеева была человеком высшей культуры, огромной порядочности, воспитанной, прекрасно понимающей, что есть действительно новое и талантливое (отсюда и привязанность к Звереву), лично знала Есенина, Маяковского, Велимира Хлебникова и многих других выдающихся созидателей русской культуры. Она принимала их у себя дома. Хорошо музицировала на рояле, исполняя Рахманинова, Мусоргского, Чайковского...

Зверева тянуло к людям чистым, неиспорченным расчетами и конъюнктурой, искренним, надежным. Именно такой и была Асеева.

Никому Зверев не сделал ничего плохого, разве только себе, своему здоровью, никого не обидел, не обездолил, ни у кого ничего не отнял и не взял. По существу, ои только отдавал, и отдавал то, что не поддается измерениям денежными эквивалентами. Он никому и ничего не задолжал, а ему должны (и очень много) сотни и даже тысячи людей, ибо он их обогатил и в прямом, и переносном смысле слова. Он отдал то, что лучше всего, и так много, что нет для этого материальных вместилнщ. Зверев отдавал не что-то, он отдавал себя, целиком, без остатка. Многие из тех, особенно владеющие его картинами, безмерно им одарены с такой щедростью, с такой широтой, на какие они, судя по всему, не способны. За всю свою уже немалую жизнь я не встречал человека более щедрого, чем Анатолий Зверев. Он всегда отдавал нуждавшимся и последний кусок хлеба, и последний глоток вина, и последнюю рубашку. Как-то я сказал Звереву, что у него интересиая рубашка. Он тут же, ни слова не говоря, стал снимать ее. Так он мог отдать любую вещь любому человеку: сразу и без всяких сожалений и оговорок. И здесь он был в полном смысле евангельским человеком.

Квк-то Зверев иаписал длв Немухина в подарок «Натюрморт с омаром», который демонстрируется практически на всех выставках Зверева. Картина исключительно талантлива. Она неудержимо привлекает любого посетителя. Не случайно ей в «Книгах отзывов» даются самые высокие оценки, вплоть до «гениально». Прошло некоторое время, и Немухину предложили за нее большую сумму. Встретив после этого Зверева, Немухин стоял перед иим в смущении, не зная, как быть.

— Что ты такой кислый? — спросил Зверев.

Немухин честно сказал, о чем идет речь, и добавил, что деньги будут пополам.

— Ну и что? — сказал Зверев.

— Деньги-то не лишние, — сказал Немухин, — да продавать так не хочется. Вещь-то вершинная.

— Ну и пошли всех куда подальше, — сказал Зверев, у которого в кармане не было ни гроша. И снова неподдельный детский смех.

Бывало и так. Костаки устроил Звереву сеанс среди людей дипкорпуса. Таким путем он помогал Звереву заработать. Обычно речь шла о трех вещах — масло, акварель и рисунок. Получил Зверев тогда две тысячи рублей — деньги по тем временам немалые. Выпил со своим собутыльниками. Забрали в вытрезвитель. Избили, все отняли до копейки. На следующий день «расщедрились» и дали на троллейбус, а через пару дней прислали повестку на 25 рублей за суточное содержание в вытрезвителе. Когда Зверева оттуда выдворяли, он о деньгах и не заикался. Этот рассказ вызвал во мне взрыв возмущения. А Зверев говорит: «Детуль, не серчай, так всегда было и так будет». И ни малейшего сожаления о случившемся. И стало ясным, что сколько бы денег у Зверева ни было, наутро, после выпивок и вытрезвителей, ничего не остается. Ни разу Зверев не говорил, что деньги пропали. Деньги вообще не шевелили его душу.

По существу, Зверев был верующим человеком. Он грешил, как и все мы, но, в отличие от нас, в его грехах не было злокачественности, ибо душа его была бесконечно добра к людям, к их делам. Он, например, никогда не унизил ни одного художника. И в то же время я слышал так много хулы от других художников, грязно поносивших друг друга, в том числе и Зверева. Иногда казалось, что этот цех культуры просто завшивлен недоброжелательством. И только Зверев не дал ходу такой оценке. Он нередко проявлял великую терпимость по отношению к тем, кого Пушкин называл «падшими» и по отношению к которым призывал к милости. Падшие ведь часто далеко не во всем виноваты. И сегодня перестроечное государство целенаправленно работает на увеличение сонма падших.

Лет пятнадцать тому назад я спросил, как он отнесся бы к тому, если бы его картины поместили в Третьяковской галерее. Зверев ответил: «Туда меня смог бы поставить только сам Третьяков. Но его нет. Поэтому ие могу согласиться быть сегодня там через людей, ничего общего с Третьяковым не имеющих. Те, кто выставлен в Третьяковской галерее после ее основателя, это не художникн, это в большинстве своем — враги живописи, ее предатели. В новое здание Третьяковки тем более не пойду, так как это было бы предательством по отношению к себе». Предательством он считвл, судя по всему, приобщение к соцреализму. Он говорил: «Социалистическая живопись потому погибла, что ее подчинили политике».

Как-то за ним гнался милиционер. Зверев бежал и увидел, как ребята на пустыре играют в футбол. Тогда он подбежал к вратарю, сказав: «Дай я постою в воротах». Мальчик, опешив, отошел, а Зверев сделал вратврскую стойку. Милиционер ничего не заметил и проследовал дальше. Зверев же похлопал по кепке настоящего вратаря и пошел в другую сторону.

Детскость и непосредственность Зверева всегда были обаятельны. Когда его ожидало что-то приятное и редко ему доступное, он не умел скрыть радости. Однажды летом мы пригласили его поехать с нами на дачу. Зверев очень обрадовался: глаза засверкали, он верещал, ходил вприпрыжку и становился очень послушным. Женв моя, Галина Ивановна, предложила ему сменить рубашку на более свежую и причесаться. Зверев тут же прервал свое писание (он тогда до самозвбвения писал стихи), молча подошел к же-

не и покорно встал перед ней. Он поднял руки, дал снять с себя рубашку, поворачивался так, чтобы было удобнее его одевать. Потом он пытался ухватить все сумки и по-детски мило улыбался, чуть испуганно оглядываясь (не дай Бог раздумают поехать), торопливо шел к лифту. И я завидовал Звереву, что он, фактически брошенный судьбой на ее произвол, сохранил в себе столько обаяния детскости, завидовал и еще больше любил его за это.

У нас была собакв по кличке Дики, тёмно-коричневая сука — спаниэль. Мне думается, что больше всех она любила Зверева. Не было предела ее радости, когда он приходил. Она заранее его чуяла и начиниала возбужденно скулить, показывая иам, что за дверью — он. Откройте, мол, скорее! Он с ией часто гулял, нв что Дики шла особенно охотно. Они были верными друзьями. Рисунки зверей ему особенно удавались.

И вот такого человека много и жестоко били. А получалось тяк. У Зверева нередко бывали деньги от заказчиков, во всяком случае, на выпивку хватало. Один он не пил, его тянуло к людям. Часто среди них бывали и художники. Уступая Звереву в таланте, они никак не могли этого осознать. Напившись, они говорили ему: «Как художник ты ничего собой не представляешь, а платят тебе больше, чем иам. Где же справедливость?» После этого страсти нередко накалялись, и дело доходило до побоев, особенно тогда, когда Зверев «огрызался». Били беспощадно. В этих случаях Зверев, инстинктивно защищаясь, прежде всего прятал между ног правую руку. Левая давно уже была искалечена, она не сгибалась в локте. «Если без правой руки, — говорил Зверев, — то, считай, без хлеба». Озверевшие художники допускали двойную жестокость: у избитого Зверева они отбирали все деиьги и продолжали на них попойку. Зверев не раз испытывал такое, и тем не менее шел на это. «А куда денешься? — говорил он. — Такая вот жизнь».

Квк-то в разговоре со Зверевым я во время рассказа непроизвольно сделал вид человека, замахнувшегося, чтобы ударить. И вдруг Зверев инстинктивно отпрянул, закрыв лицо руками, вжался в угол. Сидевший передо мною гигант искусства выглядел как беззащитное и забитое дитя. До щемоты в сердце, до слез стало его жалко. Его отовсюду гонит, принимая за бродягу и тунеядца из-за плохой одежды и неухоженности внешнего вида. Часто не пускали в метро. Поэтому Зверев обычно брал такси, за которое всегда заранее много переплачивал, чтобы таксисты соглашались подвезти. А было и так. В винном магазине детина-продавец вырвал у Зверева чек на 25 рублей, а его самого выкинул на улицу как пьяного. Зверев больно ударился.

— Чек-то взял? — спросил кто-то.

— Да что ты, разве можно... Изуродуют.

А чек кто-то подобрал.

А помню и такое. Мы хотели с ним взять виив, но магазины были закрыты иа обед. Куда-то ехать не хотелось. Мы зашли в находившийся вблизи ресторан. Видя совсем непрезентабельную одежду Зверева, служители ресторана посмотрели на него как на утратившего управлеиие нищего. А Зверев достал сторублевую купюру, взял бутыль шестидесятирублевого французского «Наполеона» и с поклоном удалился, не взяв сдачи.

Несколько раз приходилось видеть Зверева заболевшим. Однажды он еле добрался до нас. Дома никого не было. Зверев лег иа лавку во дворе и иесколько часов ждал иас. Я обнаружил его лежащим на лавке, когда вышел погулять с собакой, той самой Дики. Она учуяла Зверева и подбежала к нему, от радости быстро крутя обрубком хвоста. Меня поразила бледность Зверева, испарина на лбу. Он почти не говорил и только едва заметными кивками отвечал иа вопросы.

— Что, плохо?!

Кивок.

— Пойдем домой...

Кивок.

Зверев никогда не жаловался, не проявлял активно того, что ему плохо. Врачей он вообще не признавал, боялся их и в принципе не верил им. Дома спрашиваю, что болит. Отает шепотом: «Все болит, руки, ноги, грудь, тошнит...». И смеется, качается и смеется.

Уже говорилось о Звереве как об оригинальиом и незаурядном мыслителе. Он, кстати, немало писал и высказывался об искусстве живописи. И кое-что из этого сохранилось, судя по всему, только у меня. Вот некоторые из его суждений:

«Живопись есть совокупность света и тени, взаимодействующих с цветом, есть сложение цветовои гаммы. Из этого прозаического и получается то, что признают за чудо Божье. Родилась же матушка-живопись из окружающих человека красок природы, особеино из радуги...»

«Мы уходим в вечность, в пучину волн, вод и пены. Так пропадает корабль нвшей жизни. И всегда в иеизвестном для нас направлении, если, конечно же, исключить то направление живописи, которое придумано нами для того. чтобы как-то сгладить свою беспомощность...»

«О живописи едва ли стоит говорить самим художникам, ибо, как сказал Леонардо да Винчи, живопись сама за себя скажет. Но что делать! Мы все в той или иной степени подвержены демагогии, которая впоследствии становится для нас теорией...»

«Человечество вечно суетится, пока у него есть время... Но иногда кому-то из иас удается оствновить наше неугомонное и ненасытиое в делах суеты внимание. И тогда мы оказываемся во власти живописи. Она прекрасна, как сказочная принцесса... через сновидения, в коих часто неимущий получает во сто крат больше имущего... А после все это воспринимается лично самим, но уже ничтожно по сравнению с подобными сновидениями, словно во мраке роковой иеизбежности и безумия».

«Кисть в руках художника должна быть такой же послушной, как лошадь у хорошего извозчика».

«Истинное искусство должно быть свободным, хотя это и очень трудно, потому что жизнь скована...»

На мой взгляд, Зверев был самым свободолюбивым человеком на Земле. Он ценил свободу больше всего на свете и никогда ей не изменял, ни к кому и ни к чему не приспосабливаясь в смысле унижения и утраты хоть капли свободы. Отсюда и его образ жизни, в котором царила свобода и не было никакого комфорта. Быт, удобства не занимали в жизни Зверева даже последнего места, они не занимали никакого.

Насколько понимаю, наступили времена, когда многие у нас в стране открыли и открывают для себя художника А. Т. Зверева. Это и есть культурное обогащение. Зверев вошел в историю культуры, то есть в историю вообще, через ее парадные двери и стал художником с мировым признанием. И если его имени еще нет в наших справочных изданиях, вход в которые открывает не всегда талант, а квчества иные, более низкие (например, звание, должность, связи, а то и просто подкуп в той или иной форме), то оно давно занимает свое место в крупнейших энциклопедиях мира. Выставки Зверева имели место в ведущих галереях и городах Франции, ФРГ, США, Даиии, Швейцарии, Австрии, Англии, Италии, Западного Берлина. Всего же в странах Запада он выставлялся десятки раз. Это в несколько раз больше, чем в Советском Союзе. Как все-таки трудно пробиваться в нынешней России русским дарованиям, и при этом чем выше талант, тем горше ему приходится. Сколько раз уже бывало, что к выдающимся и даже гениальным русским людям слава шла не столько с Родины, сколько извне. Крупный, российский по происхождению и живший во Франции, искусствовед В. Вейдле, посетив выставку Зверева в 1965 году в Париже, в книге для посетителей написал: «Нет, слава Богу, русская живопись не умерла».

Прожил А. Т. Зверев 55 лет, он скончался (при не совсем ясных обстоятельствах) в 1986 году в Москве, которую он так любил и которая без него немыслима



Портрет К. М. Асеевой. 1970 г.

Маруся. 1978 г.

Комната с картинами А. Зверева

Китайская ваза. 1979 г.



Ваза с апельсинами. 1980 г.

Анатолий Зверев. Из личной коллекции В. Шумского



Лиза Шумская. 1986 г.

Наташа Шумская. 1986 г.



Двери квартиры, расписанные А. Зверевым. 1980 г.

Изваяния древних мастеров

Св. Екатерина. Нач. XVII в.

Параскева Пятница

Никола Можайский



Св. Георгий Победоносец

ЗАКОНЪ БОЖІЙ

Протоиерей
ВАЛЕНТИН СВЕНЦИЦКИЙ

О БОГЕ

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Когда ты говоришь таким образом, все приобретает подобие вероятности, потому что ты создаешь какую-то абстрактную картину, нечто вне времени и пространства. Но как только опустишься с облаков этой абстракции в конкретную обстановку и спросишь: но как же все-таки Бог «дул» в эту «персть» и что из себя представляет эта материальная основа, когда она еще не была «человеком», — так сейчас же и окажется, что все в этих рассказах никакие не откровения, а просто занимательные сказки.

ДУХОВНИК. Ты называешь абстракцией то состояние, когда мы несколько поднимаемся над чувственными восприятиями, заслоняющими от нас сущность вещей, и начинаем видеть нечто за пределами видимых явлений. Возьмем естественное возникновение жизни. Что ты знаешь о нем? Ты знаешь биологические процессы, сопровождающие и обусловливающие это зарождение. Но что такое жизнь, и что совершается в момент зарождения нового существа, не с точки зрения внешнего описания биологического процесса, а по самому существу, — как было, так и остается тайной. Соприкосновение материального с потусторонним всегда «вне времени и пространства», и поэтому сколько бы ты ни наблюдал и ни изучал внешнее при создании жизни, ту грань, где неживое переходит в живое, будет ускользать от тебя, как неуловимая для тебя «абстракция». Поэтому нелепо говорить «конкретно» в твоем смысле и о создании человека Богом и спрашивать, как «дул» Бог в «персть». Это возможно было показать только в откровении, где видимым становится то, что было невидимо, и осязаемым то, что было неосязаемо. «Конкретно» персть, из которой создан человек, могла быть видима всеми, а Дух Божий, коснувшийся ее, никому не мог быть виден. Он озарил эту персть человеческим сознанием. И это сознание дало человеку возможность видеть Бога. В откровении и показан этот невидимый в «конкретных условиях» момент. Да, здесь великая тайна. Но ведь великая тайна и весь окружающий нас мир, и в нем все время видимое соединяется с невидимым и осязаемое с неосязаемым. И если бы это могло быть нам показано, мы непременно увидели бы это в таких же формах, в которых нам даны и библейские откровения. «Сказочность», о которой говоришь ты, единственно возможная для откровения форма, вполне соответствующая тому таинственному содержанию, которое в нее облекается и делает доступным нашему ограниченному сознанию непостижимое и нечувственное.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но в конце концов, если допустить, что за этими сказками действительно стоит какое-то таинственное содержание, ты все же попросту в него веришь, ты его не доказываешь.

ДУХОВНИК. Логически не доказываю. Но правду его чувствую не только непосредственным чувством, но утверждаю и разумом, потому что эти рассказы объясняют мне необъяснимое и весь хаос приводят в стройное и совершенное мировоззрение.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ну, о «совершенном мировоззрении» ты говоришь по времени. Выслушай сначала мои главные возражения. Ведь до сих пор я говорил скорее о внешних препятствиях для веры. Теперь перейду к внутренним.

ДУХОВНИК. Прекрасно.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Сколько раз я ставил перед собой вопрос о Боге так: допустим, этот непостижимый Бог существует. Допустим, я умудрился совершить насилие над здравым смыслом и заставил себя признать невидимого, непостижимого личного Бога. Могу ли я успокоиться на этом признании? Ведь разум потребует от меня ответов на целый ряд вопросов, которые будут вытекать из этого признания. Первый и самый убийственный вопрос будет о зле. Допустим, что я уверовал, что существует всемогущий, вездесущий, всеведущий Бог, который все создал, и «без Него ничто же бысть, еже бысть». Откуда же «зло»? Что оно такое? Кто его создал? Тоже Бог? Очевидно, нет. А если Бог не создал, значит, не все создано Богом? А зачем всемогущий Бог терпит зло, если не им оно создано? Зачем должна разыгрываться вся эта трагикомедия «борьбы со злом», когда всемогущий Бог мог бы единым движением его уничтожить и оставить в мире одно добро? Какой ответ может дать вера на эти вопросы? Опять все свести к непостижимости? Обычное убежище, когда задаются верующим неразрешимые вопросы. Но в данном случае неразрешимость вопроса о зле должна привести нас не к признанию «непостижимости» религиозных истин, а к неизбежному отрицанию Бога, потому что существование зла делает веру в Бога нелепой.

Второй не менее убийственный вопрос — о страдании. По вашему определению, Бог — это любовь. Абсолютная, совершенная, непостижимая и прочее. И вот эта любовь допускает страдать безмерными страданиями и не человека только, но и все живущее на земле до самой последней инфузории. Даже наше огрубелое сердце жалеет страдающего. А ведь это Бог, сама любовь, видит и слышит, как стонет земля, и не хочет прекратить ее страданий. Ведь Бог всемогущий, значит, Он может дать счастье всему живому. Какой же смысл в том, что Бог молча «взирает», как мир корчится от боли? И в этом тоже есть высший «непостижимый» смысл? Ты скажешь — Бог не виноват в этих страданиях, они за грех в раю. Прекрасно. Но во-первых, зачем же Бог создал человека таким, что он согрешил? А во-вторых, плод с запрещенного дерева съел человек, причем же тут инфузория? Ведь она никакой заповеди не нарушала, однако и ей больно, если ее положат в какую-нибудь кислоту?

Вы любите говорить, что видите в природе Бога. Что это? Слепота или самообман? Ведь с точки зрения «высшей правды» природа — сплошной ужас. Где там Бог? Там все ест друг друга. Жук ест червя, птичка ест жука, коршун ест птичку. Лягушка глотает

«О Боге» — из рукописной книги «Диалоги». Первая публикация. *Продолжение. Начало в №№ 10, 11/1991.*

личинку комара, змея глотает лягушку, ёж ест змею, лиса ест ежа. И все это Бог в природе? Или, может быть, вы видите Бога в таких фокусах, как прокалывание гусеницы наездником? Да, человеку не додуматься до такой чудовищной жестокости. Проколоть гусеницу, положить в нее яйцо, из которого выведется личинка, съест внутренности гусеницы, и когда та все-таки окуколится — выведется вместо нее. Все это Бог? Да? Ты скажешь: это «результат греха». Прекрасно. Но ведь Бог «вездесущ». Значит, он знал, что получится такой «результат» — зачем же тогда было создавать мир? Опять скажешь: «тайна», непостижимо, невыразимо. Но постой, это не все. Вы, признающие Бога со всеми его «абсолютными» свойствами, утверждаете далее, что этот Бог-любовь жалкого, несчастного исстрадавшегося человека, когда тот, наконец, найдет покой в смерти, пошлет еще за его грехи в ад, где этот несчастный преступник будет страдать вечно — «там будет плач и скрежет зубов». Мало было плача и скрежета здесь, на земле, оказывается, вселюбящий Господь приготовил и на том свете на веки вечные еще большие муки. Какая бессмыслица, какой ужас. И все-таки я должен верить? Никогда! Если с известной натяжкой я могу еще допустить бытие и непостижимого «невидимого» Бога, то когда поставлю перед собою вопрос о зле и страдании, я чувствую, что вера в Бога — просто нелепый вздор.

ДУХОВНИК. Все, что ты сейчас сказал, действительно убийственные вопросы, но не для верующих в Бога, как ты думаешь, а, наоборот, для тех, кто в Него не верует. И я очень рад, что ты так ясно и твердо поставил эти вопросы, ведь из них нет другого выхода, кроме веры.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Это великолепно. Ты хочешь мое оружие обратить против меня? Посмотрим, как ты это сделаешь.

ДУХОВНИК. Я постараюсь раскрыть тебе, как на твои убийственные вопросы отвечает вера, и тогда ты увидишь, как беспомощно перед этими вопросами неверие.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Надеюсь только, что ты обойдешься без ссылок на Отцов и прочие авторитеты.

ДУХОВНИК. Ты, вероятно, заметил, что в разговоре с тобой я избегаю таких ссылок, хотя все время имею в виду и Слово Божие, и творения Отцов Церкви. Но по этому поводу, может быть, и приведу слова святых Отцов, потому что они с таким совершенством выражают почти невыразимое человеческими словами.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Впрочем, раз ты предоставляешь мне полную свободу говорить так, как я нахожу нужным — не следует и мне стеснять тебя в этом отношении. Я слушаю.

ДУХОВНИК. Почему всемогущий Бог допускает существование зла? Почему Он единым актом своей воли не уничтожил зла и не сделал всех добрыми? Вот первый вопрос, который ты поставил передо мною. Самая постановка этого вопроса представляется мне недоразумением. Представь себе такой, например, вопрос: может ли всемогущий Бог совершить грех? Очевидно, нет. Но, если Он не может совершить греха, значит, Он не всемогущ. Можно ли серьезно ставить такие вопросы? А ведь твой вопрос только с первого взгляда кажется иным. «Может ли всемогущий Бог сделать людей добрыми?» Но ведь это значит уничтожить основное свойство добра и «добро» превратить в моральное ничто.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Совершенно не понимаю, что ты хочешь сказать.

ДУХОВНИК. Если бы добро было простым и неизбежным следствием силы Божией, оно было бы, как и всякое явление материального мира, причинно обусловлено, потому потеряло бы свое моральное содержание. Я уже показал тебе, когда мы рассуждали о бессмертии, что явление причинно обусловленное не может иметь моральной оценки. То, что лишено свободы, то не может быть ни добрым, ни злым, а является неизбежным. Понятие добра и зла предполагает в человеке «свободу выбора». Но там, где речь идет о свободе, нельзя уже говорить о причинной зависимости. Итак, в логически формальном отношении твой вопрос содержит недоразумение, которое станет совершенно очевидным, если вопрос изложить так: почему всемогущий Бог Сам Своей силой не сделает людей добрыми, т. е. не лишит их свободы, без которой никакое добро существовать не может?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Конечно, в такой формулировке вопрос не имеет смысла.

ДУХОВНИК. Но эта формулировка вытекает из сущности понятия добра. Итак, ответ на вопрос, почему Бог Сам не сделает людей добрыми и не способными творить зло, — ясен: потому что Он даровал им свободу. Вот на этом понятии свободы и остановимся теперь подробнее. Когда мы говорили с тобой о бессмертии — я рассматривал свободу воли, насколько надо было показать бессмысленность этого понятия для неверующего разума. Теперь мы постараемся рассмотреть это понятие со стороны его положительного содержания, столь важного не только для решения вопроса о зле, но и многих других вопросов.

Понятие свободы принадлежит к числу тех понятий, которые, как вечность и бесконечность, с одной стороны, непостижимы для нашего разума, с другой — утверждаются им, как нечто несомненно существующее. Человек мыслит по законам причинности. Для ограниченного человеческого разума всякое явление должно иметь свою причину. Действие и явление «беспричинное» он мыслить не может. Но свобода есть беспричинность, нечто первичное, ничем предыдущим не обусловленное, какое-то таинственное, совершенно для нас непостижимое начало. Свобода для нашего разума так же не имеет предела в смысле причинности, как бесконечность не имеет предела в пространстве или во времени. И если бы мы вздумали постигнуть свободу как беспричинность, мы пришли бы к такому же безвыходному положению, как пытаясь постигнуть бесконечность во времени и пространстве. Если мы прервем цепь причинного ряда и скажем: вот это явление зависит от такой-то причины и дальше поставим предел, — то наш разум сейчас же спросит: а какова была причина, определившая эту последнюю из указанных причин? Если же мы скажем: нет, это была последняя причина, а сама она ничем не обусловлена, — то тем самым мы утвердим несомненно существующим непостижимое понятие свободы воли как беспричинности.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но почему нельзя признать причинный ряд бесконечным?

ДУХОВНИК. Можно. Но это будет отрицанием свободы воли. А ведь мы с тобой говорили о свободе как о несомненном факте и лишь хотим постигнуть значение этого понятия. Причинный ряд можно вести до бесконечности для объяснения механических причин обусловленных явлений, а не для объяснения свободы. Если ты будешь говорить о бесконечном ряде причин и следствий, то попросту вовсе откажешься решать вопрос о свободе. Это в особенности ясно, когда речь идет не о человеке как первопричине того или иного действия, а о Боге как первопричине всего сущего.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Разъясни это подробнее.

ДУХОВНИК. Для верующего разума Бог есть первопричина всего сущего. Начало всякого бытия, Сам не имеющий начала и потому вечно пребывающий. Постигнуть это невозможно настолько же, насколько невозможно постигнуть вечное бытие чего бы то ни было. Отрицать Бога как первопричину и сказать, что мир существовал вечно, — это значит сказать вдвойне непостижимое. Во-первых, это непостижимо так же, как и все вечное, а потому и вечное бытие Божие, а во-вторых, это непостижимо в смысле отсутствия первопричины в мире, где все действует по закону причинности и где никогда нельзя дойти до первой причины всего причинного ряда явлений. Вера в Бога решает этот вопрос иначе: она отодвигает состояние вечносущей Первопричины в область до-материальную, в ту область, где не существует явлений преходящих, причинно-обусловленных. Это то, что было в с е г д а до сотворения мира. А мир материальный мыслит доступно для понимания человеческого разума, как имеющий начало и созданный во времени. И потому материальный мир живет по закону причинности, а не свободы — он имеет и свою первопричину — Силу Божию, его создавшую.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Разве то, что ты говоришь, раскрывает положительное содержание понятия свободы? Пока ты все время доказываешь мне, почему можно и даже должно признавать это непостижимое понятие, а не раскрываешь его содержание.

ДУХОВНИК. Да. Мне совершенно необходимо предварительно указать на это, потому что иначе твой разум откажется воспринимать последующее и уже доступное пониманию.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Пожалуй, ты прав.

ДУХОВНИК. Перейдем теперь к самому содержанию понятия свободы. Мы созданы по образу и подобию Божию, и «свобода воли» есть подобие в нас божественного начала. Мы указываем на различные свойства Божества, но это не значит, что мы мыслим Бога как нечто «сложное», состоящее из различных элементов, подобно тому, как материализм мыслит материю. Бог абсолютно прост, неразложим и неделим. Таким образом, свойства Его есть не что иное, как несовершенное человеческое описание этой единой и неделимой сущности. Такова и душа человеческая, созданная по Его подобию. Мы говорим: мысль, воля, чувство — эти определения не имеют соответствия в сложности составных элементов души. Душа, как подобие Божие, несложна, это единица неделимая и простая. Свобода воли в этой единице не есть один из элементов, ее составляющий, а одно из ее свойств.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Это, выходит, какой-то неделимый духовный атом?

ДУХОВНИК. Пожалуй, да. Но лучше не будем употреблять этого термина. Итак, начало свободы воли и есть свойство души, которое состоит в непостижимой возможности вне причинно обусловленной зависимости совершать те или иные действия. Это свойство, дарованное душе Богом, делает человека богоподобным, отличает его от всех существ, в нравственном смысле открывает для него путь к богосовершенству и дает надлежащий смысл понятия добра и зла. Абсолютное добро — это то, что творит воля Божия. Для человека делать добро — это значит свободной своей волей избирать и делать то, что будет совпадать с волей Божественной. Такое свободное произволение соединит человека с Божественным началом, даст ему, как сопричастнику Божества, вечную жизнь и сделает не отвлеченной, а совершенно реальной задачу богосовершенства. Вот теперь, наконец, мы подошли и к твоему вопросу, что такое зло и кто его создал. Зло не есть самостоятельная сущность, поэтому нельзя сказать, что его создал Бог. В человеке это создало то же начало, которое создает и всякое человеческое действие — свободная воля. Что же оно такое? Это есть такое свободное произволение, которое противодействует Божественной воле. Такое противодействие, отсутствие единства воли человеческой с волей Божественной как бы отрывает человека от Божественного начала и влечет за собой страшные последствия, которые создают многообразное ЗЛО. Я все же приведу тебе здесь ряд суждений о зле святых отцов и учителей Церкви.

«Зло не есть какая-нибудь сущность, имеющая действительное бытие, подобно другим существам, созданным Богом, а есть только уклонение существ от естественного своего состояния, в которое поставил их Творец, в состояние проитвоположное. Поэтому не Бог есть виновник зла, но оно происходит от самих существ, уклоняющихся от своего естественного состояния и предназначения» (Дионисий Ареопагит).

«Мы не созданы для смерти, но умираем сами через себя, нас погубила собственная воля» (Тациан).

«Адам сам себе уготовал смерть через удаление от Бога. Так не Бог сотворил смерть, но мы сами навлекли ее на себя лукавым соизволением» (Василий Великий).

Теперь, имея определенный ответ на вопрос, что такое зло и откуда оно взялось, попробуем ответить и на другой твой вопрос — о страдании.

В чем заключалось грехопадение человека? В нарушении заповеди Божией. Эта заповедь была тем выражением Божественной воли, с которым могла оказаться в согласии свободная воля человека, — и тогда вся жизнь была бы связана с Божественным началом. Или могла оказаться в противодействии этой воле — и тогда разрывалась связь с Божественным началом и начиналась жизнь вне Бога. Человек пал, то есть избрал второй путь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Постой, какая же это свобода, если человек должен был соблюдать заповедь Бога.

ДУХОВНИК. Да, должен — если хотел добра, если хотел жизнь иметь без зла, но он был совершенно свободен в своем выборе и при желании зла, то есть при желании противодействовать Божественной воле мог выбрать этот путь, и он его выбрал. Ты не любишь ссылок на св. Отцов, но послушай, как прекрасно говорит об этом св. Ириней Лионский.

«Верующий верует по его собственному выбору, точно также и не соглашающиеся с Его учением не соглашаются по их собственному выбору.. Тем, которые пребывают в своей любви к Богу, Он дарует общение с Ним. Но общение с Богом есть жизнь и свет и наслаждение всеми благами, какие есть у Него. На тех же, которые по их собственному выбору удаляются от Бога, Он налагает разъединение с Собою, которое они выбрали по собственному желанию. Но разъединение с Богом есть смерть и разъединение с Богом есть лишение всех благ, которые есть у Него. Поэтому те, которые через отступничество теряют эти вышеупомянутые вещи, будучи лишены всего блага, испытывают всякого рода наказания. Однако Бог не наказывает их непосредственно Сам, но это наказание падает на них потому, что они лишены всего того, что есть благо» (Против ересей, кн. 4, гл. 39, 4).

Жизнь вне Бога, «по своей воле», сразу давала силу над человеком тем стихиям, которые пребывали в полной гармонии лишь при связи человека с Богом. Когда связь эта была оборвана грехопадением и самоутверждением человеческой воли — все пришло в состояние расстройства, борьбы, разделения, яви-

лось страдание, как противоположное блаженству, и смерть, как противоположное жизни. Вопрос о страдании самым тесным образом связан с вопросом о зле, потому что страдание есть прямое его следствие. Потому и ответ на этот вопрос будет тот же: кто создал страдание? Оно создано не Богом, а свободной волей человека, отпавшего от Бога. Потому уничтожить страдание — значит уничтожить зло и восстановить абсолютное добро. Но «сделать» людей добрыми силой Божественной невозможно, как уже показано выше.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Не понимаю. Ведь грех совершил один человек, а страдает и умирает все живое.

ДУХОВНИК. В христианском мировоззрении, как в совершенном здании, нельзя выдернуть один кирпич, не повредив целого. Это мировоззрение нельзя брать по частям. Твой вопрос опять основан на недоразумении. Ты берешь созданное Богом не как единое целое, а как собрание каких-то самостоятельных частей, где судьба одной части не имеет отношения к другой. Бог поручил все живое человеку не только в том смысле, что дал ему власть над этим животным царством, но как совершеннейшему, как носителю в природе образа Божия, как главе, все живое соединяющей с Божеством, и тем вручил ему ответственность за судьбу всей жизни. Поэтому и падение человека было падением всей жизни, отпадением ее в лице человека от Бога. Поэтому, как увидишь дальше, и восстановление этого единства через «нового Адама» было в то же время спасением не только человечества, но и всей жизни.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ты все же не ответил мне на главный вопрос: зачем всеведущий Бог, зная, к чему приведет дарованная Им свобода, создал мир? И какой смысл создавать человека, заранее зная, что он отпадет от Бога и превратит всю жизнь в сплошное страдание, и не здесь только, но еще и за гробом.

ДУХОВНИК. Этот вопрос я пока не рассматривал потому, что он касается не столько бытия Божия, сколько судьбы человека. Мы говорили до сих пор о том, что такое зло и страдание и кто создал их. Теперь же ты ставишь совершенно другой вопрос — об отношении Бога к греху и страданию. Этот вопрос приводит нас к великой тайне Искупления. Только вера в искупление дает полный ответ на вопрос о судьбе падшего человека и об отношении к нему Бога. Но об этом лучше будем говорить в другой раз, чтобы нам подробно рассмотреть столь важный вопрос.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Прекрасно. Но разве о Боге ты сказал все? Ведь ты хотел показать истину?

ДУХОВНИК. Я отвечал на твои вопросы и в этих ответах высказал тебе ее. Пока это не вся истина, но лишь главнейшее ее основание. Отрешись на несколько мгновений от всех своих вопросов и посмотри на эту истину как она есть, не искажая ее своими сомнениями.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ты хочешь показать положительное содержание веры в Бога?

ДУХОВНИК. Да.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Говори. Я постараюсь слушать тебя так, как ты этого хочешь,

ДУХОВНИК. Мы веруем, что Бог по существу есть Любовь. Что в Нем содержится совершенный всеведущий Разум и совершенная всемогущая Воля. Всегда был Бог, но жизнь Божия, от века бывшая, до создания мира во времени — неведома нам.

Разум Божий, помысливший о вселенной, Любовь Божия, возлюбившая ее, и Воля Божия, решившая быть ей, — создали мир.

Мир — это творческое создание Божественного Разума, Любви и Воли. Каждое дыхание жизни имеет источник в Божественном начале. И каждая частица вещества имеет в основе своей разум, любовь и волю — как в Боге пребывающая. Все существует — и видимое, и невидимое — Божественной силой. И все имеет жизнь и нетленную основу — ибо все пребывает в Божественном Разуме, в Божественной Любви и Его святой Воле. Все живет по неизменным законам, которые дал Господь видимому миру, но все имеет кроме этих механических законов высший разумный смысл, ибо все соединено с Божеством и стремится к своему первоисточнику. Мир — это не разрозненный бессмысленный мертвый хаос, имеющий лишь видимость порядка и закономерности, а разумное, живым духом Божиим одухотворяемое, единою жизнью живущее, для вечного нетленного бытия приуготованное создание Божие. Высшее в нем человек. Образ и подобие Божие, носитель сознания, которое есть отблеск Божественного Разума, любви, которая есть искра Любви Божественной, и свободы воли, которая есть таинственное начало, подобное непостижимой Воле Божией. Через него в союзе любви человека с Богом, как с Отцом и Создателем, — утверждается и свободный союз всей вселенной. Эту истину о Боге мы познаем и в своем духе, когда погружаемся в духовное самопознание, и во вселенной, когда подымаемся до молитвенного созерцания.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Сказка, сказка. Изумительная, великолепная сказка, неведомо для чего созданная.

ДУХОВНИК. Ты истину называешь сказкой? Но как тогда назовешь ложь? Выслушай теперь то, о чем я хотел сказать тебе в начале нашего разговора: к какому абсурду приводит отрицание Бога..

Нет Бога. С каким торжеством произносятся многими эти страшные слова! Но понимают ли те, кто их говорит, что они значат? Нет, не понимают. Если бы понимали, то иначе произносили бы их. Да, их можно сказать. Но какой ужас в душе должен стоять за ними. Ведь только потеряв рассудок можно с торжеством и ликованием говорить о своей гибели. Чему радоваться? Чем гордиться? Какое может быть тут торжество? А слова «нет Бога» — это не только твоя гибель, это гибель решительно всего, чем жил человек. И все-таки ты смеешься над верой? Все-таки смотришь победителем? И ты скажешь, что это не сумасшедший дом, а нормальное состояние людей?

Пусть на один миг окажется, что ты прав. Пусть твое неверие стало несомненной, неопровержимой истиной. Пусть так. Смотри же, какая «истина» откроется тогда перед тобой.

Вселенная — безграничная масса вещества, находящегося в движении. Движется Земля вокруг Солнца, Луна движется вокруг Земли. Каждая планета имеет свой путь движения и каждый спутник описывает вокруг нее определенную математически точную фигуру. Но и само Солнце со всеми своими планетами, в свою очередь, движется куда-то по направлению звезды Веги. И каждая звезда — это такая же Солнечная система, находящаяся в движении. Движется весь небесный свод. Движется неисчислимое множество звезд Млечного пути, и движется каждый атом вещества, из которого состоит мир, и в каждом атоме движутся по строго определенным математическим законам составляющие его электроны. В неизменном движении пребывает этот никем не созданный мир. Без смысла, без цели. Как у чудовищной машины вертятся его колеса и уносят его в вечность. Что же такое в этом мире — Я? И я — кусочек такого же вещества. И я — такая же комбинация атомов. И моя жизнь бесцельная, ни для чего не нужная игра этих движущихся неделимо малых частиц, которые в своем

движении скомбинировались так, что явилась ни для чего не нужная личность, а потом рассыплются и скомбинируются вновь так же бесцельно на несколько мгновений, чтобы потом опять рассыпаться, точно кубики разных форм и цветов, для чьей-то забавы. Наступит момент, когда сгорит или остынет земля. То есть атомы вещества так скомбинируются в ней, что прекратится всякая жизнь. Но вещество не уничтожится никогда. Атомы и электроны будут продолжать свое бесцельное движение. Вечно будут двигаться колеса громадной машины, уничтожаться и вновь возникать миры. Нет высшего разума. Нет высшего смысла. Нет высшей целесообразности в жизни вселенной. Воздушное, холодное вещество всегда было и вечно будет... И это все... Вот моя истина. Вот чем ты гордишься. Вот от чего торжествуешь. И ты скажешь, это не безумие?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Если почувствовать все так, как ты говоришь, пожалуй, немногие согласились бы жить. Уж лучше скорее пустить пулю в лоб.

ДУХОВНИК. Да, оно так и было бы. Но дьявол хитер. Чтобы люди не могли прийти в себя, он уверил их, что они, потерявшие разум, и есть настоящие здравомыслящие люди. Научил говорить их что-то о величии науки, о чудесах техники, о каких-то необыкновенных достижениях, о том, что они что-то такое победят и все покорят, — и всем этим вздором так уверил несчастных больных, что им совсем не хочется лечиться. И разве перед смертью иной почувствует, что над ним посмеялся дьявол. Но тогда уже поздно жизнь начинать сначала.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Да, ты изобразил мою истину не очень-то привлекательной. Но в конце концов что же кроме отвлеченных построений дает и твоя вера? Ведь на деле-то и верующий, и неверующий имеют одно и то же.

ДУХОВНИК. Вера в Бога не «отвлеченное построение». Она перерождает жизнь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ах, значит, и здесь опыт.

ДУХОВНИК. Непременно.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Хотел бы я знать, что это за опыт, превращающий сказку в действительность.

ДУХОВНИК. Если без внутреннего опыта не может быть веры в бессмертие, то тем более — веры в Бога.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Я очень прошу тебя сказать об этом подробнее.

ДУХОВНИК. Да, сказать нужно. Но ничтожны мои слова. Бессилен человеческий язык. Как передать то, что больше разума, выше человеческого чувства? Ведь Бог — это то, чем живет наша душа и что озаряет светом своим всю нашу жизнь. Случалось ли тебе когда-нибудь всходить на высокую гору? Помнишь ли то чувство, которое испытываешь, когда поднимаешься на вершину и перед тобой открывается даль? Это слабое подобие того, что знают все верующие люди. Только перед ними открывается не даль земли, а даль безграничного совершенства. Чувствовать Бога — это значит чувствовать единство вселенной, нетленность жизни, высший ее смысл. У нас есть особое, неведомое вам чувство, что нас соблюдает Господь, и это дает нам уверенность и твердость. Мы никогда не бываем одиноки. Мы всегда с Ним. Все согрето для нас любовью Божией. И чувство радости — самое основное, самое неизменное наше чувство. Ум наш, как и у всякого человека, не в силах представить себе бесконечность, не может достигнуть того, что такое свобода, не знает цели мироздания. Но в чувствовании Бога есть нечто подобное тому, как если бы ты на один миг узнал все это и не мог удержать в памяти, но сердце в своей памяти сохранило бы тебе это навсегда. Вера в Бога перерождает н а с потому, что открывает нам источник совершенно новых, для нас неведомых душевных состояний. Видим ли мы Бога? Нет, больше чем видим. Осязаем ли Его? Нет, больше чем осязаем. Слышим ли? Нет, больше чем слышим. Бог — это самое достоверное, самое совершенное мое знание. Все может оказаться ошибкой, сном, мечтой. А Бог — есть. Так не нам ли торжествовать? Не нам ли гордиться? Не нам ли праздновать победу? Не мы ли знаем истину?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Признаюсь, положение трудное: рассуждения твои все же не могут убедить меня вполне.

ДУХОВНИК. Я тебе показываю истину. Смотри и решай, где правда и где ложь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Да, это так. Но я, пожалуй, сразу теперь выбрать не смогу.

ДУХОВНИК. Значит, ни да ни нет?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Пожалуй... Уж очень хороша твоя сказка, заманчиво признавать ее действительностью.

ДУХОВНИК. Что же тебе мешает?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Все еще многое. А больше всего, пожалуй, не непостижимость. Ты меня отчасти уже приучил допускать непостижимое, а все те же вопросы о зле и страдании.

ДУХОВНИК. Но к этим вопросам мы еще вернемся, когда будем говорить об искуплении.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Думаю, что эта новая сказка об искуплении не уменьшит, а увеличит препятствия для моей веры.

ДУХОВНИК. Ни в коем случае. Чем полнее будет раскрываться истина, тем она будет делаться несомненней.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но можно сказать и наоборот — чем больше будет лжи, тем труднее в нее поверить.

ДУХОВНИК. Совершенно верно. Потому истинная вера и есть одно из самых несомненных свидетельств об истине.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Неужели ты думаешь, что твоя вера может убедить меня даже в такой истине, как искупление?

ДУХОВНИК. Да, думаю.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Странно. Впрочем, не знаю. После этих разговоров мне начинает казаться, что я, может быть, не все принял в расчет, утверждаясь в своем неверии.

ДУХОВНИК. Это очень хорошо. Не гони этого чувства от себя. Я уверен, что дальше оно будет в тебе еще сильнее.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Посмотрим. Я готов сказать: дай Бог.

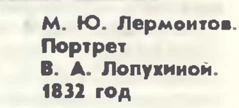
Публикация М. Козлова.

Диалог третий — в следующем номере.



Знакомая незнакомка

Э. Мартен.
Портрет
В. А. Лопухиной.
1833 год



М. Ю. Лермонтов.
Портрет
В. А. Лопухиной.
1832 год

В начале XIX века любовь к миниатюре, как к особому виду драгоценного, интимного портрета, становится повсеместной. Миниатюры дарят, заказывают и носят с собой или ставят на бюро. Вспомним эпизод из «Войны и мира»: «Княжна Марья возвратилась в свою комнату и села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами».

Да, воины 1812 года заказывали свои миниатюрные портреты, уходя на поля сражений с Наполеоном. И увозили с собой изображения любимых, матерей и сестер, чтобы взглянуть на родные черты, быть может, в последний раз.

Во второй половине XIX века, с появлением фотографии, этот вид искусства стал умирать, к нему обращались все реже. И вот тогда-то началось страстное коллекционирование миниатюр.

Многие лучшие частные коллекции Петербурга находятся теперь в Эрмитаже, Русском музее и других музеях города на Неве. Но есть и частные коллекции, среди которых собрание миниатюр Валентины Михайловны Голод из Ленинграда славится особо. Оно составлено с большим знанием дела, вкусом и любовью к эпохе, а идеальная сохранность работ и внимание их владелицы к такой немаловажной детали, как рамка, делают коллекцию поистине единственной в своем роде.

Кто же изображен на портретах? Елена и Екатерина Раевские, Лунина-Риччи, А. П. Козлянинова и другие — прелестные женские образы, которые вдохновляли поэтов, люди, бывшие их ближайшим окружением. В этом — особая ценность коллекции В. М. Голод. К тому же ее собрание поистине блещет именами лучших художников миниатюристов — русских и иностранных: Ансельм Лагрене, Доменико Босси, В. Л. Боровиковский, Жан-Батист Сенгри, Пьетро Росси, Э. Мартен...

Меня, исследователя, очень заинтересовал портрет «Неизвестной» Э. Мартена, удивительно схожий с портретами Вареньки Лопухиной, исполненными М. Ю. Лермонтовым, который был неплохим художником. Сравнивая миниатюру Мартена и акварельные портреты работы поэта, видишь разительное сходство. Тот же чистый, высокий, несколько покатый лоб, большие, широко расставленные глаза с удивительно мечтательным и кротким выражением, гладкая прическа, темные волосы... Овал лица, форма носа, губы, стройная шея — все совпадает.

Образ, созданный Мартеном, тождествен не только многочисленным изображениям, исполненным Лермонтовым, но и словесным описаниям современников: «Будучи студентом, — вспоминает родственник Лермонтова А. П. Шан-Гирей, — он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину. Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласкающий взгляд и светлую улыбку...» Далее мемуарист пишет, что «у нее было маленькое родимое пятнышко, и дети всегда приставали к ней, повторяя: «У В⟨ареньки⟩ родинка, В⟨аренька⟩ уродинка», — но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей».

Как точно выразил Э. Мартен образ «в высшей степени симпатичный»! И, видимо, родинка столь мило украшала ее доброе и кроткое лицо, что художник написал ее отчетливо над губой. Шан-Гирей вспоминает родинку на лбу, и мы ее видим над бровью на акварели Лермонтова. Но в другом акварельном портрете, где поэт изобразил Вареньку в виде испанской монахини, родинка написана над губой в том же самом месте, что и у Мартена. Портрет хранится в Литературном музее в Москве; он считался до сих пор лучшим изображением В. А. Лопухиной, к которому так подходили стихи поэта:

> Прими мой дар, моя Мадонна!
> С тех пор как мне явилась ты,
> Моя любовь мне оборона
> От порицаний клеветы.
> Такой любви нельзя не верить,
> А взор не скроет ничего:
> Ты не способна лицемерить,
> Ты слишком ангел для того!

Теперь же кажется, что эти стихи написаны к работе Мартена; глаза Лопухиной на портрете Лермонтова опущены, глаза же модели на миниатюрном изображении ясны, чисты и правдивы.

Есть у нас и еще доказательства, которые относятся уже не к иконографическому анализу.

Обратимся к известным «Запискам» Екатерины Сушковой. Там есть такая запись: «В мае месяце 1833 года мы поехали в Москву, одна из моих кузин выходила замуж за очень богатого и знатного человека». Речь идет о браке будущей знаменитой поэтессы Е. П. Сушковой с графом А. Ф. Ростопчиным.

Далее Е. Сушкова описывает подробности предсвадебных волнений, открыто завидуя цветущему, веселому и счастливому виду своей кузины.

Именно такой изобразил ее Э. Мартен в миниатюре, которая была опубликована во II томе «Русских портретов», изданных вел. кн. Николаем Михайловичем (СПб, 1905—1909). Теперь местонахождение портрета неизвестно. Судя по костюму, эта миниатюра относится к началу 1830-х годов, значит, Мартен писал Ростопчину в Москве, ведь в Петербург она переехала только в конце 1836 года. Скорее всего, портрет относится к 1833 году, выполнялся заказ как подарок жениху.

В Москве Евдокия Ростопчина чаще всего встречается со своей кузиной Екатериной Сушковой, с ее ближайшей подругой Сашенькой Верещагиной и родственниками последней — семьей Лопухиных. Круг замкнулся. Все, кого мы назвали, были не только друзьями, которые встречались ежедневно, но и близкими соседями.

Обычно художники писали одновременно близких друг другу лиц, так было принято. И если подпись Мартена есть на портрете Е. П. Ростопчиной и на предполагаемом портрете В. А. Лопухиной, то миниатюра Е. А. Сушковой, хранящаяся в Институте русской литературы АН СССР, без подписи, и считается произведением неизвестного художника. Однако, сравнивая костюмы, прически, манеру писать глаза и складки платья, мы приходим к выводу, что все три портрета писал один художник — Мартен, и притом писал примерно в одно время. Интересно и то, что как будто сходные по костюмам и прическам миниатюры передают очень разные образы, характеры. Ростопчина и Сушкова — родственницы, у них есть общие черты. Все современники особо отмечали их темные, красивые, выразительные глаза. Но у Сушковой лицо капризное, даже чуть надутое, в огромных глазах тревога и печаль. Она упорно ищет себе друга жизни и не находит. Судьба же Ростопчиной в то время устроилась блестяще. Вот как о ней пишет современник: «Гр. Ростопчина была жива и умна, ее разговор походил на блистательный фейерверк. Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз с большими ресницами...»

Такой и изобразил ее Мартен, накинув на пышные плечи счастливой невесты боа из дорогого меха. Выйдя замуж, она стала очень богата. Но как контрастно по сравнению с Ростопчиной предстает на портрете Варенька Лопухина! Прозрачный шарф окутывает ее хрупкие плечи и длинную гибкую шею. Лицо доброе, нежное, с печатью тайной грусти в глазах, оно выражает покорность судьбе. Через два года, в 1835 году, Лопухина покорится настоянию родителей и выйдет замуж за нелюбимого и пожилого Н. Ф. Бахметева. Шан-Гирей, живший в эти годы с Лермонтовым у бабушки в Петербурге, так вспоминает об этом известии: «...Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел, я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной».

Это событие осталось незаживающей раной поэта на протяжении немногих оставшихся ему лет жизни. Варенька была так не похожа на всех окружающих его светских женщин, даже самых блестящих, талантливых и прекрасных.

Многим из них посвящал Лермонтов свои стихи, увлекался на краткий миг, дарил искренней дружбой, но любил только ее одну — Вареньку Лопухину:

> Она не гордой красотою
> Прельщает юношей живых,
> Она не водит за собою
> Толпу вздыхателей немых.
> И стан ее не стан богини,
> И грудь волною не встает,
> И в ней никто своей святыни,
> Припав к земле, не признает.
> Однако все ее движенья,
> Улыбки, речи и черты
> Так полны жизни, вдохновенья,
> Так полны чудной простоты.
> Но голос душу проникает,
> Как вспоминанье лучших дней,
> И сердце любит и страдает,
> Потом стыдясь любви своей.

Этому столь выразительному поэтическому портрету, созданному в 1832 году, чрезвычайно соответствует миниатюра Мартена, написанная лишь годом позже. Лермонтов уже уехал в Петербург и не писал Вареньке, и ей казалось, что он ее совсем забыл. Поэтому на портрете она излучает такую покорность судьбе, такую тихую грусть. Вне сомнения, имеется духовная связь между поэтическим образом, созданным Лермонтовым, и миниатюрой Мартена.

Так постепенно раскрываются загадки старинных миниатюр. Черты живые тех, кто дорог истории русской культуры, доносят они нам.

ИРИНА ЧИЖОВА,
кандидат искусствоведения
Санкт-Петербург

Протоиерей

АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО

По минному полю

И стоит отец Александр в погожий весенний день на взгорье перед городом Пензой, где служить ему предстоит священником несколько лет.

Год 1937-й. Пришел молодой священник из далекой Колымской земли. Пять долгих лет каторги пройдены. Теперь он свободен, прав гражданских нет, как у священника, но он не только жив, но может наконец-то обнять свою мать, увидеться с сестрой, вновь вернуться к тому добровольному подвигу, который взял на себя совсем молодым человеком — бескорыстному, всецелому служению Церкви и народу Божию.

«Что задумался, болезный»? Голос отвлек его от мыслей. Перед ним, глядя с участием на его лагерное обмундирование, стояла пожилая женщина.

«Да вот размышляю», — ответил батюшка. «Не беспокойся, касатик, все у тебя сложится хорошо, Бог поможет. А я небольшим могу помочь. Сегодня торг вышел хороший, продала я живность домашнюю. Прими, что имею. Не примешь, обижусь. Ты ведь странник из тех стран северных. И у меня там сын ни за что страдает, а посылки уже несколько месяцев не принимают. Вроде бы сыну даю. Не откажи, уважь».

Принял подаяние отец Александр, не отказался. Мелькнуло: всю жизнь должен заботиться о несчастных. Ушла женщина. Не иначе Господь посетил. Вспомнил, как в 1920 году на Кубани, в Краснодаре студентом занял у знакомого профессора довольно крупную сумму денег, чтобы вызволить из беды бедную семью. Он думал, что сумеет рассчитаться, но проходит время; что мог собрать бедный студент? Правда, он был еще и псаломщиком в одной из краснодарских церквей, это давало возможность пропитания, не более. С тревогой думал тогда еще Александр Порфирьевич, как он будет выглядеть перед профессором. Однажды он шел по одной из тихих улочек Краснодара, вечерело; навстречу показалась фигура профессора. И чем не промыслительно! У обочины лежал какой-то небольшой сверток, Александр поднял его, раскрыл — деньги, причем столько, сколько он должен был. Долг был отдан. Сегодня отец Александр вновь получал жертву как особый знак.

И начал он свое служение. Церковь без молящихся, один староста вольнонаемный. Насколь верующий? И когда батюшка вышел на амвон и начал проповедывать в пустой церкви, это было непонятно. Староста рассказал о проповеди своим знакомым. На следующий день на непонятного чернобородого священника пришло взглянуть несколько человек. Через неделю церковь была полна.

Обратили на это внимание финансовые органы, наложившие непомерный налог на священника. Вторыми всполошились активисты из «Союза воинствующих безбожников». И, наконец, батюшку вызвали в местное отделение НКВД, где стали выяснять, не гипнотизер ли он, поскольку поступило заявление, что прихожан он привлекает, завораживающе блестя черными глазами.

Но на сей раз его не задержали, а шутя посоветовали, мол, говорите своим старушкам проповедь с закрытыми глазами, недруги и отстанут от вас, и писать нам заявлений не будут.

Так и начал проповедывать отец Александр с закрытыми глазами и сохранил эту привычку до конца дней своих.

Началась война. Призвали в армию и отца Александра. Определили в стройбат.

«Мамочка моя, на фронт позвали меня, поцелуемся. Благослови тебя, родная, Господь. Ненадолго наша разлука, не волнуйся», — писал он. Вчера каторга, сегодня фронт, матери «не привыкать», только рано седой стала.

Строительный батальон, куда был определен отец Александр, строил аэродром, взлетную полосу. Отец Александр — геолог, ему ли не разбивать камни, ударит — и разлетятся. Если бы так сказочно было! Батюшка себя и здесь не щадил. В поте кровавом готовили они запасные аэродромы. Как рванули немцы — ничего не понадобилось! Отходим! Завтра здесь враги!

Сегодня ушли, а уже по флангам всполохи. Глаза у командиров беспокойные: юноши совсем, а в батальоне все больше пожилые.

Кажется, все-таки успели уйти. Вытянулись на подводах по проселку. Тихо. Только где-то вдали громыхает. Поздняя осень. Красота России. Кто ее отдать захочет? Поделиться можно, но не отдать.

Когда полосу аэродромную строили, отец Александр учил всех, как бить по камню. Привезли много камней, ударишь — и напрасно. Держится камень. Найти надо особый сказ — ударишь, и камень разлетается. А теперь разлетелись все: и будущий аэродром, и полоса, и командиры, и солдаты. А поздняя российская осень стоит. Золото, серебро в лесах, грибов — даже у дороги видимо-невидимо.

Не все птицы еще улетели. Кто сказал, что дурманом трава пахнет? Полынь, горицвет, да Бог знает какое еще цветение благоухает!

Идет обоз. Да немалый! Десятки подвод, даже две сорокопятки лошади тянут. День хорошо идут. Свечерело. Направо, налево молнии сверкают, громыхает. Не молнии это, и не гром громыхает, отходят наши войска; пошел слух в обозе: в окружение попали. Страшное слово в первые дни. Пленными быть — не живыми быть. Идут только вперед. Когда раздался свистящий звук и крики: «воздух» — было поздно. Вздыбившаяся земля. Вверх подняло остатки повозок, людей, лошадей. «В лес, в лес!» — кричат все. Но нет спасения.

Отец Александр упал в густую траву, поздние цветы. Упал на живот, втянул голову. Страх. Поляна широкая, светлая, нет деревьев. Перевернулся на спину. Небо высокое, голубое на радость, совсем не осеннее, а вверху как кошмар, видение — «мессершмитт-109» — черная смерть. Лошади постромки оборвали, по полю мечутся, раненые стонут, а на поляне тишина, стрекозы прыгают, муравьи норовят на лоб заползти, и вдруг вой дикий. Пришли сверху пули, покосили траву, цветы. Теиь от крылатой смертн прошла. Маленькая она, заслонить уходящее солнце не может, но вновь возвращается. Да, это она — смерть! Кто ты, сидящий в летящем исчадии ада? Почему избрал меня? Так близко убийца, что виден стал в своей кабине. Расстреливает. Убивает беззащитного. Спасаться? Перебежать на другую сторону поляны. Так и сделал.

Бомбы израсходованы, но еще есть возможность пулями пришпилить к земле. Разворот. Солнце слепит. Это уже азарт, это уже охота.

И началось!

Отец Александр оказался, как в блюдце на маленькой поляне, — убежать в лес невозможно, и он перебегал от одного края поляны к другому. Наверно, паренек из воздушного флота рейха не записал в свой послужной список эту охоту. Но это было. Он не просто кружил над полянкой — стрелял, стрелял и еще раз стрелял. А улетал сердитый, даже погрозил кулаком в кожаной перчатке.

Тихо стало. Вновь слышно дыхание земли, вновь шмели запели, запахи стали слышны. Совсем недалеко голоса уцелевших. А встать мочи нет. Приподнялся отец Александр, травинку пожевал, руку протянул и отдернул: тоненькую проволоку заметил, понял, что лежал рядом с небрежно захороненной миной. Выбирался с полянки — вечность прошла. Бегал, спасаясь от смерти с неба, а она и в земле поджидала. Вероятно, наши отступавшие войска заминировали танкоопасные места, да и противопехотные мины набросали. Так случилось, что их батальон аэродромного обслуживания остался по чьей-то халатности, а может быть, после внезапного прорыва немцев не только без должного прикрытия, но и чуть ли не за линией фронта, в тылу наступающих по большим дорогам немецких войск. Выбирался отец Александр с этой безобидной полянки, оказавшейся «поляной смерти».

Хранил его Господь Бог и материнские молитвы. Не смотрел себе под ноги отец Александр, когда спасался от смерти с самолета, ничком валился на землю, вжимаясь в нее от новой пулеметной очереди.

Бойцы батальона хорошо знали священника, все уважительно, несмотря на то, что он был сравнительно молод, звали «батей». Спокойная уверенность отца Александра, его особенное, порой экстатическое состояние любви к окружающим передавалсь всем. И теперь, когда аэродромное хозяйство и строительный батальон спешно отходили по одной из забытых проселочных дорог, его не бросили. Остаток обоза на поляне двинулся вперед к новым испытаниям. По флангам усилились всполохи, отмечающие нарастающее бушующее пламя войны. Обоз упрямо вырывался из клещей наступающих немецких войск. Кровью истекали немногочисленные дивизии Калининского фронта, смертию смерть поправ.

Оглушительный раскат взрыва прервал поскрипывание обозных колес. Передняя телега неожиданно была поднята на воздух страшной силой. Летели вверх разорванные части человеческого тела, бились раненые лошади: противотанковая мина сработала. Ловушка захлопнулась, оставалось одно, чтобы не подвергнуться плену: с самодельными щупами прорываться вперед. Там, где проходил человек, лошадь с нагруженной телегой взлетала на воздух.

Наступила ночь, обоз еле двигался. Немцы ночью отдыхали. Надо было использовать эту возможность.

Но снова яркий всполох огня, оглушительный грохот. Все остановились. Так продолжалось несколько дней. Люди и лошади были измучены, питания не было, воду пили из придорожных канав или подставляли плащ-палатки под осенний дождь со снегом. Похолодало. Пошел просто мокрый снег. Дорогу начало заносить. С первой телегой никто не хотел идти. Ропот грозил перейти в неповиновение. Обоз прекратил и без того медленное свое движение. И тогда командир из середины обоза позвал отца Александра. Оказывается, бойцы сказали, что они пойдут дальше, если «батя» перейдет на первую телегу или пойдет за ней. Командир, молодой еще человек, смущенно сказал, что сейчас ни он, ни политрук уже не владеют обстановкой. «Я понимаю, что война есть война и можно приказывать, но просто язык не поворачивается, и я прошу вас внять не голосу разума, а чувства». Молодой офицер был, видно, интеллигентным человеком, и он, как бы рассуждая с отцом Александром, сказал: «Конечно, это жестоко, вроде быть заложником, но здесь вера в священника. Наивная, но уверенность, что с «батей» не пропадем. Вы знаете, — продолжал командир, — я сам разделяю эту уверенность».

Не колеблясь, пошел отец Александр с первой телегой. Это не было закланием, броском на огнедышащую амбразуру, но здесь было такое же самоотвержение, в котором его поддерживала вера в него людей. Не все разделяли его идейные убеждения или были безразличны к исповеданию священника, но «сила духа в немощи совершается». Духовные токи внутреннего единства пронзили всех этих людей, объединенных общим страданием, заставили уважать и верить в несущего духовный накал «батю».

Твердая уверенность отца Александра, что Бог сохранит его на скорбном пути, приведет к встрече с горячо любимой старушкой матерью, которой он обещал скоро вернуться, еще более утверждалась, когда он почувствовал веру других в себя, как носителя высокой истины.

И так, оказывается, рождается фронтовое братство, скрепленное нитями духовного единения.

Бойцы повеселели и приободрились. «Батя» шел без устали. Отец Александр думал о том, что не каждому выпадают такие прекрасные мгновения в жизни, когда его вера обретает видимое подтверждение. Все страхи остались позади, на той «поляне смерти», где не прервалась его жизнь от пулеметной очереди новоявленного Каина. Видимо, судил Господь пронести и далее Его свидетельство среди людей. Помнится, как в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, после блестящего окончания политехнического института, да и одновременно историко-филологического отделения педагогического института, ему прочили большую гражданскую карьеру, но он принял сан священника и старался быть достойным этого высокого сана. Было порой трудно, но скорбь в радость претворялась от мысли о Боге, от чувства единения с Высшей Справедливостью, слияния со Христом в евхаристии. Даже в далекой Воркуте совершал отец Александр это дивное таинство. Сколько надо было вынести унижения на каторге, непонимания на свободе, когда столь невежественно, порой дико действовали «борцы» из «Союза безбожников». Многие из знакомых отца Александра советовали ему поостеречься, не привлекать пристального внимания «власть предержащих», но когда отец Александр вступал под своды храма и видел, как жаждут молящиеся его слова, беседы, видел глаза прихожан, он еще более укреплялся духом. Вот только мама последнее время сдавать стала, пришлось просить одну женщину помогать ей, так думал отец Александр, идя за первой подводой.

Теперь это испытание судил ему Господь. Духовное напряжение спало, но почти осязаемая тяжесть временами наполняет тело. То знобит, то бросает в жар. Когда стало совсем невмоготу, отец Александр прилег на телеге.

Пройдены были многие километры страстного пути, и когда самое тяжелое осталось позади, высший подъем духа, который переполнял священника и поддерживал его, ослабел. Не выдержала плоть, отец Александр горел в жестокой простуде. В полусознании его доставили, после выхода из окружения, в ближайший госпиталь в Кимрах, городе на Волге. Оказалось двустороннее воспаление легких.

Немцы совсем близко подошли к Кимрам, волжскому городу сапожников, но затем их наступление остановилось. Произошло знаменитое сражение под Москвой.

Вскоре отца Александра освободили от военной службы. Он остался служить священником в Кимрах.

Командование, объявив ему благодарность, представило к награде.

За время своей службы священником отец Александр сначала из Кимр, а затем из села Николо-Ям, той же Ка-

ЛИТЕРАТУРА.Невыдуманные рассказы

линииской области, отправлял обозы в госпитали. Это были обозы с продовольствием. Отец Александр никогда не понуждал к невозможному, он видел оскудение на Тверской земле, и все-таки после сбора урожая и выполнения всяких немыслимых поставок из скудных средств своих верующие, а то и просто председатели колхозов привозили продовольствие к дому священника. Отец Александр сам руководил составлением обоза. До последней крупицы все переданное священнику доставлялось раненым бойцам.

Отцу Александру, принявшему монашество и ставшему Епископом Никоном, были вручены медали «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Получил отец Александр и благодарности от Верховного Главнокомандующего за средства, собранные на алтарь победы.

Владыка Никон умер в годы, когда ветераны Отечественной войны были еще сравнительно молоды и незаслуженно забыты.

В 1956 году Архиепископа Херсонского и Одесского Никона хоронила вся Одесса. Гроб с его телом пронесли на руках от церкви на Французском бульваре до Одесского Успенского Кафедрального собора.

Архиепископа Никона знали не только в церковных кругах. До сих пор в Одессе, где Владыка служил в последнее время, его не только помнят, но чтят; и каждый понедельник, в день недели, когда умер архипастырь, служат панихиды, — а прошло тридцать пять лет. Умер Архиепископ Никон, когда ему было немногим более пятидесяти лет.

От штормовых для нашей семьи тридцатых-сороковых лет осталось совсем мало: несколько писем отца Александра с каторги. На почтовых открытках, с изображением нашего красного воздушного флота, по нескольку строк. Здесь перечисляются имена близких. Начинается всегда с матери, которую Александр очень любил. Далее упоминается моя мать — Мусенька, ласковое от Марфы. Это родная сестра отца Александра. Коленька — это мой папа. Его «забрали» в 1937 г., и от него не пришло с тех пор ни одной строчки. Был человек и не стало. И, наконец, в письмах-открытках еще одно имя, Шурочка — это я. Тогда мне не было четырех лет. Сам отец Александр никогда не был женат.

Время от времени я прочитывал письма родного дяди и считал их чисто семейными. О том, чтобы поведать их дальним, тем более миру, и не помышлял. Теперь мне представляется, что многое из этих кратеньких писем может быть поучительным для всех. Здесь и стойкость при перенесении испытаний, и утешение близких, и философские рассуждения, и глубокая вера, поэтические строчки, любовь к окружающим и ни тени уныния. Хотя даже до 1937 года лесоповал оставался лесоповалом.

Первое письмо написано отцом Александром из камеры Бутырской тюрьмы. На листке бумаги карандашом без числа:

«Родненькая мамочка, все я получил. Здоров, имею прекрасное настроение. Всему радуюсь. Хочу только, чтоб Вы, родненькая моя, были спокойны и чтобы все радовались. Как Мусенька и Шуренчик чувствуют себя? Я особенно радуюсь, когда и Вы, мамуся, хоть немножечко припишете к передаче. Всех, всех приветствую с особенною радостию и любовью.

Петин Александр Порфирьевич

15-я камера».

Прошло много месяцев, прошли 1933 и 1934 годы. Видно. послабление вышло, разрешено было писать лишь в 1935 году. Отсюда и начинаем:

«Мамочку, Мусеньку, Коленьку и Шурочку крепко целую.

Здравствуйте я радуйтесь. Все хорошо. Здоров. Сегодня у нас ветер сильный, снег. Но холодов уже нет. Очевидно и не будет. Ведь сегодня 3 марта. Как здоровье мамочки? Это все время в голове моей. Письма что-то редки. А я вам стал опять писать часто. Почта ходит исправно.

До свидания. Александр

3/III-35 г.»

Написать слово Бог, да еще на открытке было невозможно. Местоимение «Он» и слова «Радость», «Надежда», «Жизнь» с большой буквы понятны каждому христианину:

«Здравствуйте, мамулинька моя миленькая.

Здравствуйте, Мусинька, Коленька, Шурочка.

Крепко всех вас целую! Вчера получил письмецо. Как же вы моих писем не получаете? Ведь я же вам шлю каждый день. Почта, вероятно, ходит редко. А вы не беспокойтесь обо мне. Себя берегите. Я здоров. Все хорошо. О возвращении своем я меньше знаю, чем вы. Вы радовали меня каким-то знанием своим, а теперь вы спрашиваете меня. Я одно пока только знаю: прошло 2 года, еще 3 впереди. А может быть и нет. Кто знает? О маме думаю, в этом меня укорить нельзя, но ускорить возвращение... Что я могу? Хорошо бы было возвратиться. Но, что же родненькие мои? Не наша воля, а Его. Будьте спокойны. Александр 10/III-35 г.»

«Родненькую мамочку мою крепко целую.

Здравствовать ей и радоваться.

Сегодня первый чудный день. Он говорит о весне. В это время быть бы мне с вами. Да видно то, что нам кажется хорошо, не совсем так. Мы ведь меньше знаем, чем Он, потому, зная о Его любви, будем спокойны. Мамочка, будьте достойны своего высокого звания. Помните не только меня, но прежде всего Его, нашу Радость, нашу Надежду, Жизнь. В Нем мы сокроем себя.

Всем мир! Всем приветствие любви.

Александр

11 марта 1935 г.»

Отец Александр в своем положении узника находит возможность не только утешать близких, но и самому утвердиться в испытаниях:

«Мусенька, ты пишешь, что мамочка после удара не такая, как была. Какая же она? В чем дело? Сознание, вероятно, затемнилось? Как это печально. Мусенька, и ты будь спокойна. Знай, что мне тебя не учить, не пристало. Но вспоминай еще о вечности и ее Начальнике и Отце. Пусть это будет не чем-то далеким, а как оно есть! Реальным и близким. Весь мир. Все в свое время свершится. Если будем достойны радости, то и радость вечная придет. Я очень много воспринял того, о чем только говорил, что было только теоретично, стало опытом и действительностью. Все хорошо. Я как будто стал тверже, хотя дальнейшие испытания покажут это.

Шурочку родненького крепко целую. Пусть знает, что я его крепко люблю. Всем же радости и мира.

Александр

12 марта 1935 г».

Еще письмо:

«Мамусеньку мою родненькую, Мусеньку, Коленьку, Шурочку крепко целую. Здравствуйте, мои родные, и радуйтесь!

Ну, что, родненькие, получаете письма мои? Ох, как часто я пишу вам. Вы не смущайтесь перерывами в письмах, они так естественны. Вы ведь это и сами знаете. Зачем же волнуетесь. Будьте относительно меня спокойны. Все хорошо. Здоров. Настроение мира. Что же печалитесь вы? Встреча ведь будет. Зачем же унывать? После новых сильных морозов у нас снова стало теплее. Приятно пройтись.

До свидания.

Александр

16 марта 1935 г.»

«Здравствуйте, мамочка, Мусенька, Коленька, Шурочка!

Получил ваше письмо, написанное вами 25 февраля. Оно успокоительно. Хорошее. Видно, что вам трудненько, но вы переносите стойко.

Домой бы полетел, да крыльев нет. Все хорошо. Здоров. Целую крепко.

Александр

24 марта 1935 г.»

А ЭТО УЖЕ ПОЭЗИЯ:

«Моя радость мамочка, мое счастье, здравствуйте!

Здравствуйте, Мусинька родненькая, Коленька, Шурочка!

Ах, какой сегодня прекрасный день! Чудное утро! Небольшой теплый ветерок с юга, так хорошо пройтись по тундре. Солнышко немного поднялось. Оно еще в тучках, но лучам его тучи не мешают, они не только как бы сеют их на землю и лучше оттеняют горы. Но вот небо очищается. Голубое на горизонте, оно в выси, над головой темно-синее, и редкие барашковые тучки делают его настолько привлекательным, что глядишь в него и улыбаешься. Наконец солнце освободилось совсем и брызнуло золотом лучей на снежную тундру. Заискрилась она, засверкала на солнышке — и глядеть нельзя, ослепительно. В душе мир. Все хорошо. Здоров. Вы крепитесь и обо мне не больно беспокойтесь. До свидания. Целую крепко.

Александр

1935 г. 27 марта».

НА ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТКАХ:

«Моей мамочке радость и мир!

Мусенька, Коленька, Шурочка и Вы, моя родненькая мамуленька. Здравствуйте.

Я получил вчера снова ваше письмо и сегодя спешу на него же ответить, да и без этого я бы, конечно, сегодня написал бы вам, так как взял за правило: пока нет распутицы, писать вам каждый день. Вы спрашиваете меня о здоровье. Да ведь я в каждом письме пишу, что здоров и прекрасно себя чувствую. Чего же вы беспокоитесь? А врач осматривал по рации из Чибью. Я думал, что это вы об этом хлопотали. Ну что же, конечно, раз здоров, значит здоров. А если бы был больной, вероятно перевели бы в другой лагерь, поюжнее. Вероятно так, а может и не так. Так я только предполагал. Все хорошо. У нас тоже весна. Скоро распутица, писем не будет, так вы не волнуйтесь тогда. Мы не в плохих условиях. Все хорошо. До свидания. Целую крепко всех.

Александр.

Мамочку мою за приписку «целую мама» еще раз целую крепенько».

В ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ПИШЕТ:

«Мою мамочку, Мусеньку, Коленьку, Шурочку и всех, всех дальних и близких приветствую с Днем Радости!

Счастливый день! Солнышко в этот день радуется и души людей тихо веселятся. Если вы верующие, да веселится и ваша душа и да не омрачается никакой печалью. Мир вам всем.

Александр

1935 г. 7 апреля / 25 марта».

«Здравствуйте, мамочка, Мусенька, Коленька, Шурочка!

Крепко всех целую. Все хорошо. Здоров. На душе мир. Вы особенно не беспокойтесь, т. е. все хорошо, и когда надо будет по Его воле, увидимся. Духом не падайте. До свидания.

Александр

1935 г. апрель».

«Моя роднюсенькая мамочка, Мусенька, Коленька и Шурочка, здравствуйте!

Вот до сего времени писем от вас не получаю, а уже пароходы давно ходят. Очень уж хочется знать о здоровье моих родненьких.

Сам я здоров, все хорошо. На лоне природы живу. Вот я сижу на зеленой травушке, передо мной река, лес, ручейки, а над всем голубое небо, легкий ветерок.

Скоро будет Мусенька именинница, поздравляю ее и всех. Испеките пирог сладкий и за мое здоровье также покушайте. Приеду, тогда и меня угостите.

10 апреля 1935 г.».

ВНОВЬ ПРИЗЫВ К ТВЕРДОСТИ ДУХА:

«Здравствуйте, мамочка, Мусенька, Коленька и Шурочка!

Сегодня 15 апреля, хотелось бы, чтобы и у вас, особенно у родненькой мамочки, было такое же настроение, что и у меня. Родные мои, умоляю вас всех, не печальтесь. Все хорошо. Разве мы беззащитны? Не будьте так боязливы.

Целую всех крепко. Александр. 15 апреля 1935 г.».

ЕЩЕ ПИСЬМО:

«Здравствуйте, мамочка, Мусенька, Коленька, Шурочка!

А письма все-таки редки от вас. Не знаю, как мои, я пишу часто. После 30-градусных морозов в первой половине апреля сегодня снова потеплело. Однако не так, конечно, как у вас. У нас все в серебре, а у вас в золотистых солнечных лучах. У вас масса птиц и зелень распускающаяся, цветы, а у нас белые куропаточки и снег. Как-то раз зимой увидели черного ворона и заключенные шутили: очевидно он тоже сосланный: он не гармонировал с белой тундрой.

На душе хорошо. Вам желаю мира и отрады. До свидания. Здоров и все хорошо.

Александр. 1935 г. 15 апреля».

ПРИЗЫВ К РАДОСТИ И БЛАГОДАРЕНИЕ БОГА ЗА ВСЕ НИСПОСЫЛАЕМОЕ:

«Мир и радость мамочке, Мусеньке, Коленьке, Шурочке! Здоров, хорошо все. Бодритесь и не унывайте. Сегодня 17 апреля. Видите, хорошо прошла и вторая зима. Можем же мы говорить только о прошлом, а будущее неизвестно. Потому будем радоваться за то, что испытали, надо только благодарить. Целую крепко. Александр. 1935 г. 17 апреля.

18 апреля. Утро. Чуть-чуть идет, «срывается» снежок. Ветерок с южной стороны. Потеплело. В душе хорошо: мир и отрада. Всем желаю счастья и любви нашего Учителя. Крепко целую всех вас.

Александр».

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ И ДОШЕДШИХ ДО АДРЕСАТА ПИСЕМ:

«Здравствуйте, дорогая моя мамочка, Мусенька, Коленька, Шурочка!

Как-то хорошо становится на душе при воспоминании о вас. Вот и сегодня, даже радость пришла. Родненькие мои, а ведь верно, что уже не за горами наша встреча. Крепитесь, еще немного. Мамуся, не печальтесь, только радуйтесь и будьте здоровы. Мусенька родная, ты чего же так сильно болеешь? Зачем себя так убивать. Все было бы хорошо, если бы вы не болели. Ну ничего, и болезни, я уверен, ваши не к смерти, но к ⟨...⟩.

Не печальтесь, радуйтесь. Все хорошо. Я здоров. Прекрасно себя чувствую. Лето хорошее во всем. Итак, до недалекого свидания.

1936 г. 12 июля».

Отец Александр молился в местах заключения такой молитвой о погибших в те злые годы:

«ВО БЛАЖЕННОМ УСПЕНИИ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ПОДАЖДЬ ГОСПОДИ УСОПШИМ РАБОМ БОЖИИМ (имя рек) НА ПОЛЕ БРАНИ УБИЕННЫМ, В ЗАТОЧЕНИИ СКОНЧАВШИМСЯ, ЗА ВЕРУ И ЛЮБОВЬ К ГОСПОДУ ПОСТРАДАВШИМ, ЗАМУЧЕННЫМ, УБИЕННЫМ И КАЗНЕННЫМ, ВСЕМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИЮ СКОНЧАВШИМСЯ, ЯЖЕ ВОДА ПОТОПИ, В СНЕДЬ ЗВЕРЕМ БЫВШИМ, ОТ СТРЕМНИНЫ ПАВШИМ, НАПУТСТВИЯ СВЯТЫХ ТАИН НЕ СПОДОБИВШИХСЯ, ОТ ГЛАДА И МРАЗА СКОНЧАВШИХСЯ».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АРХИЕПИСКОПУ НИКОНУ!

●

ВАСИЛИЙ АФОНИН

Прощание

Сыну Егору

Солнце скрылось за тучу, опускаясь в море, и сделалось почти темно, хотя не было еще и десяти часов. Постояв немного, глядя на закат, туда, откуда ветер гнал волны, он повернулся, сунул под мышку свернутый зонт рукоятью вперед, поправил сдвинутый на глаза темно-синий мягкий берет, поднял воротник плотной вельветовой куртки, опустил руки в карманы и, горбясь, глухо покашливая, выдвигая на ветер правое плечо, пошел по узкой песчаной косе между водой и лесом, где никого уже не было, лишь редкие фигуры просматривались вдалеке, но и они скоро исчезли в сумерках.

Довольно широкая полоса земли между морем и рекой, поросшая травой, кустарником и соснами, тянулась на десятки верст от устья реки к югу, сливаясь где-то там с огромным лесным массивом, полоса эта представляла собой курортную зону, была застроена дачами, различными пансионатами, просто частными домами, и сейчас в сырой вечерней мгле строения тускло светились огнями, но огня маяка, там, где песчаная коса высоким мысом вдавалась в море, не было видно, вероятно, маяк скрыло наползавшим с моря туманом.

Пройдя с версту, он свернул в лес и остановился около старого деревянного двухэтажного дома, срубленного среди сосен на маленькой полянке. Вытер о траву ботинки, ощущая запах мокрой травы, коры и хвои, достал из заднего кармана ключ, открыл наружную дверь, шагнул в сени, сразу же запер за собой дверь, по скрипучей лестнице поднялся на второй этаж, этим же ключом отомкнул замок второй двери, за которой находился чердак. Притянув дверь и включив свет, не раздеваясь, он тяжело опустился на табурет, опершись локтем о столешницу низкого столика, и так сидел некоторое время, закрыв глаза.

Чай заварился. Пересев к стене, чтобы можно было облокотиться спиной, он пододвинул к себе кружку, размешал ложкой, давая чаинкам утонуть, а те, что не тонули, собрал в ложку, стряхнул на газету и стал пить осторожными глотками, задерживая чай во рту, остужая, страшась обжечь горло и закашляться еще сильнее. Он пил без сахара, хотя сахар у него был, но он не любил сладкий чай, как не любил и слабозаваренный, пил просто так, согреваясь, вытянув ноги, откинувшись к стене, а выпив половину, отставил кружку и закурил сигарету с мундштуком.

Так он и сидел, зажмурив глаза, затягиваясь табачным дымом, покашливая, поглаживая ладонью грудь, ручные часы его показывали начало одиннадцатого, за окном был поздний вечер, тьма скрывала дома и деревья, в открытую форточку слышно было, как скрипят, раскачиваясь на ветру, роняя шишки, сосны, но моря шум не был различим сам по себе, сливался с шумом порывистого ветра, сгибавшего сучья.

Дом был пуст, летом нижний этаж занимали дачники, в конце августа они выбрались, и когда он поселился в доме, их уже не было. Верхняя часть дома делилась на два чердака с самостоятельным входом к каждому, но двери второго были накрепко заколочены, видимо, он давно уже был заброшен. Чердак, где он сидел, был неравно перегорожен как бы на прихожую и комнату.

Чердак принадлежал женщине, жившей в городе, с ней его свели общие знакомые, бывшие его хозяева, у кого останавливался он два года подряд, приезжая сюда в июне, в июле. Теперь они уже не пускали посторонних, только своих, но помнили его и помогли найти пристанище. В августе он отдыхал с семьей в одном из пансионатов на косе, в последних днях августа, когда заканчивался срок отдыха, начал подумывать, не остаться ли здесь еще и на сентябрь, но, чтобы остаться, необходимо было прежде найти жилье, он пошел к тем, у кого жил в прошлом году, а они привели его в этот дом.

— Живите, — сказала женщина, — мне не жалко, чердак все равно пустует. Я почти не бываю на косе, родственники наезжают с июня по сентябрь. Вчера проводила. И денег не надо, будете временным сторожем, — женщина улыбнулась. — А белье постельное у вас есть? Там лишь матрац и... подушка такая же. Родственники привозят свое.

— Белья у меня нет, — сознался он. — Но я обойдусь без него, что делать. Случалось обходиться и без белья.

— Тогда все, — кивнула женщина, — живите. Ключ отдадите нашим знакомым.

По-русски женщина говорила слишком правильно, потому что была, как ему сказали, наполовину латышка, наполовину полька, выше среднего роста, худощава, белые волосы по плечи, не красивая и не дурна, сдержанна, сурова лицом, но когда улыбалась, лицо менялось.

Суровая, как погода в Прибалтике, вспомнил он слышанное, разговаривая с женщиной. Суровая, как погода...

Поднявшись на чердак после завтрака, он садился на табурет спиной к переборке, клал перед собой на стол тетрадь, пластмассовую шариковую ручку, закуривал и сидел часами, не раскрыв тетради, смотрел в окно на старую, росшую ближе других к стене дома сосну с обломанной вершиной. Так было днем и вечером, когда он приходил с вечерней прогулки. Так было ежедневно, с того дня, как он поселился на чердаке. Так было и сегодня.

В пансионате семьей прожили они двадцать шесть дней, размещаясь в номере из двух комнат — их с сыном кровати находились в первой комнате, жена с дочерью занимали дальнюю. В пансионате он не пытался работать, да и нельзя было там чем-то заниматься для себя, подумать хотя бы, побыть одному. Та же семья, что и дома, те же почти заботы о детях. Жена, если день был солнечным, позавтракав, шла на пляж загорать. Иногда она брала с собой сына, сын копался в песке, строил что-то, помогая себе совком. И тогда он читал на балконе — быть на солнце ему запрещалось — либо бродил по лесу. Если же день выпадал ненастный, жена отправлялась в город по магазинам, а они с сыном уходили в поход по лесной дороге, открытой им во время одиночных прогулок. Дорога тянулась краем леса, едва ли не версту, от их пансионата до следующего. Взявшись за руки, они неторопливо брели, останавливаясь, собирая шишки в ведерко. Ветер раскачивал сосны, шишки падали на дорогу, и сын, отбежав вперед, запрокинув голову, кричал:

— Папа, папа, смотри, белочка опять сбросила нам шишки!

— Да, милый, да, это белочка бросает, она играет с тобой, — отвечал он.

Сыну было всего пять лет, сын был светловолос, крепок, подвижен, лицом похож на мать, назван он был именем деда, которого никогда не видел. Сын родился в сентябре, а дед, живший в далеком от них районном селе, умер спустя три месяца. В сентябре дед болел уже, лежал в забытьи, кивнул лишь молча, когда ему сказали о рождении внука.

Сын впервые был у моря, впервые в сосновом лесу. Вдруг остановившись среди дороги, отстранившись от всего,

забыв об отце, держа в горстях шишки, сын начинал горячо и несвязно говорить сам с собой, а он, стоя поодаль, глядя на сына, чувствовал, как спазмы стягивают ему горло,— так он любил мальчика.

Так же вот он любил и дочь, с рождения ее и до школы, потом она как-то сразу стала взрослеть, менялись внешность, характер. Дочь отошла от отца, но и к матери не приблизилась, была сама по себе, за несколько школьных лет она вытянулась ростом чуть ли не с родителей.

В пансионате дочь скучала. Просыпалась она поздно, опаздывая на завтрак, нехотя умывалась, долго причесывалась у зеркала, нехотя съедала принесенный матерью в комнату завтрак, надевала поверх платья, несмотря на жару, свитер, устраивалась на кровати напротив зеркала да так и сидела, поворачивая лицо, то вскидывая, то опуская брови. Придя в столовую, дочь, зачерпнув несколько ложек супа, отодвигала тарелку. Это означало, что здесь ей не нравится. Жена с охотой ела все, что подавали, заметно раздобрела за время отдыха. После ужина жена покупала билет в кинотеатр пансионата, где ежевечерне показывали фильмы, либо ехала в город слушать в Домском соборе органную музыку, либо с дочерью отправлялась пить кофе, а они оставались с сыном, гуляли у моря или читали в комнате детские книжки.

— Папа, а куда мы поедем на будущий год? — спросила как-то дочь.

— Не знаю, — ответил он. — Может быть, снова сюда приедем

— Ну-у, только не сюда, папа, — возразила дочь. — Тут плохо.

— Разве плохо? А куда бы ты хотела?

— Конечно, плохо. Я хочу в другое место. В Крым, допустим. А, папа?!

— Не знаю, надобно еще дожить до будущего года.

— Ты что, умереть намерен? — жена искоса взглянула на него.

— Кто знает, может, и умру

— Всякий год говоришь одно и то же. Доживаем...

— И всякий год ездим куда-нибудь. Правда, папа?!

— Правда, всякий год ездим, а как же иначе, — согласился он.

— На следующий год я одна хочу отдыхать, — сказала жена. — Возьмешь детей и... Хватит с меня. Что это за отдых семьей?! Имею я право хоть раз отдохнуть одна. Как хочу и где хочу, а не там, куда меня привезут. Дома разрывалась весь год — работа, кухня, дети... И тут разрывайся. В конце концов, имею я...

— Имеешь, имеешь, — успокоил он жену. — Все права ты имеешь. Возможно, так оно и случится, что на следующий год ты...

— Пойдешь в кино или нет? — жена повернулась к дочери.

— Не хочу, фильм неинтересный.

— А что ты будешь делать?

— В комнате посижу

— Так и просидишь в комнате все двадцать шесть дней.

— Ну и что...

— Сиди, я пошла.

Решение отправить семью, а самому задержаться, побыть одному, возникло в последнюю неделю. Билеты были давно куплены, до отъезда оставалось дня четыре. Он объявил семье, что остается, и пошел сдавать свой билет. День спустя был найден чердак. Он ясно представлял, что будет там, дома. Будет все то же самое, что и было до этого.

Семья уезжала в аэропорт рано утром. Подъехала к пансионату заказанная с вечера машина. Они стояли, ожидая, поставив сумки на скамью. Он погрузил вещи, поцеловал дочь, поднял на руки сына.

— Папочка мой, — сын обнял отца за шею, прижался, целуя в бороду. — Я буду скучать по тебе. Я тебя не забуду. Ты скоро приедешь домой, папа? Когда ты приедешь?

— Скоро, — осипло ответил он. — И я буду скучать. Садись, пора.

Он кивнул всем, сидевшим уже в машине. Машина тронулась, дочь помахала ему рукой. Взяв сумку, он повернул к морю. К пансионату он не имел уже никакого отношения. В заднем кармане брюк лежал ключ от старого деревянного дома с чердаком на втором этаже, куда вела узкая лестница с оглаженными ладонями перилами.

Ему захотелось поработать, написать что-то, а если не получится, то просто побыть одному. Больше ему не удастся побыть одному, это — последнее. Вернее, скоро он останется совсем один и очень долго будет оставаться один, только уже не будет собой. Он давно ничего не делал для себя, с тех самых дней, как узнал о болезни. Он и сам понимал, что что-то с ним неладно, а они подтвердили болезнь. Но они назвали то, о чем он никак не мог предполагать, о чем боялся даже подумать. Для начала его попросили бросить курить. Ему предложили лечь в больницу на операцию, он отказался. Если бы он согласился, ему бы удалили половину того, чем он дышал. Но он не хотел, чтобы его резали даже под наркозом и удаляли что-то. У него не было никакой уверенности, что он будет жить с оставшейся половиной. И жить долго. Никакой уверенности не было и у тех, кто настаивал на операции, он отказался.

— Пройдет само собой, — сказал он тогда, на осмотре.

— Это не пройдет, — возразили ему. — Такое не проходит.

— Я знаю, — он одевался за ширмой. — Это я просто так. Но я отказываюсь.

— И напрасно. Время уходит. Время против вас, поймите. Подумайте.

— Хорошо, — поблагодарил он. — Я подумаю.

Погода переменилась, погода была уже не летней, осенней — холодные мокрые ветра, холодные дожди. Солнце редко показывалось в разрывах сизых рыхлых туч, низко нависающих над морем. Ночами случались штормы, тогда ветер пригибал прибрежный кустарник, трепал сосны, обламывая сухие сучья, а пенная вода захлестывала косу, оставляя на песке мусор. Ближе других к чердаку была старая сосна, давно уже штормовым ветром у нее сломило, сбросило вниз верхушку, верхушка так и лежала, желтея хвоей, под стеной дома. Ствол сосны был в сухих острых сучках, и только пониже слома, в сторону от ствола, рос толстый упругий сук, переходивший на конце своем в пушистую разлапистую ветвь, покрытую молодыми зелеными иглами. Когда с моря налетал порывами особо сильный ветер, сосна поскрипывала, раскачиваясь, скрип ее слышен был даже во сне среди ночи, а сук сгибался и мелко дрожал. Он боялся, что сук сломается, не выдержав напора ветров, и сосна умрет.

По вечерам, в сумерках уже, с берега прилетала одноногая чайка, садилась головой к ветру на сук, поближе к стволу, опускаясь телом так, что ноги не было видно, и засыпала. Ей было бы удобнее ночевать в дюнах, на песке прямо, но чайка выбрала сосну. Как бы рано он ни просыпался утрами, чайки на сосне уже не было. Встав, прежде чем закурить, он шагнул к окну, приблизил лицо к стеклу, всматриваясь в темноту, — чайка сидела на своем месте. Закурив, он вернулся на табурет...

Шагая по косе, взглядывая на белые от пены волны, он переносился памятью в ту, далекую для него теперь уже жизнь, отчетливо видя избу свою, соломенный, примыкавший к тесовым сеням двор, где зимовал скот, перелески, себя, стоявшего — руки засунуты глубоко в рукава фуфайки — в ограде, слышал, как задувает ветер в леток пустой скворечни, поднятой на тонкой жердине над двором, видел и понимал все, о чем надо писать, но когда начинал — ничего не получалось, не находились нужные слова, и это было хуже всего.

Порой ему становилось очень уж тоскливо и одиноко, и тогда он шел к пансионату, к той дороге, по которой бродили они с сыном, собирая сосновые шишки, явственно видел сына рядом с собой, и голос слышал его, и разговаривал с ним.

«Будь у меня жилье получше, оставил бы я сына, и душе моей было бы спокойнее, — думал он. — Но ведь ты спе-

циально хотел остаться один, чтобы что-то сделать, — возражал он себе». Хотел, но ничего не сделал. Прошло две иедели, а ты не записал ни единой строки. Так закоичится сентябрь, и тебе придется возвращаться домой. Нет, правильно ты поступил, что остался один. Чердак этот явно не для сына, да и ие для тебя уже. Им надобно послать письмо, сыну и дочери. Дочь прочтет письмо вслух, и они узнают, что отец помиит и любит их. И жилье не то, и погода не та, чтобы оставлять сына. Этот чердак хорош в семнадцать, ну, в двадцать лет, но не в сорок пять. Когда шестнадцатилетним, пристав к вольным бригадам, разгружал на Оби баржи с лесом, ночуя прямо на берегу под брошенной дырявой лодкой, подобный чердак был бы спасением, ничего лучшего просто невозможно было бы представить, как и тогда, когда спал на скамьях в парках, приезжая в незнакомые города. Сейчас этого мало. Сейчас нужна кровать, а не грязный матрац на грязном полу, и чистое постельиое белье, и горячая вода, чтобы утром умыться, почистить зубы, а на ночь помыть ноги, и полотенце для лица, для рук, полотенце для ног.

Ложась на матрац, он снимал только брюки, оставаясь в рубашке и шерстяной безрукавке, накрываясь сначала курткой, а поверх куртки — одеялом, но все равно мерз, ворочаясь, поджимая ноги. Подушку он накрыл рубашкой, снятой в стирку, так, чтобы на подушку приходилась запачканная ее часть. И ту рубашку, что была на нем, следовало уже поменять, а прежде надо было помыться, но идти разыскивать баню не хотелось. Да и была ли здесь, на косе, баня, он не знал. Лицо и руки он вытирал платками, стнрая их иа ночь, чтобы к утру они просохли. Один платок был всегда в кармане куртки, второй служил полотенцем...

«Я отдыхал на косе в июне, а июле, а нынче прожил весь август и захватил сентябрь, — размышлял он. — И должен заметить, что июнь все-таки лучший месяц. Если уж приезжать сюда, то только в июне».

Солнечных дией в июне выпадало больше, чем пасмурных, случалось, за день погода менялась несколько раз, но как бы там ни было с утра и после обеда, вечера всегда тихие, закаты ясные. Солнце закатывалось в половине двенадцатого, вот спустился в море верхний край его, но долго еще над водой алеет, постепенно угасая, полоса, тепло, душно даже, по вечерам таким на косе особенно много гуляющих.

В июле дни заметио шли иа убыль, становясь короче, солнца было достаточно, чтобы загореть, и вода прогревалась хорошо, но август, по местным понятиям, был уже месяцем осенним: позднний восход, ранний закат, облачность, ветры, дожди...

— Капрнзная какая погода в Прибалтике, — говаривали на косе, поднимая воротники, расправляя над собой зонты. — Показалось солнце, а вот опять...

В сентябре солнечных дней не было. Солнце на какие-то минуты проглядывало в прорехи туч и тут же исчезало. Для работы это была самая пора, если бы работа двигалась, но она еще и не иачиналась, а он, развернув большой черный зонт, шагал по косе, вслушиваясь в шум волн, ветра, дождя, стараясь уловить в шуме тон, найти верную фразу, и тогда уже ннчто не страшно, а фразы не было. Зонт прнкрывал лишь голову, плечи, брюки же, чуть ли не от самого пояса, да и полы куртки, если дождь был косым, промокали, и ноги промокали, но все равно он любил гулять под дождем, как любил в осеннее ненастье там, на Шегарке, надев резиновые сапоги, твердый длиннополый с капюшоном дождевик, уходить за деревню по Косаринской дороге, либо по другой, что вела на Моховое болото, на Святую полосу...

Так он шел однажды под вечер по безлюдной косе, подняв зонт и приметив далеко впереди сизую завесу дождя. В это время с ним поравнялась женщнна. Была она чуть повыше его плеча, статная, русые волосы зачесаны назад и стянуты на затылке пучком, куртка-ветровка накинута на плечи, на ногах ботинки, руки в карманах куртки, на локтевом сгибе болтается на ремешке сумочка. Он мельком взглянул на женщину и неожиданно для себя предложил: «Становитесь быстрее под зонт. Куда же вы?! Сейчас прольет. Смотрите, что делается! И спрятаться негде».

Женщина приостановилась, раздумывая, потом шагнула к нему, а он перехватил зонт из правой руки в левую, чтобы зонт приходился и иад ее головой. Наносимая ветром дымчатая дождевая завеса стремительно приближалась. Опустив как можно ниже зонт, он повернулся к ветру спиной, заслоняя женщину, первые капли ударили по зонту, и тут же струи обрушились на иих, обдав сначала водяной пылью. Они стояли недвижно, близко друг к другу, глаза женщины были закрыты, он, глядя поверх плеча ее, чувствовал, как намокает, намокла на спине куртка, намокли брюки и с прилипших к ногам штанин в башмаки стекает вода. Женщина о чем-то думала, это было заметно по лицу ее. Лицо ее было чистым, матовым, с твердымн некрашеными губами и твердым подбородком. Густые русые брови срастались над коротким прямым носом. Под курткой на ней был тонкий серый свитер с глухим воротом.

— Идемте, — тихо сказал он. — Все уже закончилось.

Завесу отнесло, и теперь лишь брызгал мелкий дождик, почти невидимый в воздухе.

— А-а, — произнесла женщина, открывая глаза. Голос у нее был протяжный, с едва уловимой хрипотцой. — Ну и дождь. Прямо ливень настоящий. Как в июле, только холодный.

Они пошли рядом, он все так же держал над головой зонт и молчал. И она молчала. Из приличия ему надобно было затевать какой-то разговор, ведь это он ее окликнул, но говорить не хотелось, хотелось на чердак, переодеться, выпить кружку горячего чаю, закурить. Неприятно было идти в мокрой одежде и мокрой обуви.

— Расскажите что-ннбудь, — он взглянул на женщину. Оиа думала о чем-то.

— А можно просто так, без разговоров, — попросила женщина. — Или непременно нужно разговаривать?

— Нет, совсем не нужно, — смешался он. — Что вы, совсем не обязательно.

Они шли долго, более часа, приближаясь к пансионату, где он жил в августе.

— Мне сюда, — сказала женщина, останавливаясь напротив пансионата. — Спасибо вам. До свидания.

— И вам спасибо, — поблагодарил он, наклоняя голову.

— За что?! — женщина улыбнулась. Улыбка у нее была чудесная.

— Ну... за все, — неопределенно сказал он.

— А-а, — опять протяжно произнесла она, махнула рукой и стала по каменным ступеням подниматься к корпусу, а он постоял еще, глядя на пригорок, сосны, вспомнная, как сбегали он с сыном к морю, и повернул обратно, к деревянному дому. Дождь закончился, ои сложил зонт, встряхнул его несколько раз, сбивая капли, и сунул под мышку рукоятью вперед.

Он и не загадывал встретить ее а последующие дни, к пансионату не подходил, гулял в противоположной стороне косы, стоял как-то близ воды, наблюдая чаек, поднял голову — женщина идет навстречу, улыбаясь.

— Здравствуйте, — поклонился он. — Это вы?! Я бы и не узнал вас, если бы не улыбка. Никак не мог вспомнить ваше лицо. Старался, а не мог.

— Оно слишком обыкновенное, чтобы можно было запомнить, — засмеялась женщина. — Зато я ваше запомнила. У вас запоминающаяся внешность.

И опять они шли молча, теперь уже прогуливаясь, далеко удалились по косе, повернули, и он проводил ее до самого пансионата, до каменных ступеней. Прощаясь, они условились назавтра погулять еще, встретясь где-нибудь на полпути между пансионатом и его домом, хотя она и ие знала, где он живет.

— Если ко мне не приедут, — предупредила женщина. — Но если приедут, то...

— Хорошо, — кивнул он. — До встречи.

Она не пришла. Он ждал ее долго, пока не понял, что женщины не будет. Она не вышла на косу ни на третий, ни на четвертый день. И потом, во второй половине сентября, гуляя по обыкновенню, он все надеялся встретить женщину, хотя понимал, что ее давно уже нет в пансионате. Вот спустится к морю и... увндит ее, идущую краем косы...

«Вероятно, что-то случилось, и она уехала раньше срока,— подумал он. — Всякое может случиться, кто-то заболел из близких... Я так ничего и не узнал о ней. И она обо мне ничего не узнала. Да и как узнаешь, когда мы молчали все время. Ей не хотелось разговаривать, да меня, признаться, не тянуло на разговоры. Затевать серьезные разговоры с первых мннут как-то неловко, а пустые и совсем не стоит. Я не поинтересовался, где она живет, чем занимается. Я даже не спросил, как ее зовут, и не представился сам. Лет ей на вид около сорока, а то и все сорок, но лицо у нее приятное. Хотя какое это все имеет для меня значение — лицо, имя, улыбка, походка. .

А может, она и есть та самая женщина, что предназначена мне судьбой, — размышлял он поздно вечером на чердаке, сидя на табурете, держа в одиой руке сигарету, в другой — кружку с чаем. — Может, и она ищет, не находит. И вот, встретнла меня. В жизни моей были женщины. И ни в одной из них я не видел жены. Женщин в них находил, да, но не жен. И в той, на ком женился, не нашел. После вокзальных лавок, бараков, мансард, армейских казарм, общежитий мне нужен был дом, и жена, и покой, и порядок, и уют в доме. Вот что мне надо было. И тогда все было бы по-другому, все было бы иначе».

Иногда он пододвигался с табуретом к зеркалу, подолгу рассматривал свое лицо, и оно не нравилось ему. Еще год назад лицо его было не таким. Он похудел до резкости, до глубоких морщин. Он худел с каждым днем, и это был дурной признак, это означало, что болезнь развивается. И поседел он заметно, особенно борода. Борода седела неровно, и это выглядело странно.

Он понимал, что скоро умрет, и был готов и не был готов к этому. Иногда ему было страшно при мысли о смерти, иногда нет, но чаще — страшно. Он был готоа умереть внезапно, мгновенно, как это бывает при разрыве сердца, либо заснуть вечером и не проснуться утром — в жизни случается и такое, но лежать беспомощно в постели и ожидать, зная о неминуемом конце, — подобиого он не хотел. Он бы мог бросить курить и тем самым продлить на какое-то время жнзнь свою, но он курил давно, и это было, пожалуй, единственное, что осталось у него.

«Два человека оказывали иа меня влияние, — думал он, — отец и Лермонтов. И оба они не боялись смерти. Я разговаривал с отцом, и он говорил мне правду. Отец не боялся смерти, когда на Ленинградском фронте ходил в бои, держа в руках наперевес тяжелую, с привинченным к стволу штыком, а от этого еще более длинную и неуклюжую винтовку образца 1896 года, он просто не думал об этом. Он не думал о смерти, когда второй раз, уже на Урале, ему укорачивали иогу, потому что произошло заражение крови после первой операции, проведенной в полевом госпнтале. На Урале отец долго не мог прийти в себя от наркоза, и его, посчитав, что он умер, вынесли в мертвецкую, где отец очнулся от холода среди ночи и стал кричать. И тогда он не думал о смерти, лежа на нарах рядом с мертвецами. Потом ему делали еще одну операцию, уже в Новосибирске, все укорачивая культю. После этого отец прожил долго и умер спокойно, без мук, угас, потому что был стар. Примерно за полгода до кончины они виделись, снова говорили о смерти, и отец опять сказал те же самые слова...

И Лермонтов совершенно не боялся смерти, когда на Кавказе ходил в бои, ведя за собой пластунов. Ворот красной рубахи расстегнут, рукава завернуты, в одной руке трубка, в другой — сабля. Прячась за завалы из срублениых деревьеа, горцы стреляли в него в упор и все не могли попасть. Не стреляли — расстреливали. О чем угодно мог думать ои в минуты те, но только не о смерти, потому что сама жизнь не имела для него никакого значения. Возможно, думал он о чести своей или же просто прнвычно шел в бой, покурнвая трубку. Лермонтов был военным, офицером и должен был исполнять приказы, а приказ был однн — воевать...

И на дуэли Лермонтов не испугался, и на дуэли его расстреливали, всего десять шагов разделяло противников, а ствол пистолета был толщиной с ружейный ствол шестнадцатого калибра»...

«Не знаю, как бы я вел себя на дуэли, доведись мне стреляться, — размышлял он, — а вот в бою... Гораздо лучше умереть в бою, чем в постели. Но я умру не в бою. Надеюсь, достанет у меня мужества достойно встретить конец. Если это случится зимой, трудно придется тем, кто будет хоронить меня. Сын поплачет какое-то время, горюя, плохо понимая, что произошло, позже успокоится, и все. Тяжело оставлять его в таком возрасте. Но годам к двадцати сын забудет напрочь отца, ему ведь сейчас всего пять лет. За ту книгу, что готовится в издательстве к выпуску, семья получит какие-то деньги, после этого жене самой надо будет думать обо всем. И книжки своей последней он не увидит...

Все, что должно случиться, — случится. Зимой, раньше, позже ли. Одного хочу, чтобы меня похоронили на Шегарке. Но это ох как сложно: дорог на родину нет, нет и родной деревнн, кладбище заросло, заглохло. Кому-то надо везти, кому-то сопровождать, рыть могилу. И все же в завещании попрошу об этом, а уж там... как Бог даст.

...Останутся дети, да, они будут продолжать наш род, вести нашу родовую фамилию, это будет делать сын, хотя и дочери накажу, чтобы, выходя замуж, сохранила свою фамилию. Но кроме того, что я был отцом, я был еще и ремесленником. У меня было ремесло, которым занимался я последние двадцать лет. Занимался самым серьезным образом, насколько хватало моих душевных и физических сил, насколько хватало жизненного опыта и обретенных зианий. Я любил свое ремесло так же искренне, как любил детей, родителей, родную деревню, Шегарку, природу... Мне было двадцать пять, когда я написал и опубликовал свою первую работу. Сейчас мне сорок пять. Двадцать лет... Я не иаписал ннчего выдающегося, выдающееся появляется редко, но и не написал ни единой фальшивой фразы, а это многое значит. Все сделанное, вероятно, канет в бездну, а может, что-то и задержится во времени. Трудно сказать, что будет. Никогда ничего нельзя предугадать заранее. Но как бы там ни было, я должеи написать что-то новое, что-то свежее, крепкое, абсолютно не похожее на прежнее. Если получится, то и будет памятью обо мне. Прежнее уйдет, а последнее останется. Для этого мне необходимо одно — самая простая, точная по смыслу, протяжная по звуку фраза, и тогда все сразу сдвинется, она потянет за собой пряжу слов, и я напишу то, что хочу написать. Покажу солнечный холодный февральский день, поземку, стекающую с берега к прорубям, избы, полузанесенные городьбы огородов, скворечню, гудевшую на ветру, запахнутого в материну фуфайку двенадцатилетнего парнишку в ограде, вышедшего после болезни на улицу.

Если я справлюсь, сделаю все так, как задумал, то подросший сын прочтет, увидит, угадает в мальчишке меня и поймет, быть может, хотя бы частью жизнь мою. Но прошло уже две недели, а я все никак не могу услышать необходимую фразу. Да и услышу ли...»

Иногда перед сном он читал, отодвинув так и не раскрытую тетрадь, положив на ее место книгу. Он перечитывал Александра Грина, сборник рассказов, взятый из библиотекя дочери. Закрыв сборник, он начинал думать о судьбе Грина, о своей судьбе, находя в них много общего. Лежа в темноте на матраце, накрывшись курткой и одеялом, он вспоминал другого Александра, сибирского поэта Кухно, вспоминал, как ходил сам голодный шестнадцатилетний по Новосибирску в поисках работы и купил прямо на улице с лотка тоненькую кннжечку стихов, хотя на рубли эти оставшиеся собирался вечером купить хлеба и поесть.

«Незабудок брызги синие» — прочел он на обложке, н что-то знакомое очень почудилось ему в этих словах. Книжку он опустил в клеенчатый школьный портфель, оставшийся после семилетки, его он клал всегда под голову, устраи-

ваясь на ночлег. Вечером на железнодорожном вокзале, где заночевал он, прежде чем переплыть катером на левый берег Оби и пристать к бригадам, вместо хлеба читал стихи, а когда есть хотелось особенно сильно, подходил к крану, отворачивал, пил мелкими глотками холодную воду, в животе у него бурлило, покруживало голову.

Лет двадцать спустя один новосибирский литератор познакомил их с Кухно, и каким милым, обаятельным, добрым, каким умным и грамотным оказался человек, чью первую книжку прочел он когда-то ночью на вокзале, сидя на скамье среди шума, сутолоки, сумок, чемоданов и узлов. Кухно в то время жил рядом с вокзалом на теинстой улице Бурлинской, составленной из частных деревянных домов, но он ничего не знал об этом.

И каким внутренне одиноким оказался он, автор той книжки стихов. Зайдешь, а он один в квартире, сидит в своей комнате, подпершись рукой, глядя в окно, курит папиросы «Волна», а уж и так дышать нечем от дыма. Обрадуется, кинется сразу же кормить, нальет что-нибудь, сидет за рояль, меланхолично наигрывая какую-то грустную, как и его улыбка, мелодию. Оставит ночевать, и заговорятся они, заговорятся...

Один раз Кухно провожал его в аэропорт. Купил в ресторане бутылку шампанского, фужеры выпросил у буфетчицы, первыми поднялись они по трапу в самолет, сели в крайние кресла — народу было мало. Пассажиры входили в салон, разыскивая свои места, а они сидели рядом, пили шампанское и молчали. Потом вышли из самолета на верхнюю площадку трапа и обнялись, постояли обнявшись.

— Саша, фужеры не забудь вернуть в ресторан, — сказал он тогда.

— Не забуду, — Кухно улыбался, держа в опущенной руке фужеры. — Будь здоров, милый.

— И ты будь здоров.

Больше они не виделись. Кухно умер, едва перевалив за сорок лет. Никогда и ни к кому из литературной среды не относился он так, как к Кухно, хотя знакомство их было недолгим, а встречи редки.

«Вероятно, так оно и должно было случиться в конечном счете, — размышлял он, — слишком уж печальным было лицо его, слишком грустны глаза. Хотя опять же кто знает. Бывает, что и с трагическим выражением лица люди живут подолгу, умирая от старости. И все же... Я с иронией отношусь ко всем предсказаниям и пророчествам, гаданиям, но, видимо, что-то такое все-таки есть, существует какая-то тайная связь между постоянным состоянием души и постоянным выражением лица. Состояние души откладывается на лице печатью. Существует какая-то связь между судьбой человека и линиями на его руке.

Когда я плыл на пароходе по Волге, одна женщина гадала мне. Она долго держала мои руки в своих, изучая на ладонях линии, потом стала говорить, но говорила както натужно, подбирая слова, сказала о болезни и сразу же осеклась, замолчала.

— Извините, дальше не могу, — призналась она. — Не заставляйте меня...»

Это было несколько лет тому назад, тогда он только улыбнулся, не придав словам женщины никакого значения...

Было уже очень поздно, за полночь. Тьма осенняя скрывала все, ревел на море шторм, выбрасывая на песчаную косу пенные волны, порывы шквального ветра пронизывали лесную гриву между морем и рекой, раскачиваясь, глухо шумели в темноте сосны, скрипела за окном чердака старая сосна, сгибаясь, упруго подрагивала единственная ветвь ее, на которой спала одноногая птица.

Закрыв глаза, откинувшись спиной и затылком к переборке, он сидел на табурете за столом, держа в одной руке потухшую сигарету, а другой — кружку с остывшим чаем, надеясь в скрипе сосен, в шуме ветра уловить мелодию, услышать необходимую фразу и сразу же записать ее.

ТЭФФИ

Мои современники

Зинаида Гиппиус

В Петербурге мы с Зинаидой Гиппиус были мало знакомы. Встречались мельком на разных собраниях. Но вплотную и пренеприятно произошла наша встреча на страницах газеты «Речь».

Мне поручили написать отзыв о только что вышедшей книге стихов А. Белого. Кажется, она называлась «Пепел». Книга мне не понравилась. Это была какая-то неожиданная некрасовщина, гражданская скорбь и гражданское негодование, столь Белому несвойственные, что некоторые места ее казались прямо пародией. Помню «ужасную» картину общественного неравенства: на вокзале полицейский уплетает отбивную котлету, а в окне на этот Валтасаров пир смотрит голодный человек. Рассказываю, как удержала память, а перечитывать эту книгу желания никогда не было. Отзыв я о ней дала, соответствующий впечатлению.

Через несколько дней звонят ко мне по телефону из «Речи»: З. Гиппиус прислала статью по поводу моего отзыва, очень мною недовольна. П. Н. Милюков предлагает прислать мне сейчас же эту статью, чтобы я могла на нее ответить в том же номере. Это была со стороны Милюкова исключительная ко мне любезность.

Я поблагодарила, прочла статью Гиппиус и в том же номере ответила. Ответила так зло, как со мною редко бывало. Но столкновение это ни в ней, ни во мне обиды не оставило.

Близкое знакомство наше состоялось уже во время экзода* в Биаррице. Там мы встречались очень часто и много беседовали. Затем в Париже, после смерти Мережковского, завязалось у нас нечто вроде дружбы. Зинаида Николаевна писала мне: «Всегда ищу предлога прийти к вам». Иногда мы переписывались в стихах.

* исход, эмиграция.

Продолжение. Начало в № 10/1991.

* * *

Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой. Я этого времени уже не застала. Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в яркорозовый цвет промокательной бумаги. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза.

Одевалась она очень странно. В молодости оригинальничала, носила мужской костюм, вечернее платье с белыми крыльями, голову обвязывала лентой с брошкой на лбу. С годами это оригинальничанье перешло в какую-то ерунду. На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль.

Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых обверток быстро, как язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась.

* * *

Когда нас выселяли из «Мэзон Баск», Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной, с центральным отоплением. А мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моем умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду, и вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, и я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остро-садистским удовольствием рассказывала, как она каждое утро берет горячую ванну и как вся вилла их на солнце и она, Зинаида Николаевна, переходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты.

Жилось голодно. В лавках, кроме рютабага*, ничего не было. И с такой же садистской радостью рассказывала З. Н., что Злобин добыл кролика, «огромного, как свинья». Рассказывала несколько раз. Я слушала ее сочувственно. Я понимала, в чем дело. Ей хотелось, чтобы я позавидовала.

Когда-то было ей дано прозвище «Белая Дьяволица». Ей это очень нравилось. Ей хотелось быть непременно злой. Поставить кого-нибудь в неловкое положение, унизить, поссорить.

Спрашиваю:

— Зачем вы это делаете?

— Так. Я люблю посмотреть, что из этого получится.

В одном из своих стихотворений она говорит, что любит игру. Если в раю нет игры, то она не хочет рая. Вот эти некрасивые выходки, очевидно, и были ее «игрой».

Бывала у них в Биаррице пожилая, глуповатая дама, довольно безобидная. Говорила, когда полагается, «мерси», когда полагается — «пардон». Когда читали стихи, всегда многозначительно отзывалась: «Это красиво». И вот З. Гиппиус принялась за эту несчастную.

— Скажите, какая ваша метафизика?

Та испуганно моргала.

— Вот я знаю, какая метафизика у Дмитрия Сергеевича и какая у Тэффи. А теперь скажите, какая у вас.

— Это... это .. сразу трудно.

— Ну чего же здесь трудного? Скажите прямо.

Когда уходили, дама вышла вместе со мной.

— Скажите, у вас есть Ларусс? — спросила она.

— Есть.

— Можно вас проводить?

— Пожалуйста.

Зашла ко мне.

— Можно заглянуть на минутку в ваш Ларусс?

Я уже давно поняла, в чем дело.

— Вам букву «М»?

— Н-да. Можно и «М».

Бедняжка смотрела «метафизику». Но все же следующее воскресенье предпочла пропустить. А я за это время угомонила З. Н.

— Мучить Е. П. — все равно что рвать у мухи лапки.

З. Н. говорила с презреньем:

— Ну вы! Добренькая!

Человеку всегда обидно, когда его считают сладеньким, и я защищалась.

— Я бы поняла, если бы вы пошли на медведя с рогатиной. Но когда вы рвете лапки у мухи — меня тошнит. Это не эстетично.

Любопытно было отношение Мережковских ко всякой нежити. Привидения, оборотни, вся эта компания принималась ими безоговорочно. Вспоминается по этому поводу одна наша беседа, короткая, но требующая длинного предисловия.

Был тихий, туманный день. На пляже народу не было. Бродили только немецкие солдаты. Я хотела было выкупаться, но какая-то густая, черная, жирная грязь сразу облепила ноги, и никак нельзя было ее отмыть. И вдоль всего берега лежала она волнистой каймой, прибиваемая приливом. Солдаты тоже заметили ее и что-то между собой говорили.

— Что это такое? — спросила я.

— Ein Schiff ist kaput! — ответили они, переглянулись и замолчали.

И я знала, что они подумали то же, что и я. Да это мазут с погибшего корабля. Взорванного. Если бы просто утонул, не вытек бы мазут.

Чей? Свой? Чужой? Из какого далека принес океан эту черную весть, черную кровь корабля, разлив ее по всему берегу?

Вечером я пошла одна на пляж. Села на скамейку. Недалеко от меня сидели три немца. Разговаривали весело, судя по звуку голоса, — слова до меня не долетали. Было почти темно. Звезд видно не было. Туманная мгла покрывала и небо и море. Только там, где выступали из воды острые ребра подводных скал, металась, полоскалась белесым платком невысокая пена прибоя. И вот показалось мне, будто там, около дальней скалы, быстро взметнулись широко раскинутые руки. Точно выплеснуло кого-то из черной воды. Взметнулось и исчезло. И вот и у другого камня, левее, взметнулись такие же руки, широко раскинулись и исчезли. И снова на прежнем месте. И вот еще ближе к берегу. И все это так быстро, едва можно уловить движение, почти не улавливая формы.

И вдруг веселые солдаты замолчали. Сразу. Точно оборвали. И совсем затихли, не шевелятся. И чувствовалось, что они тоже смотрят и то же видят. И такая неизъяснимая жуткая тоска была в этой медленно спускающейся тусклой ночи и в этих испуганно замолкших людях, которым кажется, — конечно, кажется, — что из моря посылают им какой-то отчаянный призыв. И всему этому есть название, уже весь день мучившее меня, то, которое я слышала утром, — «Ein Schiff ist kaput».

Вот это что: «Ein Schiff ist kaput». Немцы встали и молча, быстро, все ускоряя шаги, ушли.

Мы тогда еще жили в «Мэзон Баск». Возвращаясь к себе, я проходила мимо комнаты Мережковских. Голос Дмитрия Сергеевича гудел на весь коридор.

— Зина, ты к ней стучалась три раза. Она просто не хочет тебя впустить. Куда же она могла уйти так поздно?

Я поняла, что речь идет обо мне, постучала и вошла.

Мережковский сидел с полицейским романом. Гиппиус расчесывала свои русалочьи волосы.

Я взволнованно рассказала о ночи, о море, о пене прибоя, как зовущие руки, о смолкших солдатах.

Мережковский на минуту оторвался от чтения.

— Чего же здесь удивительного? Это просто были мертвецы.

— Ну, конечно, — спокойно подтвердила Зинаида Николаевна. — Ведь они же утонули. Это и были утопленники.

* жевательный табак.

— Ее удивляет, что мертвецы протягивают руки!

Он с недоумением пожал плечами и уткнулся в полицейский роман.

* * *

На своей красивой вилле Мережковские прожили всю зиму. Наконец, владелец написал им, что денег с них не требует, но очень просит выехать, потому что у него появилась возможность выгодно виллу сдать. Пришлось переехать в пансион.

— Но ведь там очень дорого, — удивилась я.

Зинаида Николаевна махнула рукой.

— Хозяйка говорит, что сразу денег требовать не будет. Ну, а потом...

И она снова махнула рукой.

Их денежные дела были очень плохи. Из Парижа шли вести, что их квартиру хотят описывать за неплатеж. Вот уж, действительно, никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. Как сидели без гроша в Биаррице, так и вернулись без гроша в Париж. Снисходительность Мережковского к немцам можно было бы объяснить только одним: «хоть с чертом, да против большевиков». Прозрение в Гитлере Наполеона затуманило Мережковского еще до расправы с евреями. Юдофобом Мережковский никогда не был. Я помню, как-то сидел у него один старый приятель и очень снисходительно отзывался о гитлеровских зверствах. Мережковский возмутился:

— Вы дружите с Ф. Вы, значит, были бы довольны, если бы его, как еврея, арестовали и сослали в лагерь?

— Если это признают необходимым, то я протестовать не стану.

Мережковский молча встал и вышел из комнаты. Когда его пошли звать к чаю, он ответил:

— Пока этот мерзавец сидит в столовой, я туда не пойду.

После смерти Мережковского этот самый гитлерофил просил разрешения у З. Гиппиус прийти к ней выразить свое сочувствие. Она ответила:

— Это совершенно лишнее.

* * *

В Биаррице была хорошая русская церковь, но Мережковские в нее не ходили. Они ходили в католическую. Раз я уговорила их пойти на Пасхальную заутреню. Мережковскому очень понравилось, как батюшка служит.

— Он так пластично танцевал перед алтарем.

Я уж жалела, что повела его.

Он был очень доволен этой фразой и часто ее повторял. И я всегда думала: «Господи, хоть бы он перестал!».

Они любили католическую святую маленькую Терезу из Лизье. В парижской квартире у них стояла ее статуэтка, и они приносили ей цветы.

* * *

После смерти Дмитрия Сергеевича мы сошлись ближе с Зинаидой Николаевной. Мне всегда было с ней интересно. И лучше всего, когда мы оставались с ней вдвоем или втроем. Третьим был очаровательный И. Г. Лорис-Меликов, старый дипломат, человек блестящие, всесторонне образованный. Он великолепно знал мировую классическую литературу, старых и новых философов и учил З. Гиппиус мольеровскому стихосложению.

Я ценила нашу дружбу. У Зинаиды Николаевны народ собирался по воскресеньям, но тесный кружок тайно — по средам. К ней можно было прийти, без всяких светских предисловий сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный, интересный разговор.

Иногда приходил на «тайные» сборища и ее друг, поэт Мамченко. Он был очень нервный, и споры с З. Н. происходили у них пылкие и иногда очень занятные. Она совсем плохо слышала, и Мамченко горячился и надрывался, а она спокойно и упрямо настаивала на своем, не слушая, вернее — не слыша его.

— Зинаида Николаевна, вы притворяетесь!.. Вы отлично слышите! Боже мой! Это не Кирхегард, это философское воскрешение мертвых Федорова... Вы нарочно!

— Никогда ничего подобного Розанов не писал, — спокойно цедила Гиппиус.

— Господи! Да при чем тут Розанов? — надрывался Мамченко. — Вы все это нарочно!.. Вы отлично меня слышите.

— Никогда Розанов этого не писал.

— Господи! Это в вас злая воля! Вы просто не хотите слышать.

— Никогда Розанов...

Как знать, может быть, и правда, слышала и только устраивала свою «игру» Белой Дьяволицы.

Они очень дружили.

— Это мой друг номер первый, — говорила она. И он был предан до конца, до последних дней ее жизни.

* * *

Как-то зашел у нас разговор об одной общей знакомой, очень религиозной и чрезвычайно боящейся страшного суда.

— А вы? — спросила я З. Н. — Вы боитесь страшного суда?

— Я?!!

Она выразила и лицом, и жестами исключительное возмущение.

— Я? Вот еще! Скажите пожалуйста! Очень нужно!

Подобного презрения к загробной жизни я еще никогда не встречала. Загробная жизнь ею не отрицалась, но чтобы Господь Бог взял на себя смелость судить Зинаиду Гиппиус, она же Антон Крайний, — это даже допустить было нелепо.

* * *

Где подход к этой душе? В каждом свидании ищу, ищу...

Кто-то прислал мне открытку. На ней мордочка милого котенка, умилительно детская, наивная, доверчивая... Показала Зинаиде Николаевне. И вдруг лицо у нее просветлело, совсем как при чтении хороших стихов. Она цепко схватила открытку.

— Я возьму себе.

— Хорошо, — согласилась я. — Но не навсегда, а только на посмотрение. Мне такая мордочка самой нужна.

Она унесла и долго не хотела возвращать.

«Вот, — подумала я. — Здесь некий ключ. Поищем дальше».

Как-то в одном моем стихотворении ее остановили слова о приснившемся мне тигренке, когда я была еще маленькой девочкой. Он помогал мне плести косичку.

«И так заботился мило,
Пушистый, тепленький зверь...»

Вот это «пушистое и тепленькое» заставило ее улыбаться. И потом отметила я строки ее собственного стихотворения.

«Хочу недостижимого,
Чего, быть может, нет,
Дитя мое любимое,
Единственный мой свет.
Твое дыханье нежное
Я чувствую во сне,
И покрывало снежное
Легко и сладко мне».

Может быть, это ключ. «Дитя мое любимое, единственный мой свет»... Та нежность, которой для нее нет на свете и о которой и говорить стыдится она в своем пышном облике Белой Дьяволицы со мной, с «добренькой» своей собеседницей. И всегда с тех пор замечала — все простое, милое, нежное, тепленькое всегда волновало ее, и волнение это она застенчиво прятала.

Мы много говорили о литературе. И странно, почти всегда были согласны друг с другом. Как-то, рассуждая о современных писателях, — кто из них талантлив, — в результате нашли, что, собственно говоря, все талантливы. Но зайдя ко мне на следующий день, она радостно воскликнула:

— Нашла! Нашла!

— Кого? Что?

— Нашла бездарность. Неоспоримую.

И назвала имя. Действительно, спорить было нельзя.

— Вы странный поэт, — говорила я ей. — У вас нет ни одного любовного стихотворения.

— Нет, есть.

— Какое же?

— «Единый раз вскипает пена
И разбивается волна.
Не может сердце жить изменой,
Любовь одна...»

— Это рассуждение о любви, а не любовное стихотворение. Сказали ли вы когда-нибудь в своих стихах — «я люблю»?

Она промолчала и задумалась. Такого стихотворения у нее не было.

Мы часто и много говорили о поэтах. Одинаково признали лучшим поэтом эмиграции Георгия Иванова. Говорили о магии стихов, которую я называла радиоактивностью. Откуда она? В чем ее сила?

— Вот, — приводила я для примера известное стихотворение «Весна, выставляется первая рама..». Оно кончается словами:

«Где, шествуя, сыплет цветами весна». —

И именно эта фраза бесспорно радиоактивна. Почему? Может быть, потому, что все стихотворение — простое, говорит о простых вещах — о колесе, об оконной раме. И потом вдруг торжественное слово — «шествуя», и потом — «цветами», это ударение на широком «а» переключает все в мир восторга. Но ведь научиться этому нельзя и нарочно придумать невозможно. Это и есть «магия», дар.

Разбирая стихи, мы всегда были душевно вместе, и я думала: вот это то существо, та часть души З. Гиппиус, с которой я хочу общаться. Привыкнув ко мне, она перестала «играть» и фокусничать, была собеседницей умной, чуткой и всегда интересной. Она даже бросила свой прежний, всегда раздражающий тон, которым она давала понять, что у них с Дмитрием Сергеевичем давно все вопросы решены, все предусмотрено и даже предсказано. Надо заметить, что предсказания эти большею частью делались и записывались задним числом. Ну да это простительно.

* * *

Как-то заговорили об эпохе Белой Дьяволицы.

— Мы с моей маленькой сестрой были потрясены вашим стихотворением:

«Но люблю я себя, как Бога.
Любовь мою душу спасет».

Ужасно это нам понравилось. Прямо пронзило. Потом-то уж вы нас ничем не удивляли.

— Это тогда вы носили мужской костюм и повязку с брошкой на лбу?

— Ну да. Я тогда любила эти фокусы.

— Да, это бывает, — вздохнула я. — А я в свое время носила часы на ноге и вместо лорнета плоский аметист.

— Нерон носил изумруд.

— Аметист лучше. Это камень духовной чистоты. Он среди древних двенадцати камней первосвященника, а папа благословляет каноников перстнем с аметистом.

«Мудрых схимников лампада,
Бледных девственниц услада,
Радость тех, кто сердцем чист,
Камень Аметист».

Если смотреть через этот камень, то самая пошлая физиономия несколько преображается.

— А может быть, и нет, — вставила Белая Дьяволица.

* * *

В. Мамченко подарил Зинаиде Николаевне кошку. Кошка была безобразная, с длинным голым хвостом, дикая и злая. Культурным увещеваниям не поддавалась. Мы называли ее просто Кошшшка, с тремя «ш». Она всегда сидела на коленях у З. Н. и при виде гостей быстро шмыгала вон из комнаты. З. Н. привыкла к ней и, умирая, уже не открывая глаз, в полусознании все искала рукой, тут ли ее Кошшшка.

Какие-то немцы, большей частью выходцы из России, писали ей почтительные письма. Как-то она прочла мне: «Представляю себе, как вы склоняете над фолиантами свой седой череп». Этот «седой череп» долго нас веселил.

Последние месяцы своей жизни З. Н. много работала, и все по ночам. Она писала о Мережковском. Своим чудесным бисерным почерком исписывала она целые тетради, готовила большую книгу. К этой работе она относилась как к долгу перед памятью «Великого Человека», бывшего спутником ее жизни. Человека этого она ценила необычайно высоко, что было даже странно в писательнице такого острого, холодного ума и такого иронического отношения к людям. Должно быть, она действительно очень любила его. Конечно, эта ночная работа утомляла ее. Когда она чувствовала себя плохо, она никого к себе не допускала, никого не хотела. Я очень жалела ее, но часто приходить не могла. Она почти совсем оглохла, и надо было очень кричать, что для меня было трудно.

Одно время она почувствовала себя лучше и даже сделала попытку снова собирать у себя кружок поэтов. Но это оказалось слишком утомительным, да и глухота мешала общению с гостями.

Как-то после долгого отсутствия зашла я к ней и узнала, что она решилась пойти к парикмахеру сделать «индефризабль»*, что очень плохо отразилось на ее здоровье. У нее отнялась правая рука.

— Это оттого, что Дмитрий Сергеевич, гуляя, всегда опирался на мою руку, — говорила она.

И мне казалось, что эта мысль ей приятна потому, что она давала желанный смысл и как бы освящала ее страдания.

Последние дни она лежала молча, лицом к стене, и никого не хотела видеть. Дикая кошка лежала рядом с ней.

В. А. Злобин говорил, что настроение у нее было очень тяжелое.

Вспоминалось ее чудесное стихотворение, написанное давно-давно. Она говорила о своей душе:

«...И если боль ее земная мучит,
Она должна молчать.
Ее заря вечерняя научит,
Как надо умирать».

О, если бы так! Не научили нас вечерние зори никогда и ничему...

* * *

В последний раз увидела я ее лежащей среди цветов. Ей покорно сложили тихие руки, причесали обычной ее прической, чуть-чуть подкрасили щеки. Все как прежде. Но лоб ее, где когда-то красовалась декадентская повязка с брошкой, смиренно и мудро обвивал белый венчик с последней земной молитвой.

— Недолгий друг мой, — шептала я, — не были вы тепленькой. Вы хотели быть злой. Это ярче, не правда ли? А ту милую нежность, которую тайно любила ваша душа, вы стыдливо от чужих глаз прятали. Я помню ваше стихотворение об электрических проводах. В них ДА и НЕТ.

«Соединяясь, они сольются...
И смерть их будет Свет».

Что мы знаем, недолгий друг мой? Может быть, за вашими холодными закрытыми глазами уже сияет этот тихий свет примирения с вечным...

Я нагнулась и поцеловала сухую мертвую ручку.

Мой друг Борис Пантелеймонов

Недолгая была его литературная жизнь. Всего четыре года.

Четыре года тому назад сказал мне по телефону незнакомый голос:

— Разрешите зайти к вам поговорить по литературному делу. Моя фамилия Пантелеймонов.

* завивка.

Я что-то уже слышала о нем. Сговорились.

Пришел высокий элегантный господин, лет сорока пяти, с тщательно причесанными серебряными волосами. Красивое тонкое лицо, губы сжаты, синие глаза внимательны и серьезны.

У нас, писателей, глаз острый. Я сразу поняла — англичанин.

— Я Пантелеймонов, — сказал англичанин.

Оказался коренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый химик, профессор, автор многих химических открытий и работ.

Задумал издать литературный «Русский Сборник». Редактируют И. А. Бунин и Г. Адамович. Попросил у меня рассказ. Решился и сам «попробовать перо».

Пригласил к себе в гости.

— Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.

— Это уже не первая жена?

Он скромно опустил глаза:

— Нет. Всего третья.

* * *

На первом рассказе Пантелеймонова очень отлиняла его долгая дружба с Ремизовым. Ничего того, что потом так пленяло в творчестве Пантелеймонова, еще выявлено не было. И вообще, это был скорее фантастический фельетон, а не художественная беллетристика.

Рукопись сдали в набор.

И вдруг автор зовет меня к телефону. Говорит смущенно:

— А я вчера написал другой рассказ. Можно вам его прислать?

Новый рассказ оказался очаровательным, настоящим пантелеймоновским, своеобразным, ярким. Это был тот самый «Дядя Володя», который так покорил сердца читателей и сразу создал славу новому автору.

Я сейчас же переслала рассказ Бунину, прося его выкинуть первый и заменить его «Дядей Володей». Бунин одобрил мое мнение.

Автор пришел благодарить, и с этого началась наша дружба.

В те времена, которые сейчас кажутся очень далекими, — а ведь всего четыре года тому назад, — я была еще почти здорова и у меня собирались по четвергам милые и интересные люди. Появление Пантелеймонова произвело сенсацию.

— Кто этот высокий господин с внешностью английского лорда?

Его как-то сразу все полюбили. Нравилась его внешность, нравилось его внимательное, ласковое отношение к людям. Это ласковое отношение часто переходило в восторженную влюбленность.

— Что за душа у этого человека! — охал он о каком-нибудь типе, в котором вообще трудно было предположить душу.

Выяснилось, что эта необычайная душа просто приходила выпросить денег взаймы. А когда человек просит денег, он часто говорит в высоких тонах. Что-нибудь о человечестве, о служении святому искусству и о пении соловья.

Все равно. Пантелеймонов радостно любил и такого, и всякого, и вообще — человека.

* * *

Литература как-то ошеломила Пантелеймонова. Он ушел в нее с головой, забросил свою большую химическую лабораторию. За четыре года выпустил три книги и приготовил четвертую. И уже за день до смерти нацарапал еле понятными буквами начало нового рассказа.

Литературный вкус у него был изумительный. Когда мы вместе жили в Русском Доме в Жуан-ле-Пен (там же был и Бунин), Пантелеймонов привез с собой несколько новых книг советских авторов, среди них талантливого Паустовского и «Василия Теркина» Твардовского. На полях этих книг Пантелеймонов делал пометки и подчеркивал понравившиеся ему места. Я указала Бунину на эти пометки. Как удивительно тонко отмечает он каждую талантливую строчку!

— Да, да, — сказал Бунин. — Я уже обратил внимание. Он действительно замечательно тонко понимает.

Бунин любил Пантелеймонова. Добродушно над ним подшучивал.

Пантелеймонов каждую новую свою вещь всегда переписывал в двух экземплярах. Один посылал Бунину, другой — мне.

Бунин писал иногда на полях рукописей: «Что за косноязычие!»

Пантелеймонов и смеялся, и огорчался:

— Вон как ругается!

Я успокаивала взволнованного автора:

— Бунин классик. Нарушение законных форм для него кощунство.

Пантелеймонов отстаивал свои новые формы. Слушался только того, что дается долгим опытом: избегать длиннот, некрасивых аллитераций, лишних слов, вообще — технической стороны литературной работы. Но свое *главное* отстаивал и хранил свято. Да именно это его главное я и ценила больше всего.

* * *

Видались мы с ним часто. Иногда собирались и у него.

— Какая у него может быть жена?

У нас, писателей, догадка острая:

— Наверное, жена высокая, авторитетная.

Оказалось, маленькая, кудрявая, пушистая, похожа на школьницу. При этом очень талантливая скульпторша.

— Он упрямый, — жаловалась она на мужа. — Я его даже раз била кулаком по плечу. А он и не заметил.

И показала свой сжатый кулак, крошечный, десятилетний.

* * *

Он упивался литературой, но в подсознательном своем еще продолжал быть химиком. Иногда ночью вскакивал полусонный, кричал жене:

— Скорее карандаш! Записать новую формулу.

Но химия отходила от него все дальше и дальше.

Являлись деловые люди, говорили о серьезных контрактах на его новые открытия. Он любезно улыбался, но думал при этом не о барышах, а о третьем эпизоде «Дяди Володи».

При своей английской внешности это была самая безудержная русская натура. Если пить, так уж до бесчувствия, полюбить — так уж жениться, потому что и любил всегда с разбегом на вечность. Наука, химия, открытия — и это все было пламенно, в каком-то поэтическом восторге.

Другом он был тоже пламенным. Защищал своих друзей, берег их. Бунина обожал и умилялся над ним, открывая в нем черты, совсем для нашего знаменитого писателя не характерные.

— Иван Алексеевич если иногда и говорит грубо, то это только потому, что скрывает свою чуткую нежность.

Бунинскую речь, острую, меткую и смелую, он превращал любовью своей в тихую лесную фиалку. И умилялся до слез.

Во время моей продолжительной и тяжелой болезни приходил часто, сидел в ногах и вздыхал.

— И охота вам жалеть издыхающую Ягу? — удивлялась я.

Но он очень жалел.

* * *

А талант его все рос и креп. Его маленький рассказ «Родная дорога» меня, внимательно следившую за каждой его строчкой, даже удивил. А Бунин сказал автору:

— Не стоит писать такие вещи. Кто их оценит по-настоящему? Многие ли?

* * *

Мы любили собираться втроем. Бунин, он и я. Было хорошо. Бунин подшучивал над «молодым автором». Тот весь лучился от радости этого общения. Да, было хорошо. Они оба называли меня сестрицей...

* * *

Вышла его первая книга. «Зеленый шум». Книга — моя крестница. Печать приняла ее исключительно хорошо. Кое-кто из наших «молодых» писателей, печатавшихся не менее двадцати лет, очень обиделся на восторженные отзывы, на профессоров, отметивших язык Пантелеймонова, на мою хвалебную статью. Что это за «трехнедельный удалец»? Обидно.

Пантелеймонов чувствовал это немилое отношение, но по простоте душевной не понимал его, а когда ему объяснили — не мог поверить. И по-прежнему умилялся и давал деньги взаймы. Вышел даже занятный анекдот.

Пришел один вдохновенный человек и деловито сказал, что ему до зарезу нужны шесть тысяч. Ровно шесть. Пантелеймонов поспешно дал чек, а когда тот ушел, вдруг вспомнил, что денег в банке уже давно нет. Не было их и дома. Кинулся к кому-то, занял и внес в банк, чтобы покрыть выданный чек.

— Но ведь это такая изумительная детская душа! Не мог же я ему отказать или долго раздумывать?

Были и серьезные просьбы, на которые он широко отвечал, и расписки, конечно, «брать было неловко».

Говорил смеясь:

— Все равно хоронить будут на общественный счет.

* * *

В литературных своих работах он кидался на разные темы, иногда писал и статьи. Но я усиленно гнала его в лес, в тайгу, в урман.

— Там вы даете то, чего другие дать не могут.

Читал он тоже много, запоем. Старался насытиться быстро, с разбега всем тем, что мы впитывали в себя долгие годы, в течение тридцати, сорока, пятидесяти лет.

До сих пор почти не знал Библии. Читал ее вскользь поанглийски. Когда прочел мой русский экземпляр — был потрясен.

— Что ж, дорогой мой, — сказал Бунин, — Библия — это всем известный источник. Из него черпали писатели всего мира.

Перечитывал старых писателей — Тургенева, Гончарова, Григоровича, Слепцова. И у каждого отмечал поразившие или просто понравившиеся места.

Уходил все дальше, все глубже. За три года выпустил три книги. Вторую посвятил мне, но я просила посвящение снять, потому что после такой «взятки» не могла бы свободно о нем писать. Подготовил к печати и четвертую книгу. Прошел за эти четыре года огромный путь.

Меня часто удивляло, почему он так поздно, так случайно начал писать. Как мог не почувствовать в себе писателя столько лет?

* * *

В доме у него бывали молодые люди. Они рассказывали, как работали с Пантелеймоновым во французской Резистанс*. Спало на полу вповалку у него в кабинете по двенадцать человек.

— Чудесное было время, — говорил он. — Тайно ночью, почти впотьмах, приготовлял у себя в лаборатории взрывчатые вещества. Молодые сотрудники уносили их потом потихоньку в маки. Нет, не было страшно. Было интересно.

* * *

У него было много незнакомых друзей-читателей. Он вел огромную переписку. Ему писали профессора, и светские дамы, и смотритель вулканов с каких-то диких островов, и доктор Ди-Пи, и чиновник трансатлантического парохода, и все письма были ласковые и благодарные.

* * *

Его маленькая жена любила и понимала литературу. И у нее было художественное чутье. Как-то она написала мне из Швейцарии о женевском озере:

«Вода в нем такая светлая, что белые чайки кажутся темными».

Я показала ему.

— Смотрите, как хорошо!

— Только не надо ей говорить. А то зазнается, и мне житья не будет.

* * *

Когда-то в ранней молодости был с ним неприятный случай. Взрыв в лаборатории. Ему ранило осколком шею. Профессор Плетнев, зашивая рану, сказал:

— Следите за левой гландой. Она когда-нибудь может причинить вам большие неприятности.

И он оказался прав. Гланда дала злокачественную опухоль. Опухоль оперировали, но спасти больного уже не могли.

* * *

В последний год жизни он поднял к небу свои синие глаза:

— Сестрица, вы молитесь когда-нибудь? — спросил он меня.

* * *

Ему очень хотелось писать, и не было сил. Как-то держал в руках ветку черной смородины, мял душистые листочки.

— Вот эта ветка — это уже большой рассказ. Целая повесть во всю жизнь. И нету сил.

* * *

На Пасху мы были вместе в доме отдыха в Нуази-ле-Гран. Он почти все время лежал, а когда садился — низко опускал голову на сложенные руки.

В Нуази чудесная маленькая церковка. Я как-то была у всенощной. Вижу — многие обернулись к двери. Смотрю — он. Пришел. Стоял прямо. Он был выше всех. Стоял прямо, вытянувшись. Высоко поднял голову. Смотрел широко раскрытыми глазами куда-то высоко над алтарем. Словно говорил:

— Вот позвали меня, и я пришел. И дам ответ.

Потом подошел ко мне.

— Я хочу исповедоваться.

Причащались вместе.

— Пойдем к чаше, сестрица. Причастимся с одной ложечки.

* * *

И вот теперь он умер.

* * *

Последние дни были каким-то хаосом страдания. Он еле мог шептать. Часто был в полузабытьи.

Ночью очнулся. Сполз с низкого дивана на пол, на подушку, на которой у его постели сидела жена. Ласково поцеловал ей руку.

— Зажги лампадку, — попросил он.

— Лампадка горит все время.

— Нет, поставь ее сюда, к нам.

Она поставила.

— Икону тоже. Поставь к нам сюда.

Он тихо положил руку на голову своей маленькой жены. Подержал так.

— Я думаю, что я умираю.

И закрыл глаза.

Публикация
ЕЛЕНЫ ТРУБИЛОВОЙ

* Движение Сопротивления.

ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН

Возвращение корнета

Подберезкин слушал их разговоры, как, бывало, в детстве, разговоры мужиков, работавших у них на усадьбе, чувствуя, что по-прежнему между ним и ими была разница: принадлежали они к двум мирам. Революция ничего не изменила в этом отношении, хотя Калинкин был ему теперь, может быть, даже ближе и понятнее, чем тульскому рабочему, но все-таки между ними двумя не было такой разницы, как между ним и ими. А светлости стало в мире мало, в этом он был прав. Раньше мир был несомненно светлее. Эту светлость он смутно ощущал у белых, в белом движении. Они несли ее, хотя, может быть, и затемнили. И потому, казалось, они должны были бы победить в конце концов. «И придет конь белый, победоносный, и дано ему победить», — вспомнил он слова «апостола». До сих пор побеждали, однако, не они. Те, с которыми пришел он теперь в Россию и которые пока, видимо, побеждали, — они, корнет чувствовал это, тоже не были «белыми», в них тоже не было «светлости».

— А как, господин, — спросил вдруг Калинкин, — немцы землю-то отымут аль мужику отдадут — работай, мол, страдай, добывая сам хлеб. И сам ты хозяин, как прежде, — вот бы хорошо!

Подберезкин пожал плечами, вспомнив слова Корнеманна о «миссии немцев на Востоке», и ответил уклончиво:

— Надо земли держаться, не выпускать из рук.

— А по мне все едино! — закричал вдруг тульский парень. — Нехай. Я слесарь, я работу везде найду. Мне все едино, чья возьмет. Лишь бы живым остаться.

— Нет, то не так: чья земля, парень, того и хлеб, — возразил Калинкин. — Но я так думаю: не сгинет мужик русский совсем со свету. Крепко в землю врос. А не сгинет мужик русский — не сгинет и Россия. Жалко, господин, России-то, — вдруг обратился он к Подберезкину, — а? до чего жалко — была и нету.

VII

Через неделю пленных отправили дальше в тыл. Повели солдаты СС, и, провожая глазами это понурое, рваное, серое стадо, Подберезкин подумал, что все они обреченные: в лагерях военнопленных держали впроголодь, били смертным боем: чем больше погибнет, тем лучше. Пришло в голову также, что и он ведь русский и мог бы оказаться на их месте. «Не сгинет русский мужик», — говорил Калинкин: как знать, трудно не сгинуть — от большевиков да от немцев. Из всей партии ему удалось отстоять Есипцеву, женщину-врача, и раненого лейтенанта. Первое время надо было ожидать, что тот умрет; началось заражение крови, лежал он в полубреду. Подберезкину показалось, что и сам Корнеманн почему-то заинтересован в оставлении Есипцевой, и это было ему неприятно, хотя чувства своего он никак не мог бы обосновать

— Нам нужно врача, — объявил Корнеманн, — если она окажется разумной, может оставаться работать при нашей части. Мы с женщинами не воюем.

Это было, разумеется, в высшей степени благородно, но почему-то вместе с тем и неприятно Подберезкину. Раненый все время лежал в той же избе, там же помещалась и Есипцева, ходившая за ним. Первое время ставили часового, но потом убрали на честное слово. Оба эти пленные привлекали Подберезкина: оба были молоды, выросли уже в послереволюционной России и принадлежали к новым людям. Как только он освобождался от работы при штабе, состоявшей обычно из переводов на русский язык глупых прокламаций и листовок для Красной Армии — «До чего бездарны немцы в политике!» — думал он с горечью при этом, — он тотчас же шел в избу к Есипцевой. Сначала та чуждалась его, держалась угрюмо, настороже, едва отвечала и никогда не заговаривала первая, но скоро привыкла и сразу совсем переменилась: вдруг начала звать его прямо — «Подберезкин», а себя велела называть Наташей, поражая корнета этой непосредственностью. Неожиданно лейтенанту стало лучше, он пошел явно на поправку и тоже стал принимать участие в переговорах. Корнет боялся, что между ними не будет ничего общего, и первое время, действительно, оба казались ему совсем чуждыми: были у них и странный язык, и странные манеры, на его взгляд, в особенности у Есипцевой; у Алеши — так звали молодого лейтенанта — все-таки чувствовалось воспитание, влияние семьи — и в речи, в особенности в ударениях на словах, и в манере держаться — во всем облике. Наташа же показалась ему сначала плохо воспитанной, даже вульгарной — она слишком громко смеялась, здороваясь, по-мужски протягивала руку, знакомясь, называла свою фамилию, говорила упрощенным языком, употребляя слова вроде «ладно, черт», невозможные раньше в устах хотя бы его сестры, и даже совершенно дикие для него, чисто советские выражения, как «на кой», «на большой палец», правда сама явно смеясь при этом и лукаво глядя на него. Постепенно он перестал это замечать, и с тех пор они, разом как-то, стали ближе друг к другу, и Наташа вдруг сказала:

— А вы совсем не такой старый, как я вначале думала, — и посмотрела на него исподлобья, лукаво сияя глазами. И тут он опять увидел, как совершенна она была: эта высокая грудь, проступавшая сквозь все одежды, упругое, как жгут, тело, все танцующее во время движения, эта полнота крови в лице, тяжелые полные волосы — все было полно силы, сока!

Постепенно привыкая к обоим, Подберезкин видел все-таки, что были они, на самом деле, совсем иные, чем он, люди. То, что для него было всего дороже в России, для чего он ходил не раз в бой, ради чего и теперь без содрогания и сомнения умер бы, — все это, по-видимому, им ничего не говорило. Блеск и мощь империи, царский дом, александровские усадьбы с колоннами, старые московские переулки с особнячками и церквушками, старинные вековые монастыри, прелесть русских святок и русской пасхи, церковные службы в Кремле, русские прежние песни — словом, вся та былая Русь не вызывала в них ни отклика, ни боли, что она ушла. Они были русскими, но, казалось, в такой же степени могли быть и американцами; европейцами, пожалуй, менее. Лейтенант был до войны студентом-геологом. По мере того как он поправлялся, он стал больше говорить, рассказывать о своих планах, и видно было, что не судьба России, не тревога за нее занимали его — чувство, по-видимому, совсем не знакомое ему, — а его экспедиция на Памир, в Сибирь, на дальний Север, то загадочное для Подберезкина «строительство», о котором писали в советских газетах. Наташа присаживалась к изголовью и тоже вступала в разговор: и она рассказывала и мечтала об организации каких-то «медпунктов» в Сибири, в Туркестане, и казалось, что для обоих все это и составляло жизнь. Они никогда не говорили о Боге, о философии, и скоро Подберезкин убедился, что вопросы эти совсем их не занимали, не существовали, по-видимому, для них. Всегда он носил с собой Евангелие, подаренное еще матерью перед гражданской войной, и как-то раз дал его Алексею и Наташе. Алексей взял книгу в руки, пробежал глазами по двум-трем местам, перелистал страницы, почитал еще и отложил в сторону; а Наташа, вернув Евангелие через несколько дней, сказала:

— Совсем я не понимаю этого автора.

И в то же время было в них что-то первобытно чистое, он бы сказал: христианское, чего совсем не наблюдалось в европейской молодежи, а что именно — он определить не мог. Может быть, была то их простота в обращении друг с другом — совсем чужие, они вели себя как брат и сестра, — и в обращении к нему, и к жителям деревни, с которыми Наташа моментально сошлась и заговорила своим языком, и доброта ее, и нестяжательность: свой паек отдавала чуть не полностью пленным.

«Были ли они все-таки русскими и любили ли они Россию?» — часто недоумевал он, глядя на них, и не мог ясно ответить. Несомненно, они любили эту российскую землю, эту огромную страну и гордились, что к ней принадлежали; и пленом, и успехами немцев были удручены, не сомневаясь, впрочем, в русской победе; но прошлое России без чего ведь нельзя по-настоящему любить родину, — прошлое великой Русской Империи, оно оставляло их совершенно равнодушными. С трепетом корнет пускал на граммофоне «Боже, Царя храни», «Преображенский марш», «Коль славен» — для обоих эти звуки явно ничего не говорили; лишь о Преображенском марше, который корнет слушал, весь замирая, закусывая до крови губы, так воплощал он ему былую Россию, Алексей отозвался одобрительно. Поразительнее всего при этом было то, что семья Алексея и родня его тяжко пострадали от революции; все было отобрано, разбито, разрушены вековые семейные гнезда, близкие родственники расстреляны, как он сам рассказывал; отец и мать и теперь находились где-то в ссылке в Сибири, — и тем не менее всем существом своим он тянулся к этой новой стране и считал себя обязанным биться за нее.

— Но они же осквернили Россию, если уже не убили ее, сделали посмешищем и пугалом для всего мира, грозным зверем, которого боятся и чуждаются. Они, наконец, беспрестанно мучали вашу семью, ваших близких, они уничтожили все ваше прошлое! Неужели вы все это им прощаете, князь? — раздраженно начал как-то корнет и остановился: Алексей буквально корчился от смеха.

Подберезкин сказал «князь» совершенно машинально, по привычке: в Европе, несмотря на все социализмы и рабочие партии, титулы охотно признавали и при каждом удобном случае употребляли, и потому поведение Алеши было ему сначала неприятным.

— Что с вами, чему вы так радуетесь? — спросил Подберезкин сердито.

— Как вы назвали меня: «князь»?! Ха-ха-ха! Вот чудак! Никогда не называйте меня князем, — заговорил Алеша серьезно. — Не хочу всего этого. Я хочу быть таким же, как все у нас. И я такой же!.. Достаточно и так муки приняли. И по заслугам!.. Тоже, князь — ни кола ни двора. Все одинаковы. Все — те же люди: рот, глаза, нос — что, кровь разве краснее или гуще?

Знал он или не знал, что род его известен уже тысячелетие, столько же, сколько и Россия, что предки его, вероятно, сидели за столом еще с Владимиром Святым, что ходили они и против половцев, и против татар, обороняя русскую землю, собирали по куску Русь после Батыева разгрома, сидели испокон веков в царской Думе в Москве и сами метили в цари, что водили полки и против шведов, и поляков, и тевтонов, и двунадесять язык и что действительно имели право называться князьями российскими, в отличие от какого-нибудь «михрюткина», который только разрушал в семнадцатом году эту, созданную князьями Россию. Неуважение к прошлому являлось первым признаком варварства... И было вообще непонятно, что «князья» должны были почему-то уступать, что серое, грубое, деклассированное побеждало в мире, и все соглашались и мирились с этим. И неужели же этому нельзя было положить конец?.. Ведь чисто теоретически даже, могли победить и другие?

Раненый постепенно поправлялся, благодаря уходу Наташи. Он сильно осунулся, побледнел, и когда, вставая, вытягивался во весь свой огромный рост, то казался бестелесным. Опавшее лицо его стало еще тоньше, благороднее, поражало породой. У фон Эльзенберга Подберезкин взял как-то альманах фон Гота и, просматривая русские семьи, внесенные туда, наткнулся на фамилию Алеши, и, к удивлению своему, увидел, что и Алеша сам был туда вписан. Впрочем, удивительного тут ничего не было: в Париже жили родственники Алеши, известные по всей эмиграции своим чванством и снобизмом; очевидно, это они внесли всю семью в Готский Альманах. Ca rose! — корнет рассмеялся. Но бедные родственники в Советской России — что бы они сказали! Едва он показал фон Эльзенбергу и Корнеманну на это место в Альманахе фон Гота, как оба явно изменились по отношению к лейтенанту: к великой досаде того, стали звать его «Turst», угощали папиросами и вином, фон Эльзенберг пригласил его гостить в свое имение.

На фронте было затишье, в штабе мало работы, и оба офицера часто приходили в избу к раненому, впрочем, как Подберезкин скоро заметил, не только из сочувствия к Алексею. Приходили они как раз в то время, когда Наташа была свободна, и оба подолгу болтали с ней, смеялись, угощали шоколадом и папиросами, и по выражению их лиц и глаз Подберезкин видел, что Наташа им обоим нравилась. К своему удивлению, он почувствовал, что это его раздосадовало. Но еще неприятнее было видеть, что и Наташа сама оживлялась при гостях: лицо ее становилось более полным жизни, громче звучал смех и голос, выше стояла грудь, — она явно кокетничала. «Уже забыла, как он кричал и стрелял первый раз!» — подумал корнет с досадой; впрочем, Корнеманн извинился позднее перед нею: война, приходится быть грубым. Но что ему, в сущности, что она кокетничала: молода, в порядке вещей, — и все-таки было неприятно. А когда Наташа, говоря с другими, вдруг останавливалась на нем взглядом — она смотрела при этом всегда как-то особенно, чуть-чуть наклонив голову, лукаво-испытующе, — он весь загорался радостью и тревогой. «Да не влюблен ли уж я?» — спрашивал он себя недоуменно, почти испуганно.

Через месяц раненый совсем выздоровел. Держать его при части становилось невозможным. Почти каждый день фон Эльзенберг и Корнеманн приходили к нему и при помощи Подберезкина, ибо Алексей плохо говорил по-немецки, старались убедить поступить добровольцем в немецкую армию, но тот не поддавался на уговоры.

— Тогда мы его отправим в лагерь, — объявил в конце концов Корнеманн, поджимая губы и меняя тон, — переведите ему.

Но переводить было не нужно, ибо Алексей и сам понял и поклонился в ответ одной головой, скривив губы.

— Вы сумасшедший. Вы погибнете там. Ведь вы же не коммунист. Что же вы сопротивляетесь? — убеждал фон Эльзенберг.

— Я не коммунист, но я русский и солдат советской армии. И я не изменник присяге, — упорно отвечал Алексей.

Подберезкину казалось, что тот был прав и не прав: сам он не знал, как поступил бы на его месте. Больше влияния имел на Алексея Паульхен, который стал приходить к нему последние дни. К Корнеманну и Эльзенбергу лейтенант питал явную неприязнь, а с Паульхеном, по-видимому, сошелся — часто слышно было, как оба громко гоготали. И Подберезкин сам испытывал к Паульхену склонность, хотя едва знал его: удерживала от сближения крайняя молодость Паульхена — был он моложе лет, вероятно, на пятнадцать. Но и Паульхену не удалось переубедить лейтенанта. В конце концов его взяли в тыл, в лагерь. Прощаясь, он обнял и поцеловал Есипцеву, так же обнял и поцеловал Подберезкина, как младший брат, и корнет, волнуясь, почувствовал, что вопреки всему, невзирая ни на что, оба они были близки друг другу: а связывала их Россия.

Продолжение. Начало в №№ 8—10/1991.

VIII

Оставшись одна, Наташа явно затосковала, говорила, что она предательница — поступила на службу к немцам, а Алексей вот отказался.

— Какая же вы предательница? — убеждал Подберезкин. — Вас же не спрашивали, а просто назначили сюда, как врача. Вы же военнопленная и не можете не подчиниться.

Она смотрела на него вопросительно, ничего не отвечая, а он неожиданно для себя вдруг взял ее руку и поцеловал.

— Я так рад, что вы здесь.

— Правда? — спросила она, чуть краснея.

Февраль был уже на исходе, и с середины месяца стояли сильные морозы, на фронте все замерзло. Даже разведки с советской стороны, тревожившие раньше немцев, прекратились. Земля стояла объятая седым туманом, как космами седых волос. Немецкие солдаты ходили, наглухо укутав головы, обмотав тряпьем ноги, часовые на постах обмораживали пальцы, обмерзали до смерти; в тыл уходили целые эшелоны с больными и обмороженными. За двадцать лет Европы Подберезкин совсем отвык от таких морозов и первое время мерз не меньше немцев; потом как-то незаметно обтерпелся и стал даже наслаждаться этой великолепной русской настоящей зимой. Как ни в чем не бывало играли весь день на улице дети в ушастых шапках, в ватных зипунках, похожие на медвежат; шмыгали бабы, обмотанные до пояса шерстяными платками, проходил одинокий мужик, в валенках, в полушубке, схваченном кушаком, с совершенно белой от инея бородой. Это была русская деревня, жизнь, что он помнил с детства и столько лет не видел более!.. На конце деревни ребята устроили ледяную горку, утоптали колею, полили водой, обсадили с боков вешками и все дни шумно катались на салазках; уносило далеко на луг. Сначала катались только подростки да забегали иногда девки постарше, схватывали салазки и с поддельно-испуганным визгом, подбирая юбки, катились с горы, сваливались внизу кучей на снег, подымая веером белую пыль, и надолго заходились хохотом. Наверх подымались сплошь обсыпанные снегом, с лоснящимися щеками, с выбившимися из-под платков волосами. Немцы на первых порах только смотрели, дивясь на катанье, потом солдаты помоложе стали подходить, брали у ребят санки или подсаживались к ним сзади.

Медицинский пункт, где работала Наташа, находился на конце деревни, близко от ледяной горки. Подберезкин иногда заходил туда к концу дня, провожал Наташу обратно до ее избы. Каждый раз, когда они проходили мимо горки, ребята кричали:

— Наталья Павловна, идите к нам с горки кататься!

Он смотрел на нее: Наталья Павловна?.. В меховой шапке с ушами, в коротком бараньем полушубке, узко перехваченном в талии ремнем, она сама выглядела совсем не взрослой, почти девчонкой. Счастливо, по-детски звенел голос, озорные глаза словно рассыпали веселье; губы, все лицо ее ежеминутно расходились в улыбке. И раз, проходя мимо горки, зараженная визгом и смехом ребят, она схватила Подберезкина за руку и сказала быстро:

— Пойдемте, скатимся раз! Хотите?

И, не дожидаясь ответа, бросилась к горке, увлекая его; он следовал, чуть улыбаясь.

— Сюда, сюда, Наталья Павловна! Со мной! — кричали ей со всех сторон.

— Нет, я сама. Кто даст мне санки?

— Я, я — вот, вот! — ребята кинулись к ней кучей.

Выбрав санки побольше, она села впереди и, указав на место за собой, сказала Подберезкину:

— Ну, садитесь же, скатите меня, или вы не умеете? Боитесь?

Улыбнувшись, он сел сзади и тотчас же припомнил, как, бывало, катался с гор, и легко, оттолкнувшись ногой, направил сани на ледяную колею. Они помчались вниз, разрезая тугой, острый воздух, под легкий свист полозьев, мимо вешек по бокам, и Подберезкин, чуть замирая сердцем, видел все время перед собой ее выбившиеся из-под шапки черные локоны, полоску шеи, покрасневшее ухо. Когда они уже скатились с горки и сани бежали по лугу, Наташа откинулась назад, посмотрела на него, улыбнулась весело, сверкая глазами и зубами совсем рядом с его лицом, сказала: «Чудно!», и, сам не зная, как это произошло, он вдруг приблизился еще более к ней, увидел совсем близко от себя рассыпающие свет глаза, сверкающие зубы — и поцеловал ее в холодные раскрытые губы. Она ответила и, откинув голову, взглянула на него, несколько задержавшись взглядом, и вновь засмеялась. Сани остановились. Быстро вскочив на ноги, Наташа побежала назад, ничего не сказав. Взяв санки за ремешок, он пошел следом к горке, смотря на легко двигающуюся фигуру впереди, и то, что она ничего не сказала ему и ни разу не обернулась, наполнило его тревогой и даже болью. Лишь на самом верху она оглянулась коротко назад. Уйдет одна или дождется? — старался он разгадать. Она дождалась наверху. Когда они шли домой, стало уже смеркаться. Лицо Наташи выступало неясно, она молчала, и он был этому отчасти рад. Уже у самого дома она вдруг сказала, повертываясь и улыбаясь вдаль куда-то:

— Ах, как я любила когда-то с гор кататься! Боже мой!.. А вы?

— Я тоже, — ответил он машинально. Было ему неприятно, что она сказала такие обыкновенные слова, совсем не в связи с происшедшим; для нее, казалось, ничего не произошло.

В избе Наташа быстро стянула рукавицы, развязала и сняла шапку, кинула на лавку и тряхнула головой так, что волосы рассыпались на плечи, и, когда он помог ей снять шубку, вдруг закружилась по комнате, сначала одна, потом схватила его за руки и повлекла за собой, громко смеясь.

— Расшевелитесь же, какой вы тихоня! — закричала она и не успела договорить: потянув за руки, он привлек ее к себе и стал целовать, отгибая ее голову, и она отвечала ему, иногда откидываясь назад и смотря на него затуманенными медузьими глазами и стуча жадно зубами.

А потом неожиданно назвала его вдруг по имени: «Андрей, Андрюша!» — и опять закружилась по комнате.

IX

Последующие дни были полны для Подберезкина напряжения, радостного непокоя. Пытаясь определить свое чувство к Наташе и ее к нему, он все больше и больше терялся и недоумевал. По тому, как она целовала, как жадно и опытно отвечала на его поцелуи, по множеству других признаков он понял, что она была не новичок в любви. Но это его не удивляло и не огорчало. Удивляло, что назавтра после того дня с катаньем Наташа держала себя как ни в чем не бывало, как будто между ними ничего не произошло, и, видимо, действительно не придавала этим страстным объятиям никакого значения. Это его задевало. В деревне лежало теперь много немецких раненых, и вместе с немецким врачом Наташа работала до поздней ночи. Подберезкин редко ее видел. Но, оставаясь с ним наедине, она иногда — он никогда не делал первого шага — подходила вдруг к нему, устало клала голову ему на грудь или на плечо, устало подчинялась его поцелуям, пока не пробуждалась сама, — и тогда страстно, всем телом, отвечала.

— Вы любите меня? — допытывался он. — Скажите?

Но она ничего не отвечала, только странно, словно застыв, смотрела на него. Лишь один раз сказала:

— Вы какой-то особенный. Совсем не похожи на тех, кого я знала. Как из старой книжки...

И корнет не знал, была ли то похвала или насмешка? Он чувствовал, что Наташа с легкостью стала бы принадлежать ему окончательно, как только он захотел бы этого, что это для нее, вероятно, не много значило бы, и потому, озлобляясь, не шел дальше.

По субботам и по воскресеньям Корнеманн устраивал у себя вечера; приходили фон Эльзенберг, иногда Паульхен, двое-трое молодых офицеров и несколько немецких девиц, служивших при отделе связи, — в серых юбках, в лодочках на головах, неимоверно развязных и вульгарных; последнее время Корнеманн стал приглашать и Наташу, а потому — как думал Подберезкин, в сущности, без всякого основания к тому, — также и его самого. Обычно на этих вечерах стояла зеленая тоска, много пили и говорили банальности, танцевали под граммофон и открыто целовали девиц; потому ему было неприятно, что Наташа туда ходила. К удивлению Подберезкина, она много пила, но совсем не пьянела и, видимо, ничего необычного в питье не видела; охотно танцевала с офицерами, и Корнеманн, и в особенности фон Эльзенберг явно за ней ухаживали, тесно привлекая ее к себе во время танцев, близко приближаясь лицом к ее лицу, заглядывая в глаза, и она их не отстраняла. Все это приводило его в недоумение и сердило. Если бы она сама не отвечала немецким офицерам, он знал бы, как вести себя по отношению к Корнеманну и Эльзенбергу, но Наташа явно ничего не имела против их ухаживания. Они же хотят уничтожить Россию, истребить русский народ — делал он ей в уме упреки, забывая, что сам добровольно служил «им», а Наташа была пленная. И в конце концов — не все ли было ему равно, как она себя вела: встреча их только эпизод, не сегодня-завтра разойдутся разными дорогами, чтобы никогда не встречаться; но всё существо его протестовало против этого, как будто они были уже навсегда связаны.

В конце февраля вдруг потеплело, и немцы открыли действия. Как всегда после первого боя пригнали много пленных, почти половину ранеными, с окровавленными, обожженными лицами, в лохмотьях вместо шинелей и мундиров. Тащили раненых сами пленные, сложив руки накрест; подвод давно не было. Войдя в деревню, колонна остановилась, раненых опустили на снег; часть лежала в забытьи, другие стонали: тотчас же сбежались дети и бабы, сомкнулись в полукруге, причитая и охая. Но вскорости появился Корнеманн и, разогнав баб, стал совещаться с начальником конвоя — белобрысым унтер-офицером с толстыми губами. Разговор они вели вполголоса, но Подберезкин, пришедший вместе, услышал, что Корнеманн приказал расстрелять тяжелораненых, а равно, в случае нужды, и отстающих по дороге. Приказ в отношении раненых должен был быть выполнен к вечеру. Корнет хотел вмешаться, протестовать, но Корнеманн сам обратился к нему и сказал, кивнув головой на пленных, смотревших на него испытующе-испуганными взглядами:

— Скажите им, что раненые останутся здесь, отсюда их возьмут в госпиталь.

— Но это же неправда, обер-лейтенант. Я слышал ваши слова. Вы их собираетесь расстрелять. Вы не имеете права.

— Herr Sonderführer, — сказал тихо Корнеманн, побелев, — переведите, что вам приказывают, и не вмешивайтесь не в свои дела. Иначе я предам вас военно-полевому суду... Куда я их дену? — закричал он вдруг. — У меня нет лазарета, нет места и медикаментов даже для своих. — И, повернувшись, пошел, бросив еще раз унтер-офицеру:

— Ich habe die Anweisung gegeben.

— Zu Befehl, Herr Oberleutnant! — закричал тот, выворачивая глаза, и тотчас же при помощи солдат отогнал здоровых от раненых и отвел, подталкивая прикладом, в сторону. Раненые остались лежать на снегу. Зная, что одному ему Корнеманна не переубедить, Подберезкин пошел к Паульхену, надеясь на его помощь. Когда он нашел того и, объяснив, в чем дело, привел к месту, около раненых уже была Наташа в сопровождении двух помогавших ей санитаров, тоже из пленных красноармейцев; на носилках переносили раненых в избу.

— Вы слышали о приказе Корнеманна? Он велел их расстрелять, — спросил Подберезкин подходя.

— Он отменил свой приказ. Раненые останутся здесь до перевязки, — объявила Наташа, и глаза ее радостно и как будто вызывающе засияли. Поклонившись, Подберезкин пошел дальше вместе с Паульхеном. «Может быть, она была всё-таки права, кокетничая с ними», — пришло ему в голову, но от этого не стало легче.

Вечером Подберезкин пошел к Наташе. Обе горницы были заняты ранеными, они лежали на лавках, на полу, на печи, Наташа сидела в изголовьи человека со сплошь забинтованной головой. Видны были только один налитый кровью глаз и вздувшиеся пузырчатые губы. Сквозь бинты проступала гнойная кровь. Подберезкин заметил этого раненого еще на снегу; тогда голова его была обмотана грязными гноиными тряпками, он корчился и стонал. Сейчас он лежал тихо, только из горла его исходило иногда клокотанье. В руке Наташа держала шприц, рядом лежали ножницы, обрывки бинтов, вата. И невольно Подберезкина охватило благоговейное чувство, какое он всегда испытывал к врачам во время их работы; эти люди чем-то отличались от всех других, были выше; он часто жалел, что не стал врачом.

— Что с ним? — спросил он тихо, указывая на раненого.

— Вся голова обожжена, — ответила Наташа так же тихо, — успел-таки выскочить из горящего танка, как рассказывают другие. Боюсь за зрение.

— Вы молодец и герой, Наташа.

Та посмотрела на него, положила руку ему на плечо:

— Почему же герой? Я только делаю свое дело и люблю его больше всего на свете.

Ранеными были заняты сегодня обе половины избы, даже тот угол, где помещалась аптечка и спала Наташа; там на полу лежал солдат с перевязанной ногой, без сапога. Наташа и Подберезкин сидели на кровати, тихо разговаривая.

Позднее на пункте неожиданно появился Корнеманн. Он курил сигару, и от него чуть пахло вином.

— Очень рад вас видеть, господин переводчик, — начал он сухо. — Завтра вы должны явиться в распоряжение господина фон Рамсдорфа. Утром в семь часов.

— Слушаю, — коротко отвечал Подберезкин.

— Вы в вашей собственной стихии, — обратился Корнеманн к Наташе, указывая на лежащих. — Но у вас переполнено. Где же вы будете спать? Я прикажу приготовить вам постель в избе, где мы стоим. Там есть свободное помещение. Я пойду и сделаю это, — он положил руку на талию Наташи.

— Не трудитесь, обер-лейтенант, — сухо ответила она, освобождаясь, — я останусь с ранеными.

— Долго я не могу их здесь держать! — резко сказал Корнеманн, направляясь к двери. — Один-два дня самое большее, — он приложил руку к козырьку и вышел, скривив губы.

— Отвратительный тип! — вырвалось у Подберезкина.

Наташа посмотрела на него с улыбкой:

— Ах, нет! Просто самовлюбленный ловелас. Если бы все были такие, я бралась бы справиться. Все вы дети, в общем, — неожиданно заключила она к досаде Подберезкина: этими словами она как-то сравнивала его с Корнеманном.

В передней избе застонали, и Наташа пошла туда. Корнет направился вслед за ней. Склоняясь над раненым, она дала ему пить, приподымая одной рукой бритую серую голову; зубы лежащего стучали, ударяясь о стакан, а глаза покорно и преданно, по-песьи смотрели на Наташу. И Подберезкин смотрел на нее — на эту женскую тонкую фигуру в белом, склонившуюся над раненым, на голову в косынке с красным крестом, с девически нежным профилем, на отдельные локоны, выбившиеся из-за уха, на уверенно и быстро двигающиеся пальцы — в ней всё чудесно соединялось: и мать, и сестра, и — увы! больше всего для него — желанная женщина. Было как-то недостойно предаваться этому чувству к ней здесь, сегодня, и он стал прощаться.

— Уже? — спросила она удивленно. — Посидите, куда же вы? — И в голосе, и в глазах ее он уловил настоящее сожаление; она хотела, чтобы он остался. Но ему хотелось быть одному, хотелось думать о ней. И, сказав что-то

в свое извинение, он вышел наружу. Позднее часто с неутолимой тоской вспоминал он об этой минуте, обо всем этом вечере — почему он не остался? Может быть, всё пошло бы иначе?

X

На следующее утро, когда корнет появился у фон Рамсдорфа — Паульхена, — было еще совсем темно, но тот был уже готов. К своему удиалеиию, Подберезкин увидел, что офицер забирал почти все вещи, — снимались они совсем с этого места? На дворе ждалн запряженные сани, вез суетившийся с фонарем вокруг хозяин избы, где стоял Рамсдорф. Подберезкин успел сбегать за своими вещами; проходя мимо избы Наташи, он посмотрел на темные окна — было невозможио зайти проститься; она еще, конечно, не встала. Вероятно, онн ехалн всё-таки ненадолго. Рамсдорф иичего ие знал: иапрааляли ик пока в штаб полка в соседнюю деревню.

Ехали онн в розвальнях, лежа на сене под половичками. Мужик примостился впереди. Сначала Подберезкин заснул, а когда просиулся, то первое, что ему бросилось в глаза, была эта озябшая фигура мужикв, приткнувшаяся бочком в передке саней. Одет он — как все русские возницы всех времен: в серый армяк, опоясанный кушаком, в залатанные валенки, на голове серая барашковая папаха старого солдатского образца — верно, служил когда-то в царской армин. Сам он был худ, бесцветная бороденка всклокочена, как сено; видно, что перепуган насмерть жнзнью: за всю дорогу не проронил ни слова, только озирался по сторонам, вздыхая, да иногда подстегивал возжой. Ехали они полем. Нигде не было видно жилья; кругом — одна белая мгла, поле слилось с небом. Метет, крутит поземка, забрасывая лицо острослепящей пылью, вдруг настигает сбоку ветер, широко обмахивая, как огромным крылом. Фон Рамсдорф закрыл полостью ноги, поднял высокий меховой воротник н лежит неподвижио на сене. Для него все это чужой и дикнй мир: н эти сани, и замерзший мужик в армяке впереди, и эта поземка, и белая стена кругом, молчание и безлюдье, и одинокне вешкн по бокам. А у Подберезкина при виде всего этого всё время что-то обмирало внутри: именно такая была Россия — скудная и великая! «Всю тебя наш Царь Небесный исходил, благословляя! » Исходил ли!.. Действительно ли уж был русский народ таким христианскнм, богоносцем? Не были лн все эти речи только самолюбованием, самооправданнем для ленн российской, для рабской покорности?.. Вспомннл он недавнее богослужение в саду, на морозе, под открытым небом, молодых девок, страстно певших стихири, крещенне детей, «апостола» и Калинкина, а с другой стороны — Алексея и Наташу, н не слыхавших об этом «авторе», чуждавшихся молитвы, действительно, как черт ладана. Одни жаждали, тянулись, другие же совсем не нуждались, по-видимому. Где же была правда? Где была истнниая Россия?.. И те и другие были хорошие, настоящие люди. Как знать?.. Но было иа самом деле что-то особое в русском человеке; он чувствовал это всегда, хотя определнть не мог: смирение лн, незлобие ли, тяга ли к правде какой-то неизменной, нечто, во всяком случае, совершенно отличавшее его от европейца. Но зато были и Разин, и Пугачев, и большевики, и Чека, и поношение н осквернение церквей, и обращение народа в рабство, а всей страны — в какое-то чуднще, грозное, но все-таки чудище, при упоминании о котором опаслнво пожимают плечами, н оскорбление всего старого и святого. «Замело тебя снегом, Россия!» — вспомнилось вдруг. Да, метет пурга, самум над Россией уже четверть века! Точно вчера это было, как двадцать лет тому назад он шел в атаку против красных по такому же белому полю, бежал под остро секущим сиегом, под крик воронья, с винтовкой наперевес навстречу врагу. И сегодня было словно продолжение того дня. Он оглянулся. Косо, вразброд, подталкиваемое ветром, взлетает с резким карканьем воронье, несется дикая стая, падая вниз н вновь взлетая, широко разбрасывая крылья; нестройный пронзительныи крик раздирает воздух. Поле кончилось, дорога завела в лес. Понуро стоят на опушке ели, как мрежи, ветви, отяжелевшие под снегом; а дальше лес выбит, сбиты снарядами вершины, расщеплены стволы, светлеют прогалины, изрыта земля. Между небом н землей всё заволокла молочная мгла; острый, мелкнй, как пепел, сыплется на землю снег...

Подберезкин опять задремал, ощущая лишь скрип передка саней да тихую поступь лошади, иногда холодное биение копыта об другое.

Деревня, куда они ехали, лежала внизу, в долине; Подберезкин очиулся, когда они уже спускались с горки. Рамсдорф всё спал. Поразила Подберезкина при въезде пустота и тишина деревни — ни населения, ин солдат. По всей улице валяются обугленные, черно-масленистые балки, доски, грязная желто-обгорелая пакля и рвань; вместо отдельных домов зияли ямы пепелищ под снегом. Бой происходил здесь, видно, уже давио. Возница, по всей вероятности, езжал сюда с подводой раньше, ибо проехал, не останавливаясь, прямо к дому с немецкой надписью на деревянной доске. Кориет разбудил Паульхеиа, и они вошлн в избу. Внутри вонюче пахло застоялым табачным дымом, словно жило здесь и курило долгое время много людей, на стене висел большои портрет Гитлера в фуражке, с ремнем через плечо — Подберезкнн даже усмехнулся от неожиданности; былн н иконы. Навстречу аышел из-за печки старик, седой, с огромным лысым лбом, высокий и тощий, в одной рубахе, подпоясанныи тесемкой, в синих портках, забранных в валенки; за иим выскочил мальчишка лет семи с бойкими глазами н совершенно льняными волосами.

— Здравствуй, дед, — начал Подберезкин.

— Бог послал, — отвечал тот, внимательно смотря на обоих.

— Где тут, дед, начальство стоит немецкое?

Дед помолчал некоторое время, смотрел испытующе.

— Стояли тут у нас, слов нет, частн воинские почитай две недели, а второй день, как уже нпкого не осталось.

— А где же они все?

— Ушли.

— Куда?

— Того не скажу. Не наше дело.

— А в Петушково, дедушка. В Петушково ушли. Я слыхал, как говорили, — закричал мальчишка.

— Цыц, тебе говорю! — рассердился дед. — Слыхал малец — говорили, должно, меж собой наши постояльцы. А куда ушли, не ведаю.

Обойдя ряд домов, Подберезкин убедился, что стоявшая здесь раньше часть, к которой оии прикомандировывались, действительно за день до того ушла вперед к фронту, уведя всех лошадей. Сообщив об этом Паульхену, он ждал, чуть волнуясь, решения: отправятся ли они обратно (в этом случае он увндел бы скоро Наташу!) или пойдут вперед?.. Паульхен нахмурился при известии, подумал мгновение и тотчас же решил ехать дальше.

— Очень сожалею, но я должен забрать лошадь, — он указал на мужика. — Сам он может идти обратно, еслн хочет. Я его не задерживаю...

Скрепя сердце, Подберезкин перевел, ожидая, что мужик стаиет умолять, просить, — было бы бесполезно; но тот только переступил с ноги на ногу, что-то переменилось в его глазах на мгновение, вызывая в Подберезкине пронзительную жалость, взял в руки шапку, поклонился и вышел из избы. В окно было видно, как он постоял у лошади, потрогал сбрую, узду, обошел кругом, взял из саней кнут и отправился куда-то по деревне, тихо, но не оглядываясь. «Вот кто больше всего страдал эти двадцать пять лет от войн и революции — русский мужик, — подумал Подберезкии, — впрочем, сам себя революцией наказавший».

Продолжение следует.

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

Князь мира сего

Обиженный таким невниманием, комиссар госбезопасиости угрюмо сообщил:

— Так вот, сегодня я подписал путевку на тот свет... еще нескольким этим... подругам.

— Какнм? — не удержался Борис.

— Ж-жены ж-жреца...

— У тебя опять бред, — сказал младший. — Иди-ка лучше спать.

Старшнй упрямо мотиул головой и понес такое, что Борису стало даже немного жутко. Максим сыпал проклятиями по адресу жеищии-следователей НКВД, которые в своей изощренной жестокости якобы превосходили любого следователя — мужчнну. В голосе брата звучала какая-то дикая, болезненная ненависть, в углах рта дергалась нервная жилка, а воспаленные от ночной работы и алкоголя глаза по-звериному щурились, словно он видит перед собой своего заклятого врага.

— Как взял я это чертово семя под микроскоп, — бормотал он. — И вижу, что все онн самые чнстокровные ведьмы...

— Это тебе с пьяных глаз померещилось, — заметил Борис.

— Нет, нет... Ты Зинку Орбели помиишь? Так вот — они все такие... Прикрывалнсь идеалами... А на самом деле они потому в НКВД налезли, что им крови хотелось... Но теперь я утоплю их в их собственной кровн...

Затем генерал-инквизитор Народного Комиссариата Внутренних Дел и особоуполномоченный по делам всей нечнстой силы во всем Союзе Советских Соцналистнческих Республнк принялся расхваливать заслуги средневековой инквизицин, которая в саое время охраняла людей от козней ведьм и колдунов.

Если верить Максиму, отцы-инквизиторы были большими умницами, философамн и гуманнстами н даже знали психодинамику и фрейдизм раньше самого Фрейда. Так, поймав ведьму, инквнзиторы осуждали не ее тело, а только лишь ее душу, подписавшую контракт с дьяволом. Будучи хрнстианами и не желая проливать крови, инквизиторы приговаривали эту грешную душу к так называемой бескровной смерти, то есть жгли на костре, топнли в воде или вешали в воздухе. Но, поскольку душу от телв не отделишь, то вместе с грешной душой поневоле ликаидировалн и послушную ей плоть.

Однако симпатии студента Индустриального института были явно на стороне ведьм. Женщины-следователи НКВД — это, конечно, дрянь. Просто садистки. Но причем здесь бедные невинные женщины, которых когда-то жгли как ведьм? Ведь это просто жертвы средневековых суеверий, о которых к тому же иаписано столько хороших романов.

Максим сидел за своим столом. пил водку и листал дела бывших работников НКВД, которые теперь оказались врагами народа. Около полуночи он вдруг сказал:

— Бобка, у меня что-то в глазах рябит... Сколько там время?

— Уже двенадцать.

— Ну, так я и знал... В бюро как полночь, так они и пояаляются... Теперь я работу иа дом беру — а онн уже и здесь завелись...

— Кто? — спросил Борис.

Комиссар госбезопасности кивнул на край своего стола:

— А вон, посмотри иа этого стервеца... сидит, хвостом крутит н язык показывает... Это он нарочно — работать мешает...

Борнс разогнулся от своего учебника по термодинамики и поглядел на пустое место:

— Хм, действительно! С рожкамн и глаза зеленые. И шерстка, как у кота. А мордочка у иего даже симпатичная.

— Ну, вот, теперь сам видишь, — с облегчением вздохнул Максим. — А ты еще не верил.

— А бородка у него точно, как у Троцкого, — сказал Борис. — Сразу видно, что троцкист.

Советник Сталина по делам нечистой силы сидел в распущенной гимнастерке без пояса, со змееи и мечом на рукаве, с генеральскимн звездами и остекленевшимн глазами н беседовал с чертом:

— Ну, что — подслушиваешь, подглядываешь? — он погрозил черту пальцем. — Погоди, я еще и до тебя доберусь...

Затем красныи кардинал поставил черта в известность, что недавно Сталин утвердил новый проект своего тайного советника: в дополненне к чистке взять на спецучет всю нечисть, какая еще запряталась в Советском Союзе. В порядке дальнейшего развития классовой борьбы теперь будут регистрировать — как классово-чуждый элемент — всех оборотней и леших, всех ведьм и колдунов, всех чертей и чертовок, всех кандидатов и даже сочувствующих!

Максим протянул руку, пытаясь поймать черта за хвост:

— Ага-а, боишься...

И генерал-инквизитор опять начал ругаться непечатными словами. Глазамн безумца он смотрел в пустое окно и перебирал все самые затейлнвейшие и отвратительнейшие ругательства с таким искренним чувством, с таким выраженнем в голосе, словно это не бессмысленные ругательства, а таинственные заклинания. И все это по адресу тех злосчастных ведьм и колдунов, с которымн он теперь якобы сводит какие-то личные счеты.

По окончании третьего года чистки комиссар госбезопасности Максим Руднев получил третью генеральскую звезду. А в газетах появился указ о награжденни Героя Социалистического Трудв Руднева золотой Звездой Героя Советского Союза — за блестящее выполнение специальных заданий партии и правительства.

За это время из компартии вычистили, расстрелялн илн сослали в Сибирь около половины состава. Из руководящих органов партии и правительства было ликвидировано больше трех четвертей. Говорили, что общее число жертв чистки составляет от 7 до 9 миллионов человек.

Как только закончилась Велнкая Чистка, с рукавов работников НКВД тихо исчезла таинственная эмблема чистки — змея и меч. Мало кто знал, что означала эта загадочная эмблема. А те, кто знал, — будут молчать.

Шли годы. Над Москвой, как облака в небе, проходилн большие и малые события. А доктор социальных наук, мракобес и обскурант Максим Руднев все воевал со своеи нечистой силой. Его засекреченный 13-й Отдел НКВД и столь же засекреченный Научно-исследовательскии институт НКВД разрасталнсь все больше и больше. Там решались специальные проблемы добра н зла, ума и безумия, жизни и смерти. Те проблемы, которые когда-то называли Богом и дьяволом.

Одного только не хватало Максиму — простой человеческой радости. Его мрачное занятие наложило на него свой отпечаток. Он как-то высох, вытянулся, держался подчеркнуто прямо, между бровей залегла суровая складка, на висках рано появилась первая седина. Это

Продолжение. Начало в №№ 5—11/1991.

был уже не прежний левша Максим, любивший беззаботно шевелить ушами, а беспощадный фанатик-инквизитор, одержимый своей навязчивой идеей ликвидировать дьявола, как классового врага.

Дело о семи печатях

И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.

Откровение святого Иоанна Богослова 5; 3

О судебной практике НКВД говорят так: был бы человек, а статья найдется. Подтверждением этому служила чернокнижная библиотека Максима, где он смешивал в кучу всякую псевдонаучную чушь, а потом пытался пристегнуть эту алхимию к современности.

Внешне он пытался придать своей коллекции видимость хронологической последовательности. Так, один из отделов начинался исследованием Мережковского об Атлантиде. Что мог знать писатель средней руки Мережковский о легендарной Атлантиде, о которой даже Платон упоминает только мельком и которая, по преданиям, погрузилась на дно Атлантического океана в результате всемирного потопа за много тысяч лет до нашего летоисчисления якобы в наказание за какие-то грехи? А Максим видел в этом какую-то параллель с гибелью царской России.

В комнате Максима сидели двое его ближайших сотрудников из 13-го Отдела НКВД. Один из них был полковник медицинской службы НКВД Иван Васильевич Быков, по совместительству профессор психопатологии, худощавый человек в роговых очках и с насмешливой искоркой в глазах, на петлицах которого поблескивала змейка, обвившаяся вокруг чаши с ядом — символ мудрости медицинского сословия. Второй был полковник технической службы НКВД Питирим Федорович Добронравов, по совместительству профессор истории религиозных культов, молодой цветущий мужчина, с румяными щеками и пышной окладистой бородой, огромного роста и с таким же громадным пистолетом у пояса. На петлицах у него поблескивали значки техслужбы НКВД — скрещенные топорики, напоминавшие не то пожарников, не то средневековую инквизицию.

— Послушайте, — сказал Борис, — какое отношение имеет Атлантида к работе НКВД?

— Очень даже какое, — ответил полковник Добронравов, поглаживая свою окладистую бороду. — В данном случае не столько Атлантида, как сам Мережковский. Типичный богоискатель. А под видом поисков Бога они славословят дьявола. Богоискаки, сожительствующие с ведьмами.

— Позвольте, но ведь Мережковский был женат на поэтессе Зинаиде Гиппиус.

— Вот-вот. Она даже когда писала, то путала где «он» и где «она».

— Ну и что такого?

— Когда человек начинает путать где «он» и где «она»,— полковник предостерегающе поднял палец, — там дело пахнет дьяволами инкубом и суккубом. А это уж, извините, по линии НКВД.

Рядом стоял французский фантастический роман Пьера Бенуа «Атлантида», где загадочная царица атлантов по утрам посылает своих любовников на казнь. Типичная макулатура для скучающих дамочек. Даже обложка желтая. А профессора 13-го Отдела НКВД делают из этой бульварной литературы какие-то политические выводы.

Взявшись за богиню Диану, которая в римской мифологии считалась покровительницей охоты, луны и девственности, 13-й Отдел НКВД пришил богине целое дело о дианических культах. Прежде всего к этому делу припутали амазонок, которые, оказывается, назывались так вовсе не потому, что они жили на берегах Амазонки, как думает большинство, а потому, что по-гречески амазонка означает «безгрудая», поскольку ради удобства стрельбы из лука амазонки выжигали себе правую грудь. Обитали же эти воинственные красавицы в скифских степях на берегу Черного моря.

— Под каждым мифом есть доля правды, — заметил полковник медслужбы Быков. — Выжигание груди — это, конечно, миф. Но если вы разденете сто женщин, то всегда найдете, что у нескольких правая и левая грудь разной величины. Иногда одна грудь нормальная, а второй совершенно нет. Вот вам и современные амазонки.

— А зачем это нужно НКВД?

— Иногда это внешняя примета той категории женщин, которых мой уважаемый коллега Питирим Федорович величает ведьмами, — усмехнулся доктор. — Но это категория очень расплывчатая, и здесь рекомендуется осторожность.

Вслед за амазонками шло несколько солидных трудов по антропологии с описанием культа матриархата, как в некоторых племенах женщины командовали мужчинами и что из этого получалось. Вывод такой: если в какой семье матриархат, то, по мнению 13-го Отдела, это дурная примета и таких чудаков нужно брать на заметку.

Соблюдая видимость науки, от целого Максим переходил к частностям. Так, комиссару госбезопасности СССР почему-то не нравилась библейская Саломея, веселая девица, которая, развлекая царя Ирода, изобрела танец семи покрывал, то есть американский стриптиз. Поскольку энкавэдэшников часто называют иродами, Максим не имел ничего против царя Ирода. Но поскольку по правилам 13-го Отдела дети отвечают за своих родителей и наоборот, то Максим заинтересовался матерью Саломеи, старушкой Иродиадой, которая учила свою дочь всяким гадостям.

Как доказательство своей власти над мужчинами, Саломее захотелось соблазнить святого Иоанна Крестителя, а когда это не удалось, под влиянием матери и с помощью всяких женских интрижек она выпросила у Ирода голову святого. Как настоящий ханжа, Максим сочувствовал Иоанну Крестителю и взял Саломею на заметку, как библейскую вредительницу.

Затем он завел дело на Мессалину, любвеобильную жену римского императора Клавдия, которому так надоело слушать доклады, что у его жены любовников больше, чем волос на голове, что в конце концов он попросту приказал отрубить ей голову. Конечно, и здесь Максим был на стороне императора и считал, что во всем виновата бедная Мессалина.

В средние века считалось, что раз в году — в Вальпургиеву ночь, то есть в ночь на 1-е мая, — вся нечистая сила со всех сторон Европы собирается на горе Броккенберг и устраивает там грандиозный шабаш ведьм. Так вот, начитавшись всякой ереси, профессора 13-го Отдела утверждали, будто советский праздник 1-го Мая, праздник международной солидарности трудящихся, когда люди поют и пляшут на площадях Москвы, с точки зрения высшей социологии есть не что иное, как пережиток Вальпургиевой ночи, когда ведьмы, празднуя свою солидарность, пели и плясали на горе Броккенберг, что в свою очередь является пережитком языческого праздника весны и плодородия, который во времена Древнего Рима сопровождался пьянкой в честь бога Вакха и потому назывался вакханалией.

Увлекшись своим варевом, инквизиторы 13-го Отдела бросали в один котел все — и святых и грешников. Оказывается, название Вальпургиевой ночи, праздника нечистой силы, происходило от имени святой Вальпургии, которая жила в 8-м веке, была монахиней и посвятила всю свою жизнь организации женских монастырей. Эта энергичная святая была дочерью святого Ричарда, одного из саксонских королей, который женился на дочери святого Бонифация.

— Хм, целое святое семейство, — заметил Борис. — Но почему же ведьмы избрали Вальпургию своей патронессой?

— Видите ли, молодой человек, святые и грешники — это две стороны одной и той же проблемы, — сказал профессор техслужбы НКВД. — Например, в Америке 1-е ноября — это День всех святых. Это официально. А канун этого дня, вечером — это Халлоуин, полуофициальный праздник всей нечистой силы. Некоторые люди отмечают праздник всерьез — и мы за этим следим. Но, заметьте, что праздник грешников переходит в праздник святых. Поэтому Достоевский и говорит, что не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься.

Было видно, что профессор НКВД знает свое дело довольно основательно.

— А в русских языческих культах, — добавил он, — Вальпургиевой ночи соответствовал весенний праздник Красной горки, первый понедельник после Фомина воскресенья.

— Питирим Федорович, а зачем вам все это?

— Ну, как же... Например, ведьмы любят жениться на Красную горку. Потому мы всегда проверяем дату брака наших клиентов.

Говорят, что к мирянину для соблазна приставлен один черт, к монаху — десять, а к святому целая сотня чертей. Соответственно этому инквизиция НКВД тщательно изучала биографии святых, в надежде поймать тех чертей, которые около них крутятся.

Так 13-й Отдел добрался до Жанны д'Арк. В 1429 году эта крестьянская девушка, которой мистические голоса подсказали, что на нее возложена миссия спасти Францию, надела кольчугу и латы, взяла в руки меч и, предводительствуя французской армией, боровшейся с англичанами, успешно завоевала город Орлеан, за что ее и назвали Орлеанской девой.

Но вскоре Жанна д'Арк попала в руки врагов, и, по словам летописи, как «колдунья, вещунья, лжепророчица, сотрудничавшая с нечистой силой, ведьма, еретичка, вероотступница, мятежная богохульница, наслаждавшаяся кровопролитием и непристойностями», эта святая дева была осуждена к мученической смерти.

Довольно долго о Жанне д'Арк существовали самые противоречивые мнения. В своей драме «Генрих VI» Шекспир показал ее как ведьму. Насмешник Вольтер высмеял ее, а идеалист Шиллер идеализировал ее в образе своей «Орлеанской девы». Даже церковь колебалась целых пять столетий, пока в 1920 году канонизировала ее как святую. А инквизиция НКВД, поскольку Жанна взяла в руки меч, классифицировала ее как амазонку.

А что касается чертей, которые, согласно поверью, всегда водятся около святых, то здесь советскую инквизицию заинтересовала личность некого Жиля де Рэ. Этот феодальный барон, один из могущественнейших людей Франции, имевший влияние даже при королевском дворе и богатству которого завидовал сам король, славился тем, что терпеть не мог женщин. Но когда он впервые встретил 18-летнюю Жанну д'Арк, она произвела на 25-летнего Жиля такое впечатление, что он вступился за нее перед несовершеннолетним дофином и, таким образом, помог Жанне стать главнокомандующей французской армией.

В последующей кампании Жиль неотступно сопровождал Жанну, и в бою за форт святого Августина, когда Жанна была ранена и все покинули ее, один Жиль остался рядом с ней и спас ей жизнь. Когда через несколько месяцев, благодаря нерешительности дофина, Жанну сожгли на костре, Жиль, который к тому времени стал маршалом Франции, в знак протеста ушел с королевской службы.

Через девять лет, 13 сентября 1440 года, сиятельный барон Жиль де Рэ, советник короля и маршал Франции, в возрасте 36 лет был арестован и предстал перед судом инквизиции по обвинению в ереси, богохульстве, занятиях алхимией, поклонении дьяволу, педерастии и убийствах. Оказывается, Жиль де Рэ, некогда горячий поклонник и самый близкий человек к святой Жанне д'Арк, в частной жизни поставил себе задачей познать метафизику зла.

С бандой своих сообщников из 18 человек он устраивал в окрестных полях и лесах облавы наподобие охоты на зайцев. Но охотились они не за зайцами, а за детьми, преимущественно за пастушками. В своем замке Тиффож, в склепе часовни святого Винсента, Жиль де Рэ соорудил специальный каменный алтарь, где в полуночный час он занимался черной магией, зверски мучил пойманных детей и затем убивал их самыми нечеловеческими методами — все это в жертву дьяволу.

Когда на суде инквизиции барон де Рэ со всеми деталями читал полное сознание в своих преступлениях: как он вспарывал детям животы, как он сидел верхом на умирающих и хохотал, глядя на их конвульсии, как он ставил отрезанные головы жертв рядом со своей постелью, чтобы утром еще раз полюбоваться ими, — тогда председатель трибунала, епископ Нантский, встал, подошел к распятию, которое висело за спинами судей, и задернул лицо Спасителя черным покрывалом

Со времен средневековья и до наших дней история знает мало таких чудовищ, как Жиль де Рэ, на совести которого было 134 жертвы. Король Наварры Карл, за подобные же дела сожженный заживо инквизицией в 1387 году, далеко отстал от Жиля. Следующий преступник подобного рода, Ваше, несколько столетий спустя замучил и убил только 18 пастушат. Знаменитый маркиз де Сад, который не убил никого, а только присмаливал свечками проституток, с которыми он за это более или менее честно расплачивался, был по сравнению с бароном де Рэ совсем невинным младенцем.

Имя Жиля де Рэ забыто, но дела его живут в легендах о Синей Бороде, прототипом которого послужил Жиль, согласно протоколам своего сознания мывший бороду и руки теплой кровью своих жертв.

Во вторник, 26 октября 1440 года, в 11 часов дня барон Жиль де Рэ, бывший советник короля, маршал Франции и поклонник святой Жанны д'Арк, как гласит летопись, «был повешен за шею, пока наступила смерть, и затем предан огню» вместе с двумя своими сообщниками на площади Ла Мадэлен в Нанте.

Профессор Добронравов и здесь воспользовался случаем, чтобы похвалить гуманность средневековой инквизиции. Оказывается, Жиля судил не один суд, а два — духовный и гражданский. Осудив его душу, церковь предала его плоть на суд государства. Вина Жиля была полностью доказана показаниями свидетелей, и даже в любом современном суде этого было бы вполне достаточно, чтобы осудить его. Но для трибунала инквизиции этого было недостаточно. Чтобы спасти душу грешника, обязательно требовалось его покаяние. В этом московские процессы с покаяниями времен Великой Чистки в точности следовали практике классической инквизиции.

Однако отцы-инквизиторы были гораздо либеральнее не только НКВД, но и любого другого суда. Когда барон де Рэ публично покаялся в своих злодеяниях, в переполненном зале суда опустился на колени перед распятием и со слезами на глазах просил прощения у Бога и родителей тех детей, кого он принес в жертву дьяволу, тогда председатель трибунала инквизиции, епископ Нантский, был так тронут, что встал со своего места и обнял подсудимого. Возможно ли это в каком-нибудь современном суде? Да еще в случае подобного преступника?

После вынесения смертного приговора барон де Рэ обратился к суду с несколькими просьбами. Он не просил о помиловании или снисхождении. Он только просил епископа Нантского посодействовать, чтобы люди молились за упокой его грешной души. И епископ Нантский, и жители Нанта удовлетворили его просьбу. Перед казнью торжественная процессия под звон всех колоколов всех церквей с пением псалмов прошла по городу, молясь за упокой души грешника, который видел это из окна своей камеры.

— А ведь красиво было! — воскликнул профессор Добронравов.

Жиль де Рэ просил, чтобы его, как главного виновника, повесили раньше его соучастников, чтобы он мог показать им пример, как искупать свои грехи. И эта его просьба была исполнена. Как дополнительную милость суд от себя постановил, что его мертвое тело не будет, как обычно, сож-

жено до пепла и развеяно по ветру, а, в награду за искреннее раскаяние, только слегка очищено огнем и затем отдано родственникам для погребения.

Если Жиль де Рэ и жил бесчестно, то умер он с честью. Правда, здесь профессор Быков скептически заметил, что Жиль, подобно Нерону и Калигуле, жизнь которых он взял себе за образец, в душе был большим артистом и потому не мог удержаться, чтобы не устроить спектакль даже из собственной смерти. Бренные останки грешного барона де Рэ были погребены в склепе церкви Кармелитов рядом с прахом древних герцогов Бретани.

Перед смертью Жиль де Рэ поручил свою душу святому Якову и святому Михаилу. Не кому-нибудь другому, а тем же святым, кому перед смертью поручила свою душу Жанна д'Арк.

Действительно, вблизи святой Жанны инквизиция НКВД поймала такого черта, каких мало. Почему Жиль де Рэ, бывший заведомым женоненавистником, вдруг стал ближайшим союзником Орлеанской девы? Какая таинственная связь объединяла этих столь разных людей в жизни и смерти настолько, что даже после смерти они отдали свои души тем же святым заступникам? И зачем все это понадобилось 13-му Отделу НКВД?

— Ясно, что этот де Рэ был таким же садистом, как де Сад, — сказал Борис. — А что дальше?

— Жиль де Рэ и Жанна д'Арк были совершенно одинаковыми людьми, — сказал профессор Быков. — И они это прекрасно знали. Вся разница в том, что Жиль занимался своими пороками, так сказать, в частном порядке — потому его и повесили. А Жанна употребила те же духовные побуждения, скажем прямо — те же пороки, на службу государства. Потому о ней и спорили пятьсот лет, пока объявили святой. Но технически были правы и те, кто сжег ее, как ведьму, наслаждавшуюся кровопролитием.

— Все дело в том, молодой человек, что подобными типами кишит всякая революция, где они могут дать волю своим патологическим чувствам под предлогом революционной законности. Вот и разбери здесь, где святой грешник, а где грешный святой? Например, до французской революции маркиз де Сад большую часть времени сидел по тюрьмам. А революция не только выпустила его из тюрьмы, но и назначила — кем? Судьей ревтрибунала! Не зная дела барона де Рэ и Жанны д'Арк, вы не поймете Марата и Робеспьера, Дзержинского и Ежова. А якобинцы французской революции позаимствовали свое имя от того же святого Якова, которому поручили свои души Жиль де Рэ и Жанна д'Арк.

Роясь в книгах и просматривая отмеченные места, Борис видел, что вслед за Орлеанской девой советская инквизиция взяла на заметку Екатерину Великую. Но их интересовали не те формальные памятники величия, которые нагромоздила себе Екатерина, а легальные и моральные аспекты ее царствования. С этой точки зрения в глазах законников из НКВД она являлась немкой и узурпатором русского престола, который она захватила с помощью своих любовников; мужеубийцей, отправившей на тот свет с помощью тех же любовников своего мужа — придурковатого Петра III, внука Петра Великого; и великой развратницей, оставившей после себя столь же придурковатого наследника престола Павла I, как две капли воды похожего на ее фаворита Салтыкова, и еще целую кучу незаконных детей.

Для моралистов из 13-го Отдела Екатерина Великая была просто русской Мессалиной, которой не сумели вовремя оттяпать голову. Кроме того, они подозревали матушку-царицу в сопричастности к матриархату.

— Какая, собственно, связь между Жанной д'Арк и Екатериной Великой? — спросил Борис.

— Закон единства противоположностей, — ответил доктор Быков. — Если бы их сложить вместе, то получилось бы одно целое.

— Как это понять?

— Это тема немножко специальная. Жанна д'Арк была не только девой, но и такой же мужененавистницей, как Жиль де Рэ женоненавистником. А Екатерина Великая как раз наоборот — любила мужчин больше, чем положено.

— А где же единство?

— Принято считать, что у Екатерины была своего рода нимфомания. Но с точки зрения психологии такая женщина не может любить по-настоящему ни одного мужчину. Потому она их постоянно меняет.

— А можно от этого вылечить?

— Лекарство это такое, что многие пациенты его боятся. Иногда от этого может вылечить только другая женщина. Такая, как Жанна д'Арк.

— Ага, тогда и получается единство противоположностей?

— Да, то есть психологический ноль. Но тогда Жанна не стала бы Орлеанской девой, а Екатерина вряд ли была бы Великой.

После дианических культов, амазонок и матриархата, в порядке исторического развития, мракобесы НКВД стали подкапываться под суфражисток. Они относились к этим смелым борцам за эмансипацию женщины без тени уважения и считали их просто современными амазонками. Те высокие идеи и громкие слова, которыми суфражистки оперировали на своих митингах и демонстрациях, служили якобы только для маскировки. А на самом деле их интересовало только одно равноправие с мужчиной — ходить в штанах.

Одна книжка с красным штемпелем НКВД так и называлась «Эмансипация женщин в свете психопатологии». Недаром про НКВД говорят: был бы человек, а статья найдется.

Подведя столь странную историческую базу, библиотека Максима переходила к современности в форме служебного архива. Вот папка со всякими кляузами на одну из самых заслуженных бабушек русской революции — мадам Коллонтай. Хотя и дочь царского генерала, она была настолько классово сознательна, что еще в девическом возрасте примкнула к подпольной работе большевиков и активно участвовала в революции.

Столь же активно эта красная суфражистка сожительствовала с революционной матросней и прославилась как апостол свободной любви. Вот групповая фотография, посвященная первой годовщине Октября: двенадцать апостолов во главе с Лениным, и среди них, как единственная женщина, — Коллонтай. Даже Сталина здесь нет, а она есть. Значит, высоко она летала. А вот ее фотография в молодости, с растрепанными волосами и шалыми глазами.

— Иван Василич, что это у нее глаза, как с перепоя?

— Кокаин голубушка нюхала, — ответил медик инквизиции НКВД.

Позже эта повивальная бабка Октября была послом в Швеции, единственной советской женщиной в столь высоком дипломатическом ранге. Но вместо послужного списка Коллонтай в папке были, под штемпелем «Особо секретно», подробнейшие допросы тех людей, кто на личном опыте знали интимную жизнь этой жрицы свободной любви.

Подобное же дело на Елену Стасову, ближайшую сотрудницу Ленина и затем секретаршу Сталина, которая, происходя из столбового дворянства, тоже оказалась столь эмансипирована, что всю свою жизнь посвятила беспощадному уничтожению этого самого дворянства. Будучи секретарем ЦК партии, эта милая дама занималась не школами или, скажем, детскими домами, а руководила 5-м отделом ЧК — по шпионажу за границей.

А вот еще одна суфражистка — старая большевичка Землячка, маленькая, как макака, и сморщенная, как мощи, старушенция с пенсне на носу. Она отличалась тем, что во время гражданской войны, совместно с Бела Кун, три года заправляла крымским ЧК так, что Черное море покраснело от крови. Подавая пример революционной сознательности, она собственноручно расстреливала пленных белых офицеров.

— Милые старушки, а-а? — улыбнулся доктор Быков.

Окончание в следующем номере.

АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

А. ЖИРКЕВИЧ

Голод в Поволжье

1920 год

30 января. На дворе морозы с ветром. При экономии с дровами у нас в квартире опять холодина. И я с трудом держу перо в окоченевших пальцах. Но привычка — вторая натура — тянет к письменному столу... Вчера я застал в дремотном состоянии Яковлева, тяжело дышащего и мало говорящего. Меня он как будто бы узнал не сразу. Но потом, видимо, был рад. Долго держал руку свою на моей груди. Бросаю писать: рука совсем одеревенела от холода.

2 февраля. Боже мой! Боже мой! Какие ты послал испытания на мою Катюшу! И за что? Она и без того давно святая, чистая, готовая каждую минуту перейти в иной мир. Мне больно, что я не в состоянии избавить ее от грубостей и несправедливостей, сыплющихся на нее из семьи уплотнившего нас рабочего-патронщика. Если бы я вмешался, то это только усилило бы скандалы. Приходится молча все переносить.

7 февраля. Хорошо теперь живется людям, знающим какое-либо мастерство. Вчера я зашел к органисту, настройщику роялей Орловскому. Как знающий еще и столярное ремесло, он имеет постоянные заказы. Они меня угостили очень вкусным кофе с молоком и сахаром, т. е. тем, чего я давно не пробовал.

8 февраля. Сижу дома в теплом пальто, валенках и шапке, болят зубы. У девочек распухли от холода пальцы. Окна наши все опять так затянуты льдом, что в комнате моей в самый полдень стоит полумрак. От тоски кое-что почитываю.

7 марта. Тамарочка поздней осенью, когда начались уже заморозки, на потолке погреба нашла несколько бабочек-крапивниц, прикрепившихся лапками и уцелевших, несмотря на холода. Двоих она смогла достать, принесла их в квартиру. Одна из бабочек как-то погибла. А другая живет до сих пор, неизвестно чем питается, по временам куда-то прячется, а затем вылезает и даже имеет силы ползать, перелетать на окно, где пьет ледяную воду. Хотелось бы, чтобы милая гостья наша дожила до весны и вместе с нами порадовалась бы ее дарам.

15 марта. Вчера на Новом Венце хоронили несчастных красноармейцев, замученных чуть ли не татарами при налете на какие-то деревни во время карательных экспедиции. Есть любители сильных ощущений, которые ходили обозревать тела с выколотыми глазами, с обрезанными носами, ушами и др. обезображивающими издевательствами.

29 марта. Сейчас был в женском монастыре, чтобы выразить сочувствие изгоняемым монахиням. Застал дома монахиню Лидию среди остатков прежнего ее благополучия — предметов домашнего обихода, икон, мебели. В монастыре стон стоит. Там смятение, проклятие, плач... Трудно себе представить, насколько насилие над старухами, мирно доживающими в насиженных гнездышках свой век, кажется возмутительным и объяснимым только ненавистью к православию... Я видел плачущих, расстроенных, пришедших в отчаяние старух около пожитков, вытащенных во двор. При мне какой-то звероподобный субъект велел запереть ворота с тем, чтобы не выпускать из монастыря никого с вещами. Бедные инокини предчувствуют, что их выпустят, предварительно ограбив. Где искать правды, защиты, суда?

По городу непролазная грязь, чередующаяся со льдом и снегом. На каждом шагу рискуешь упасть и сломать руку или ногу.

28 июля. На мне и Кате белье грязно, висит клочками.



А. Жиркевич. Симбирск, 1922 г.

Окончание. Начало в № 10/1991.

Но на починку его, мытье нет времени, нет средств. Катушка ниток дошла до 1200 р. Мыло тоже бешено дорого. Прачки дерут, конечно, ужасно. Ловлю на себе ежедневно паразитов. Невозможность ходить в баню или на речку, чтобы купаться, заставляет ограничиваться вытиранием тела мокрым полотенцем. Откуда-то налезли вши, и я их не могу вывести. Начинаешь терять уважение к себе, когда заводится такая нечисть и мерзость. И выхода пока нет. Мы сидим без денег, едва наскребая их на жалкий обед. А тут еще болезнь Кати (дочки) и упадок сил у бедной нашей труженицы Катюши (жены). Мы с нею чувствуем постоянный зуд на теле, вероятно, от грязи и паразитов, расчесывая себе тело до крови. Вот до чего мы дошли, как пали в смысле обстановки жизни. Не знаешь, что предпринять, как выйти из такого положения.

3 августа. В воскресенье был выпуск красноармейских курсов. Так как а тот день я записался в преподаватели красноармейских курсов, то принимал участие в обеде, был на параде и в театре. На обеде один из приглашенных рассказал о том, что в Москве известный клоун в цирке позволяет себе разные выходки против представителей советской власти. Так, он выходит на арену с портретами Ленина и Троцкого, начинает рассказывать публике, что ищет себе квартиру и не может найти подходящую из-за этих портретов. Квартиры малы и неудобны. Повесишь Ленина, а для Троцкого нет места. Приходится Троцкого ставить к стенке. Повесишь Троцкого, а приходится Ленина ставить к стенке. Ему же, клоуну, хочется найти такую квартиру, где бы можно было или повесить обоих — Ленина и Троцкого, — или обоих поставить к стенке (намек на расстрел). Публика хохочет, аплодирует. В прошлые времена таких вольностей не допустили бы.

19 августа. Я и Катюша измучены не только нравственно, но и физически, особенно она, бедная, весь день несущая черную работу, ухаживающая за больной, недоедающая, недосыпающая... А тут еще и мытье грязного белья. Вчера у нас с нею у корыта с мывшимся бельем был такой краткий, но красноречивый диалог. Она меня спрашивает: «Когда же окончится эта lutte pour l'existance?» А я ей отвечаю: «С нашей смертью, Каташечка». Легли мы вчера спать полуголодные. Маня вернулась поздно, принесла ситного хлеба. И я кусок его жадно съел уже в постели.

23 августа. Цены на базаре на зелень чудовищные. Маленький кочан капусты — 450—500 рублей. И все остальное в таком масштабе. Покупаешь Тамарочке пшеничную булочку, уплатив за нее 250 руб.

26 августа. Нас опять «уплотнили» семьей какого-то местного рабочего, жившего у Волги. Опять стоим перед загадкой: пошлет ли нам Бог хороших, мирных жильцов или еще раз нам придется испытать «казнь египетскую», вроде той, которую мы претерпели от Семеновых.

Куда ни заглянешь — все ждут еврейских погромов. Сегодня один старец, церковный староста, любящий своих детей, квартира которого увешана иконами, на устах которого елейно-православно-церковные фразы, который крестится до и после еды, говорил мне: «Когда-то мы дождемся клича «Бей жидов!» Дожить бы до этого времени!» На мое замечание, что евреи люди, что Христос вышел из их среды и заповедовал любить всех людей без исключения, старец ответил полувопросом: «Евреи — люди?» Между тем Симбирск наполняется все новыми беженцами-евреями... Но спаси нас, Боже, от такого позорища, как еврейские погромы! Довольно варварствовать и уличать других. Пора и на себя взглянуть в зеркало.

18 сентября. Говорят, что у нас в Симбирске хлеба хватит до октября, и то не для толпы, а для разных лазаретов, комиссаров и других исключений нашего времени. Мы, простые смертные, уже несколько дней ничего не получаем из продовольственных лавок (кооперативов). Даже пшено нам перестали выдавать. На базаре небольшой каравай хлеба фунтов в 5 стоит 1500 р. Это признаки надвигающегося голода. Мы получаем два обеда из дешевой столовой (обеды отвратительные и однообразные до отвращения). Но прежде давали кусок хлеба при каждом обеде. Вчера наполовину уменьшили и эту порцию. Публика ропщет. Как жить без хлеба?!

По городу к каким-то распределительным пунктам тянутся оборванцы в полуистлевших рубищах, худые, истощенные, еле передвигающие ноги. Зрелище ужасное, душу потрясающее. Кто они? Куда и зачем их тянут? Кому и какую пользу могут принести эти полускелеты? Чего на них не намотано, чтобы согреть тело...

20 октября. По домам чаще и чаще появляются красноармейцы, умоляющие дать им кусок хлеба, заявляя о том, что их кормят в частях так плохо, что они голодают. На базаре появляются красноармейцы, открыто берущие хлеб с лотков у торговок и тут же его съедающие. Одновременно появились и шайки грабителей.

Многие интеллигентные мои знакомые мне признаются в том, что разного рода лишения развили в них жадность к еде. Сегодня один из преподавателей командных курсов, человек лет 60-ти, говорил мне, что отсутствие средств не дало ему возможности приобретать яблоки, в то время как другие жрали их десятками. И вот у него явилось желание украсть несколько яблок на базаре. Но если человека образованного тянет к себе так сильно яблоко, то что же должен испытывать бедняк, видящий недоступный ему кусок хлеба? Отсюда, быть может, и кража хлеба на базаре красноармейцами. Тогда как осуждать таких воров? Смотрю же я сам сквозь пальцы, когда сторожиха моего кладбища, за неимением дров, крадет кресты с кладбища для обогревания жилища и варки пищи.

Удивительно, как ко всему привыкаешь. Бывало, одна мысль о том, что на тебя может вползти вошь, приводила в содрогание. И первое время, когда командные курсы во время лекции стали наделять меня этими омерзительными паразитами, я искренне сокрушался и брезгливо осматривал мое белье. А теперь делаю это равнодушно, точно так и должно быть.

1 ноября. Зима неожиданно встала. У нас еще не вставлены разбитые стекла в окнах и двойные рамы, но благодаря тому, что две печи отапливают уплотнившие нас жильцы, у нас пока довольно тепло.

В городе возобновились массовые обыски и аресты. Чего-то или кого-то ищут. В нашем симбирском болоте подозревают чуть ли не контрреволюцию. Все в ужасе ждут обыска, ареста, заключения в ужасные симбирские темницы. Никто не может себе уяснить смысл совершающихся насилий, ложишься спать, не зная, дадут ли тебе хоть забыться в тяжелом сне... И к этому привыкаешь понемногу. Рабы мы, рабы... Нечего закутываться в тогу и обманывать себя иллюзиями. Счастье, что и у рабов могут быть свободные, не рабские души... Кстати, о «рабских душах». Выпущен томик рассказов А. П. Чехова под заглавием «Рабские души». А у тех, кто так озаглавил книжку, точно не рабские души?!

4 ноября. С 5 ноября начинаются обходы красноармейцами всего города для собирания подаяний на нашу Красную Армию. Будут ходить по домам с уполномоченными, просить, так сказать, «честью» и давать расписки. Но все хорошо понимают, что если не дать ничего, то этим можно вызвать репрессию.

27 ноября. Меня ужасает то, что вновь народившаяся бюрократия, интеллигенция, аристократия продолжают ту же жизнь, какую на глазах народа вели наши прежние бюрократия, интеллигенция... В России только поменялись ролями классы общества и отдельные личности, но в сущности все осталось по-прежнему.

1921 год

1 января. Сегодня советский Новый год. Бывало, при встрече Нового года сколько радостных воспоминаний, сколько горячих пожеланий теснилось у меня в душе. А вчера и сегодня там — пустыня, по ней рассеяны могилы. Ночью спалось плохо. И что же мне упрямо лезло в голову? «Венеция» Апухтина, о которой я давно не вспоминал. От стихотворения я перешел к личным воспоминаниям о пребывании в этом сказочном городе. И вдруг встала передо

мною в блеске солнечного южного дня царица Адриатики с заплесневелыми мраморами ее полуразвалин дворцов, в тени которых бьются волны, разгоняемые бойко бегущими пароходиками.. Стало вдруг так тоскливо, что я встал, оделся и пишу, хотя еще — глубокая ночь. Право, можно подумать, что воспоминания созданы не на радость, а на скорбь человека... Подумаешь, что где-то люди счастливы, спокойны за свою личность, сыты, согреваются южным солнцем, наслаждаются красотами природы и искусства. А мы... Сейчас вот я прервал писание моего дневника («ночника»), т. к. почувствовал, что по мне ползают известные насекомые, называемые в России «вшами». Полураздевшись, я занялся их истреблением, но знаю, что через час они опять откуда-то наползут на смену павших в борьбе со мною. Думал ли я когда-либо, что опущусь до такого убожества? А вот случилось же это! И невольно хочется выкрикнуть к небу: «Когда же конец испытующей меня любви твоей, о Боже правый!»

2 января. В эту ночь повторился у нашей Мурочки-Катишечки припадок астмы. Она стала задыхаться, холодеть, говорить о смерти. К утру ей стало лучше. Но опять мокрота с кровью. Самочувствие было настолько тяжелым, что она стала прощаться с нами, крестить нас и говорить, как бы в виде завещания: «Любите друг друга». Бедная страдалица, не выходя из дома опять простудилась, т. к. не могла удержаться, чтобы не помогать Кате и Тамарочке по хозяйству. Я снова точно окаменел и движусь подобно автомату. Мне нет смысла жить, если Катя умрет. Одним словом, снова грозовые тучи повисли над нами.

Сейчас ходил в город за молоком и другими продуктами. Несмотря на личное горе, видел безобразные сцены: солдаты вооруженные захватывали возы с дровами, которые мужики везли на базар. Собралось много народа. Шум. Свалка. Протесты одних, приказы, угрозы других.

7 января. Вот дождались мы и Рождества Христова. У нас нет роскошного пиршества, но мы позволили себе кое-что лишнее. У нас есть молоко к чаю (300 р. за стакан!) и свежий хлеб, испеченный Тамарочкой. Кате, слава Богу, лучше, и она рассказывает детям о том, как раньше у нас в семье встречали Сочельник с покойными детками. Лежа в постели читает наизусть стихи, посвященные Сочельнику и Рождеству Христову разными поэтами, и я точно отогреваюсь, слушаю ее. Прошу ее сказать мне, одинокому, окруженному тенями дорогих усопших, какое-либо теплое слово. И она мне говорит: «Милый, дорогой, хороший Шурочка!» Чего мне более? Мороз на дворе крепнет. Ночь без звезд. Но у нас в квартире тепло. Со мной мой Христос, моя Катя. Около меня мои дети. Пусть они меня не понимают. И у нас в семье повторяется старая история «Отцы и дети». Когда понимаешь, то прощаешь, и тогда не иссякает любовь.

19 января. Привезли от А. И-ча Яковлева ящики, и я начинаю укладку спешно в них моих коллекций, отсылаемых в Румянцевский музей*. Меня беспокоит мысль о том, как доедут до Москвы мои коллекции, придутся ли там по вкусу, не пропадут ли, как то, что я жертвовал в музеи Вильны? Приходится составлять опись отсылаемого. А мне дано для укладки всего три дня. У меня нет даже стола, на котором я мог бы разложить вещи, бумагу. На три дня наша убогая квартирка обратится в нечто невообразимое по беспорядку... А тут еще мои занятия на командных курсах, необходимость ходить за обедом в бывшую чувашскую школу, хлопоты о дровах и керосине для кладбищенского сторожа.

22 января. Старина уложена мною в ящики (четыре) и 1 тюк. Завтра А. И. Яковлев приедет за нею с рабочими и возьмет прямо от меня в поезд, где у него особый вагон. Обрывается еще несколько хороших страниц прошлого — того прошлого, в котором было столько смысла и красоты. Я так устал и физически и нравственно за эти три дня, точно перенес тяжелую болезнь или личное горе. Теперь, когда все кончено, т. е. вещи уложены и так сказать перестали быть моими, я прихожу в себя и на закупоренные ящики смотрю, как на близких покойников, которых в жизни не встретишь. С вещами уезжает и А. И., не навсегда, а на время. И все же мне с его отсутствием будет чего-то недоставать, настолько я привык часто с ним видеться.

Мне рассказывали, будто бы на одном из спиритических сеансов дух на вопрос, чем кончится вся нынешняя неразбериха, продиктовал два загадочных слова «молот — серп». Долго не могли разобраться в этой шутке. Наконец, прочли оба слова вместе, но наоборот. Все это детски глупо, наивно, но интересно, как указывающее на настроение общества. Игра в спиритические сеансы приняла повсюду чудовищные размеры. Говорят о видениях, пророчествах. Верят снам. Вообще мистицизм в небывалой моде.

Россия похожа на вулкан, готовый к извержению, внутри которого бурлят, дают о себе знать загадочные, невидимые силы... История знает в прошлом подобные настроения русских масс, хотя бы после кампании 1812 г., Крымской и др. Дай-то Бог, чтобы случилось то, что постигло нас после Крымской катастрофы, когда все у нас дрогнуло и стало говорить иным языком, несмотря на всяческие цензуры.

24 января. Только и разговоров везде, что о загадочных советских деньгах — с одной стороны которых напечатано «1000 р.», а на другой «1 р.», — как о первых шагах при переходе советской власти к какой-то новой финансовой политике. Все с тревогой и недоверием желали бы уяснить себе, что «сей сон значит?» Все ждут только пакости и дальнейшего разорения. Общая тревога растет в связи с новыми потугами советской власти — ввести общую трудовую повинность. Для этого собираются домовые комитеты, где коммунистки проповедуют о необходимости и прелестях трудовой повинности всех граждан.

8 февраля. Надо удивляться, что все говорят о надвигающемся голоде, как о чем-то проблематичном, вроде слуха, который еще требует проверки. А вот вчера я держал в руках, так сказать, неопровержимое вещественное доказательство надвигающегося на Поволжье общенародного бедствия. Я зашел к О. П. Цветковой, продолжающей благодушествовать на средства уплотнившего ее деревенского парня, а ныне коммуниста-большевика «Сергея». К Сергею приехал его товарищ, приятель, красноармеец, которого с особым отрядом послали за 35 верст в какую-то деревню отбирать у крестьян муку. Отряд прожил в деревне несколько дней и убедился, что в деревне нет не только запасов муки, но что там давно уже за неимением муки едят не хлеб, а нечто подобное черной земле, из лебеды, с какими-то примесями. Кусок этого ужасного суррогата хлеба он привез показать большевикам Симбирска в доказательство того, почему он не привез желаемой в Симбирске муки. Кусок этой невообразимой, несъедобной, черной, как уголь, мерзости я вчера держал в руках. Он рассказывал о том, что без слез нельзя видеть детей крестьянских, жующих это подобие хлеба.

12 февраля. Куда ни заглянешь — всюду произвол, эгоизм и самодурство правящих ныне классов, игнорирующих интересы простого народа и так называемых «пролетариев». Для чего же тогда совершалась безумно-кровавая русская революция, опозорившая Россию в глазах остального человечества? Если школы, библиотеки для народа закрываются потому, что их нечем топить, если деревня ест не хлеб, а черт знает что такое, если у мужиков отбирают последние припасы, лошадей, скот, если в умах и душах деревенских и фабричных жителей по-прежнему царит мрак невежества и если из их детских душ вытравляют понятия о Боге, правде, совести, законе, милосердии к врагам и т. д. и т. д., то стоило ли делать революцию и все ломать, разрушать, портить и оплевывать?

19 февраля. Вчера при помощи оцепления в составе целого вооруженного полка разгромили базар: перевернули лавки, забрали припасы, деньги, позапирали продавцов и покупателей во Всесвятскую церковь, кое-кого стащили в Губ-

* Речь идет о передаче коллекции старинного оружия и орудий пыток (29 пудов) в Румянцевский музей.

чека. Хватали, обыскивали, арестовывали. Вчерашняя облава окончилась очень печально. Запирали лавки с железными товарами. Какой-то продавец стал протестовать, вступив в пререкание с представителями Губчека. Последний выхватил револьвер, прицелился в продавца. А тот, тяжелой гирей ударив по голове, уложил его на месте, сам же бросился бежать. Но один из конвойных выстрелил в убегавшего, несмотря на то, что тот пытался скрыться в гущу собравшегося народа. Пуля пронзила тело несчастного, войдя с одного бока и выйдя через другой, задев сердце, так что он был убит наповал. Та же пуля попала в лоб находившейся в толпе женщине и тоже уложила ее на месте. Сегодня на месте, где лежат тела убитых, на базаре, служилась панихида. Разгром базара, никому не понятный, и эти трое убитых возбуждают и население, и советскую власть, и красноармейцев. Действительно, трудно себе объяснить цель уничтожения единственного места, где можно было что-либо купить. Говорят, что будто бы получено общее распоряжение из центра о повсеместном прекращении на базарах вольной торговли.

23 февраля. Дикий разгром базара, в связи с появившейся в «Заре» фальшивой, хотя и официозной статьей о причинах, якобы вызвавших разгром симбирской «Сухаревки», вызывает возмущение. Проходя сейчас по разгромленному базару, видел следы погрома. Но торговля «из-под полы» идет широко и открыто. Я видел продажу масла, молока, овощей, табаку и др. Только дерут за все еще дороже.

24 февраля. Видел вчера кухарку Яковлевых, только что вернувшуюся от родных из деревни, находящейся в 30 верстах от Симбирска. Она, как очевидец, рассказывала мне про экономическую разруху в деревнях. Большевики, по ее словам, вывезли по ночам, тайком от населения весь запас ярового зерна, находящийся в продовольственных деревенских складах, не принимая, по-видимому, в расчет, что мужикам нечем будет обсеивать поля. Теперь, узнав об этом, крестьяне тех сел и деревень, где существуют еще такие запасы, охраняют по ночам склады особыми вооруженными караулами по 40 человек, решив не дать советской власти покончить с деревней, пустив ее, как говорится «по миру». Та же баба говорит, что деревня доедает последние запасы продовольствия и об ее озлоблении против существующих порядков.

2 марта. Везут в симбирские лазареты раненых красноармейцев. В связи с этим идут слухи о том, что будто бы полки, в состав которых входили командные курсы, где-то разгромлены, что часть курсантов «перерезана», в том числе и офицеры, что один из офицеров спасся и привез эту печальную весть, что раненые принадлежат к составу этого отряда и т. д.

Мужички, у которых я вчера купил возик дров за 16 тысяч говорили мне, что цены на все пали бы, если бы допустили вольную торговлю. Они, как и горожане, выражали недоумение по поводу всего того, что проделывает советская власть с деревней.

8 марта. Пахнет весной. А на душе далеко не весеннее настроение. 1) Тяжелая болезнь Кати терзает невыносимо. 2) Всюду по России — бойня. 3) Голод и другая разруха несомненно надвигаются.

17 марта. Началось сражение между Кронштадтом и Петербургом, говорят, что исход боя зависит от того, в чьих руках «Красная горка».

20 марта. Пересмотрел наскоро давно читанный мною роман Достоевского «Бесы». Пророческая вещь! Но и великий писатель земли русской не мог вообразить себе всего того, что мы сейчас терпим от «бесов», своих и иноземных.

29 марта. Объявлен «декрет» о вольной торговле ненормированными продуктами. Есть настолько наивные люди, которые усматривают в этом благодеянии советской власти нечто дающее надежду на то, что жизнь станет дешевле. Что может принести вольная торговля при общем разврате торгово-промышленной политики, когда 1000-рублевая бумажка стоит 5—10 копеек?

30 марта. Сегодня собирают на курсах подписку на «рыболовную артель». Педагоги и другие служащие будут ловить рыбу неводом и улов делить между собой. Это настолько оригинально, что записался и я. Но какой же я работник, да еще в таком деле, где нужны опыт и сноровка?

12 апреля. Волга тронулась. Холод. А все же пахнет весною. И нашу бедную Мурочку на день переводим в Манину комнату, из окна которой она, лежа на кушетке, радуется виду на волжские дали, воробушкам, скачущим по перилам балкона. Как-то начинаешь верить в то, что и нашей дорогой больной с весной станет легче.

27 апреля. Педагог, приехавший из Москвы, рассказывал мне еще о том, что особенно безнаказанно воруют те, кто ловко пристроился к продовольственным вопросам. Если привозятся материал, вещи, припасы, то часть их в дороге, как бы стихийно, исчезает, что отмечается в отчетах. А затем прилипшее к рукам мошенников так называемое «народное достояние» попадает (т. е. продается) в руки спекулянтов. Да и у нас в Симбирске то же явление.

9 ч. вечера. Дети ушли в церковь на чтение Евангелия. А я остался стеречь бедную больную Катю. Ей немного лучше сегодня. Она зажгла свечку у иконы крестоносца о. Зосимы и читает Евангелие, лежа в постели. А я читаю «Былое и думы» Герцена, прекрасную книгу, которую когда-то прочел, но содержание которой забыл. По звону в церквах мы с Катей следим за ходом чтения в храмах.

30 апреля. Ходил на базар покупать кое-что для праздника. На базаре множество покупателей, а на лотках, «чего душа просит»: свиные туши, телятина, масло, молочные продукты, молоко, овощи и т. д. Тут же живые поросята, гуси, утки, куры, индейки. За все спрашивают десятки, а то и сотни тысяч рублей. Попадаются предметы роскоши. Продаются лубочные картины на темы из прошлого режима (например, Великий князь Ник. Ник. старший со свитой и др.). У одного мальчишки я увидел дивное издание 18 века на латинском языке с гравюрами большого формата. От этой редкости осталась только часть, остальное пошло на обертку селедок (кстати, копченая селедка стоит 7-8 тысяч рублей штука). Во мне при виде испорченного издания заговорила страсть любителя, спасителя старины. Но что поделать с дефектированным экземпляром?.. Лучше не ходить на базар! Вид латинского издания, идущего на обертку селедок, растравил раны моего сердца.

До сих пор не переводятся у меня добрые знакомые из бывших тюремных заключенных Симбирска, и такие встречи, обвеянные доброжелательными по отношению ко мне воспоминаниями-признательностью, доставляют мне не только удовольствие, но и счастье. Сегодня, при покупке молока, продавец заявил мне, что меня хорошо помнит, когда я посещал губернскую тюрьму. Он, видимо, радовался, узнав меня. Ну, я, конечно, его не помню. Иду с базара, навстречу попадается какой-то убогий субъект с подвязанной щекой. Он, увидев меня, сияет и говорит: «Здравия желаю, Ваше превосходительство!» Судя по наружности, и этот прежде сидел в одной из симбирских темниц. Случаются встречи с больными и ранеными солдатиками, знавшими меня в то время, когда я состоял инспектором лечебных заведений в Симбирске. И тут я ни разу не натолкнулся на враждебное ко мне отношение... Да, признаться, у меня не было ни поводов, ни случая причинить кому-либо зло. Напротив, я мог многим облегчить физические и нравственные страдания.

1 мая. Надо же занести что-либо похвальное по адресу советской власти в Симбирске... Ну и занесу. На Гончаровской (Карла Маркса) улице начали засаживать деревцами и кустами бульвар, тянущийся по середине улицы. То есть делается то, что делала везде сов. власть: сначала прекрасный бульвар уничтожили, изгадили, а теперь его восстанавливают. Такова вообще логика русского коммунизма. Ну точно живешь в доме умалишенных, где все «шиворот-навыворот» — и поступки, и слова, и мысли.

27 мая. Слышал такой политический каламбур: «Какое сходство между телегой и советской властью?» — «И то и другое держится чекой».

Несомненно, на нас надвигается голод, прекращение в связи с ним пайков рабочим и служащим. А тут недалеко до бунтов и забастовок. Но, вернее всего, будут терпеть и умирать, как вьючные животные.

А. Ф. Кони пишет мне так одобрительно: «И мне отрадно знать, что в далеком уголке Волги есть сочувственное мне сердце хорошего человека и деятеля». Спасибо за доброе слово. Я так мало их теперь слышу. Я отвык от них.

У Катюши снова припадки астмы. Мы все в тревоге. Так тяжело видеть страдание дорогого, близкого человека и не быть в состоянии чем-либо помочь ему.

12 июня. Продолжаю трудиться в смысле оживления деятельности Симбирской ученой архивной комиссии. Собираю бумаги, фотографии, относящиеся к Симбирску, разношу вопросные листы известным симбирским деятелям.

Всюду, куда ни пойдешь, встречаешь знакомых, идущих за пайками, «паешников» и «паешниц», как их метко характеризует Н. И. Ашмарин, не забывающий, что и сам он принадлежит к разряду этих несчастных, равно как и я. Что же делать? Надо кормиться и кормить близких, не умирать же нам с голоду?!.

Симбирский «толчок» (от глагола «толкаться») напоминает собою базары Востока. Тут жарят, пекут, чинят обувь, стригут, бреют, сходятся для совещаний. Над скопищем людей стоит гам, крик, выкрикиванья качества товаров... И скоро вспоминаешь отсутствующих художников, которые могли бы создать прекрасную жанровую картину, которой бы удивлялось наше потомство. А они уходят в описание с натуры «равнодушной природы». Если б не усталость, я готов бы целые часы проводить на этом «толчке», наблюдая нравы... Как тени прошлого, счастливого, сытого, довольного, проходят через многотысячную толпу «буржуи» и «буржуйки» (применяю название, даваемое чернью представителям высших классов монархической России) с предложением иногда дорогих, изящных туалетов, сувениров, безделушек с этажерок и т. п. Голод их выгоняет на базар из уплотненных логовищ, заставляет, несмотря на возраст и недуги, целые часы бродить в духоте жаркого дня, в пыли, среди оборванцев и женщин сомнительной репутации, дающих вместе с торговцами тон базару. Брань, циничная перебранка, замечания при покупке-продаже. Десятки, сотни тысяч советскими бумажками, тут же считаемые иногда подростками. Наглые мальчишки, корчащие из себя взрослых... Да это никогда более не повторится в России! И все это не заносится на холст, в альбомы нашими художниками!

21 июня. Благодаря моей манере (просьбе сообщать автобиографию) я всюду натыкаюсь на неунывающих культурных работников и на таких, которые считают себя «бывшими людьми» (ненавистная мне кличка)... Вот, например, священник Ремиров. Человек «не от мира сего», знает основательно 15 языков. Но где приложить в варварской России эти удивительные знания? Старик Рагозин с его научными материалами — кому они нужны? А вот художники... Те не унывают... Любовался я вчера, глядя на Пластова, Архангельского, Добрынина. Теперь они заняты устройством художественной выставки, обещающей быть интересной. Какие таланты таятся по провинциальным трущобам! Взять хотя бы Пластова, набросавшего вчера с меня удивительный этюд. Я удивлялся тому, как он приступил к работе, мощно распоряжаясь красками.

22 июня. У Яковлевых узнал, что Иркутск занят японцами, что сообщение с Кавказом, Туркестаном прервано.

Видел вчера на улице женщину с двумя детьми, настолько исхудавшими от голодовки, что ножки их, ручки тонки, как палочки. Это живая иллюстрация, до чего довели русский народ! Проходя мимо многомиллионного безобразия — памятника К. Марксу, — я думал, что в России делается то же, что делалось и при старом режиме: мы ставим миллионные монументы монархам и военным героям в то время, когда по деревням умирали с голоду и от повальных болезней. Все, все осталось по-старому. Россия как была страной вызывающих к небу контрастов, такой и осталась. Уроки истории скользят только по невежественным массам, не проникая в их душу, не производя там глубокого, благотворного впечатления. А интеллигенция, особенно в ее теперешнем, разгромленном состоянии, ничего не может поделать с этим всемертвящим, массовым одичанием, озверением. Кажется, Ленин и компания прозрели, наконец. Какое безумие было коверкать Россию, не желая считаться с общим массовым невежеством, громя культурные классы. И как мы дорого за эти безумства наших доморощенных «гениев», вроде Ленина-Ульянова, еще поплатимся. Но их уже не будет на свете, когда результаты совершенных безумий и насилий над русским народом скажутся.

30 июня. Холера, перекочевав в Симбирск по Волге из Астрахани, делает у нас ожидавшиеся успехи. Холерные бараки до того переполнены больными, что последних кладут вне их, на свежем воздухе. Трупы хоронятся в общих ямах, на эпидемическом кладбище. Сегодня А. А. Сергиевская рассказала мне, что прислуга в холерных бараках боится подходить к больным, подавать им воду и т. д., не желая заражаться. Смерть приходит к больным в ужасающей обстановке полной заброшенности и отчаяния.

4 июля. Я разнес по городу около 30-ти вопросных листов местным выдающимся деятелям в области науки, искусства, общественной деятельности. Все обещали ответить на предложенные вопросы.

20 июля. Каташе нашей опять как бы лучше. Дети достали где-то ванну и с огромными затруднениями купают в ней дорогую больную. Я давно не мылся в бане. И вчера воспользовался случаем, помывшись после Кати, испытал давно не ощущавшееся наслаждение. Вот до чего мы дожили! Самые обыкновенные условия человеческого существования кажутся нам недосягаемым блаженством. Живем, как свиньи, а главное, привыкаем к такой жизни, точно это так и быть должно.

23 июля. Мы вступили уже несомненно в полосу голода, едим хлеб из овсяной муки, от которого во рту остается горечь, а в желудке делается расстройство. Но нам завидуют те, кто и этого довольствия не могут приобрести. На улицах постоянно видишь лежащие фигуры людей, обессилевших от голода. По городу по-прежнему ездят особые фургоны, подбирающие и холерных, и истощенных голодовкой (холера уменьшилась ввиду наступления холодов). Вчера, будучи у Александровской больницы, я видел, как привезли человек пять таких истощенных, обессиленных от голода — на особой платформе. Они не могли двигаться, апатично относились к окружающему. А прислуга — санитары в белых халатах и в особых кожаных рукавицах — стаскивала их за ноги с платформы, смеясь и балагуря между собою.

26 июля. Через Симбирск тянутся сотни телег, везущих домашний скарб и ребятишек. На торговой площади образовались целые таборы. Это беженцы, спасающиеся от голода в те места, в которых, по слухам, ожидается урожай. Везут шкуры коров: значит, зарезали перед отъездом последнюю корову. Где они остановятся? Что ждет их в будущем? Ребятишки плачут. Подростки мрачны, не по-детски выглядят, истощены. Женщины еле двигаются.

1 августа. В несколько часов от молниеносной холеры умерла моя знакомая, Зоя Алексеевна Соколова, жившая с моим приятелем, слепым сапожником Соколовым. Жаль мне бедного слепца. Как он сегодня плакал, рассказывая о своем горе. И я с ним плакал, думая о моей Кате и возможности ее потерять.

Постоянно борюсь с паразитами. Надо бы сжечь мое одеяло, мое платье. А дырявое, негреющее одеяло у меня единственное, другого платья нет. Катя сегодня говорила, что стыдно отдавать мое белье в стирку, могут попасться паразиты. Не понимаю такой щепетильности. Виноват ли я в том, что курсы, на которых читаю, наделяют меня отвратительными насекомыми, ползающими по курсантам?! Могу ли я избегнуть той бедности, тесноты, грязи, в которых мы живем? Ежедневно я раз десять раздеваюсь за занавескою моей кровати. Я сам себе гадок и жалок в этой постоянной борьбе за избавление себя от нашествий на-

секомых. Дети знают о моей беде. Но они не смотрят на нее, как на горе и несчастье, а брезгливо меня сторонятся... Боже мой! Боже мой! Думал ли я, что буду жить так, как живу теперь?

13 августа. Введены новые тарифы по части корреспонденции, за заказное письмо приходится платить 1250 руб., а за простое 250 р. И т. д. Откуда обнищавшему обывателю брать такие суммы на корреспонденцию?

17 августа. Настали чудные дни: не то лето, не то осень. Вчера, когда я около 12 ч. ночи возвращался, в садах, где есть дуплистые деревья, раздавались голоса сов. Это напомнило мне начало осени, когда мы жили на дачах в «Вонлярове» (под Смоленском) и в «Замечеке» (под Вильней), сердце вдруг сжалось мучительной тоской о прошлом.

20 августа. Нищенство в Симбирске на почве голода и голодовки все усиливается. К нам приходят реже, так как мы живем на втором этаже. А жители низших этажей, особенно домов, прилегающих к базарной, торговой площади, где скапливаются беженцы, — прямо осаждаются нищенствующими. Последние не только сами становятся на колени, просят, плачут, но несут с собой обессилевших от голода детей в квартиры более состоятельных жителей. Происходят душераздирающие сцены по невозможности помочь: у обывателей у самих часто нет хлеба, муки, овощей.

29 августа. Аресты по городу, как и обыски, продолжаются. Добрались до врачей, даже пользующихся известностью, как Левит, Воробьев и др. По-прежнему никто не знает основных причин этих репрессий. А все дрожат за свои шкуры.

30 августа. Стены, заборы Симбирска пестрят афишами о концертах, спектаклях, балах с танцами без перерыва, до утра, с призами за костюмы, за красоту, за изящество и т. д., все в пользу голодающих. А голодающие умирают на улице у таких афиш. Даже «Заря», возмущенная этой вакханалией увеселений, описывает, как на днях у Карамзинского сада под такой афишей, на глазах у прохожих, умирал от голода крестьянин. Мне передавали, что у входа на такие увеселения собираются нищие с горящими от голода, зависти, ненависти глазами, требуя милости у счастливцев... Ну и времечко, в котором живем!

17 сентября. Советская власть все расширяет область налогов. Читаю сейчас, что обложено употребление нами воды, электричества, животные. Предлагается налог на квартиры. Возмутительно то, что обложили воду — самый важный, необходимый продукт, особенно при той нищенской обстановке, в которой большинство обывателей живет, — 25 руб. за ведро! А в день выйдут 5-6 ведер! Для больной Кати могут понадобиться опять ванны. Буквально сидим сейчас без денег и хлеба.

25 сентября. Судя по газетам и рассказам, по всей России начались злоумышленные крушения поездов, везущих хлеб, зерно голодающему населению. Какие-то мерзавцы устраивают крушение поездов, причем гибнет не только зерно, но и люди. «Красная газета» видит в этих крушениях выступление контрреволюционеров, желающих якобы помешать сов. власти справиться с голодом. Разве можно одобрить такие способы борьбы! Нет, нет, нет! Проклятье на тех, кто борется на такой почве. Советская власть все же власть. Никогда я не благословляю гражданскую войну и подобные средства.

10 октября. Занятия мои на подготовительных курсах временно или навсегда окончились. Последнюю диктовку во всех отделениях я диктовал из жизни Толстого, по моим впечатлениям, чтобы разогнать тоску. Заметил, что курсанты, которым я объяснил, что трижды жил в Ясной Поляне, с интересом отнеслись к этому новшеству с моей стороны.

25 октября. Вчера, когда дети ушли на занятия, я остался один с умирающей Каташей. Она, видимо, страдала и задыхалась. Я предложил ей прочесть Евангелие. Она с охотой согласилась. Евангелие раскрылось на главе от Луки, где говорится об исцелении Христом женщины, страдающей водянкой (т. е. той болезнью, которой страдает моя дорогая больная). Разве это простое совпадение? Потом по просьбе Кати я прочел ей, заложенный молитвою, псалом 104. Она благодарила, была в полном сознании. После обеда я ушел в чувашскую школу за стеклами. Часов в 6 возвращаюсь домой... А у нас Боголюбов служит молебен по просьбе Катюши, чтобы Бог послал «блаженную кончину». Катюша уже находилась в полубессознательном состоянии, но узнала меня, батюшку благодарила за молебен, а меня по моей просьбе благословила. В конце молебна батюшка вполголоса прочел отходную. Но Катюша едва ли ее слышала. Потом она впала в бессознательное состояние, в каком положении находилась всю ночь. Теперь она еле еще охает и тихо стонет. Во мне точно все умерло.

26 октября. Наша мамочка скончалась сегодня в 3 ч. 40 минут после агонии, которая продолжалась $1^1/_2$ суток.

29 октября. Бог у Каташи отнимал постепенно все, что скрашивало ее жизнь. Мы принуждены были бежать из Вильны в 1915 г., бросив нашу обстановку, имения, фамильные вещи. В Симбирске за годы переворота потеряли все, что имели, испытали и голод, и холод, и др. лишения. Трижды меня на глазах моей Каташи грубо, с опасностью для жизни, арестовывали. Я захворал натуральной оспой. В семье нашей появился тиф, малярия. Сама Каташа, ухаживая за больной, заразилась тифом в тяжелой форме, что подорвало окончательно ее уже расшатанное здоровье. Неудивительно, что развилась болезнь сердца. Ей было всего 54 года. Недавно, когда я в беседе с нею коснулся возможных причин ее болезни, она со свойственной ей прямотой сказала, что ее убил непосильный, непривычный труд, стояние в «хвостах» во всякую погоду, иногда по 7—8 часов подряд, бегание на базар и таскание оттуда пудами провизии до полного изнеможения, дома варка обедов, хлопоты по хозяйству, отворяние входных дверей посетителям, тревога о завтрашнем дне, неизвестность за ближайшее будущее. Теперь, вспоминая это недавнее прошлое, с горем вижу, как мы мало ей во всем помогали. Она не жаловалась. А нам не казалось, что она изнемогает часто под бременем многочисленных обязанностей. Боже! Как я не видел трудностей ее подвига, как мало делал, чтобы облегчить ее непосильные труды.

1923

1 января. Мы остались буквально без денег и с незначительными запасами припасов, которых хватит на однидвое суток. А дальше что? Голод, если Бог не поможет. Начали мы сегодня Новый год без хлеба. У Тамарочки для нас имеется небольшой запас ржаных лепешек. Свою порцию она и Катя еще вчера с полуголоду съели. Остались мои две лепешки. Одну из них я уговорил Катю взять у меня... Чем бы мы накормили в эти дни нашу бедную больную мамочку, если бы она была жива!.. И приходишь к обидному, позорному выводу: слава Богу, что она умерла!

6 января. Снес на продажу в магазин случайных вещей художественной работы ложечки, поднесенные отцу Зосиме его почитателями, с изображением храмов, им построенных, снес с болью в сердце, но с сознанием, что не могут же дети мои голодать. Будь иная обстановка, разве расстался бы я с этими драгоценностями.

8 января. Случайно мне попалось в руки издание сочинений гр. А. Толстого, а в них его переписка. С наслаждением прочитал интересные признания поэта, адресованные к Мюллер, будущей его жене. Но как основательно забыта у нас поэзия Толстого, когда-то вызывавшая бурю негодования в литературных кругах и в литературной среде. Метко высмеял он только что зародившийся при нем коммунизм. И этого «преступления» достаточно для того, чтобы Толстого замалчивали современные доморощенные горекоммунисты.

Сегодня зашли ко мне художники Остроградский и Носов — смотреть мои коллекции. Я редко выставляю их на свет Божий. Опять замелькали работы К. Брюллова, Егорова, Репина, Сверчкова и др. художников, прославивших не только в России, но и за границей русское искусство.

15 января. Слухи, слухи, слухи... Симбирск, благодаря праздникам, точно обезумевший, сеет сплетни, самые невероятные. Но я давно не читал столичных газет. И, когда мне читали в течение этих дней отрывки из них, для меня ясна агония «сов. власти». Невольно с ужасом гляжу я в ближайшее будущее бедной моей России. Все же советская власть была «Власть». А кто (или что?) изменит? Ведь хлеб не подешевеет, голод сразу не прекратится! Тут никакая власть ничего не поделает, даже при самых доброжелательных усилиях — настолько все разрушено, развращено и сдвинуто с вековых устоев. Тем не менее все ждут наивно какого-то чуда и строят из надежд воздушные замки, но готовятся к голодной смерти даже те, кто сравнительно хорошо устроился. Тут нельзя не усмотреть, с одной стороны, общей усталости, родившей апатию и фатализм, с другой — оскудение Евангельской веры. Недаром европейцы, выбрасывая нам подачки, нас и тайно и явно презирают, не понимая психологии масс данного момента.

Я ненавижу всякие бунты, перевороты, возмущения, с какой бы стороны (правой, левой) они не исходили. Если бы меня спросили, желаю ли я сейчас контрреволюционного переворота, я, положа руку на сердце, перед Богом ответил бы, не рассуждая, отрицательно. Нет! Лучше умереть от холода и голода, чем желать, чтобы вновь полились по Родине моей потоки крови и слез! Единственная революция, которую я чту, это бескровная революция в области духа, разума и совести.

30 января. Продолжаю опись моих художественных коллекций с большими усилиями над собой: нет настроения, нет места, где бы можно было разложить, рассортировать рисунки. Но труд этот надо кончать, чтобы в случае моей смерти дети знали, что после меня остается. Да и на случай продажи. С болью в сердце вспоминаю о тех картинах, которые погибли в Вильне.

2 февраля. Вчера по приглашению милых Листовых я и Катя провели у них вечер. Мне устроили сюрприз. Кто-то подарил Листову сочинения Чехова, и там оказались три напечатанных письма знаменитого Чехова ко мне по поводу моих произведений. Ек. К. прочла их вслух. Переписка моя с Чеховым, Толстым, Полонским, Фетом, Репиным и др. знаменитостями искусства и литературы переживет меня. И (кто знает?), быть может, меня еще вспомнят, вскроют мои дневники, издадут мою переписку, напечатают рукописи моих неизданных рассказов. И я воскресну тогда еще как писатель в потомстве.

9 марта. Вчерашний день, однако, поднес мне неприятный сюрприз. Я вернулся домой после 11 часов ночи, вхожу в нашу квартиру и застаю поджидающих меня — агента Губчека и трех вооруженных винтовками красноармейцев. Мне предъявили ордер Губчека об обыске, а если нужно, и о моем аресте. Недоумеваю: чего же этим посетителям от меня надо?! Я ни в чем не виновен. А арест так арест. Производящие обыск держат себя вполне прилично, корректно, вежливо. Копаются в моих бумагах, переписке, в письменном столе, на полке, в книгах. Однако какая перемена в обращении с прошлыми обысками, арестами!! Во время второго моего ареста — браунинг у моей груди, глумления, окрики, толчки, унизительный осмотр тел.

9 апреля. Приношу детям кусочки хлеба, которые достаю у знакомых, знающих нашу нужду. До какого унижения я дошел!..

18 апреля. Катя дает уроки у Лерманов, занимающихся спекуляцией. Хищные птицы эти собираются совершить перелет в Москву. Миллионам у них нет счета. Недавно глава семьи привез домой ни больше ни меньше как 32 миллиарда барышей, доли из какого-то коммерческого предприятия. Под Москвой нанята чудная дача со всеми удобствами, за которую за лето надо заплатить 250 миллионов. Таких, как они, теперь на Руси расплодилось немало.

23 апреля. В Симбирске начались изъятия из храмов церковных ценностей. Кощунственно входя в алтари и беря священные для православных верующих предметы, до которых по правилам православия могли касаться только священнослужители, явились в церковь женского монастыря и всю ее ограбили, оставив одну чашу. За отобранными вещами завтра приезжает подвода, их затем увезут из Симбирска. Куда? Зачем? Совершается нечто открыто наглое. Судя по московским газетам, драгоценности должны пойти на борьбу с голодом в нашем Поволжье. А их, вместо того, чтобы продать всенародно тут же, в нашем Поволжье, вырученные от этой продажи деньги употребить на нужду местных умирающих от голода жителей, увозят из Поволжья. Конечно, у всех крепнет убеждение, что все это пойдет не на голодающих, увезется за границу, пойдет на содержание и пайки комиссарам и т. д. С ужасом гляжу в будущее России, которое готовят ныне в ней хозяйничающие, «не ведают, бог что творят», и кто-то совершенно невинный будет страдать, обливаясь кровью и слезами.

22 мая. Сегодня я пошел к моему начальству, заявляя, что я и дети мои давно не видели хлеба, едим один раз в день что-либо постное, чая давно не пили, так как пить его не с чем. Он принял меня с участием, выслушал и велел выдать мне в счет будущего жалованья пять миллионов рублей. По новым правилам я дал в книге расписку в том, что получил по курсу советских денег 1922 г. 500 рублей. На самом же деле на базаре миллион стоит 1 рубль.

16 июля. Нужда заставляет меня готовить для продажи собрание моих картин, этюдов, набросков... Составляя опись, я точно прощаюсь с прошлым, кого я только не знал из мира художников! Репин, Шишкин, Куинджи, Айвазовский, Сверчков, Поленов, Нестеров, Чистяков, Антокольский, Матэ, Гинзбург, Пожалостин, В. В. Верещагин, К. Маковский, В. Маковский и др. Эти выдающиеся художники составили славу себе и русскому искусству. А второстепенные: И. П. Трутнев, Полозов, П. И. Пузыревский, В. Н. Грязнов, В. Н. Рязанов, Д. Полозов, М. Е. Мешков, академик Чагин, П. С. Добрынин, Д. И. Архангельский. О Репине и Толстом, пользуясь моими бумагами, я мог бы написать толстые книги... Сколько законченных рассказов на темы из русско-военного быта лежат в моих бумагах без надежды увидеть свет в печати.

21 июля. О моих сокровищах, о моем отъезде за границу говорят и сплетничают. Точно мой отъезд — факт, находящийся вне сомнения. Прежде я все бы отдал даром. А теперь надо продавать. Это идет в противоречие с тем, что я всю жизнь мою делал, жертвуя даром, безвозмездно художественно-исторические сокровища. Мне смешно слышать изумленные соображения тех, кто, узнав о моих художественных сокровищах, не могут понять, как это я голодал, имея возможность все это продать и выручить огромные деньги.

Свалка около моих коллекций продолжается. Меня точно открыли не только как обладателя бесценных художественных сокровищ, имеющих мировое значение, как владельца единственного портрета К. Брюллова и т. д., но и как человека, могущего много рассказать и о себе, и о великих людях, которых я знал. До сих пор меня только гнали, шельмовали, арестовывали, довели до голодовок. Господи! Благодарю тебя за счастье, что и Советская Родина увидела, наконец, во мне не врага, а любящего, преданного сына.

Публикация
Н. ЖИРКЕВИЧ-ПОДЛЕССКИХ

●

И. С. ШМЕЛЕВ

Да сохранит тебя сила жизни

Среди эпистолярного наследия И. С. Шмелева особенно выделяется его переписка с сыном, офицером Русской армии, затем Добровольческой армии Деникина, участником войны 1914—1918 годов, демобилизованного по болезни и оставшегося при отступлении Белой армии в Крыму, где и был без суда и следствия расстрелян по указанию Бела Куна и Р. Землячки красноармейцами.

В статье, написанной в эмиграции, И. Шмелев рассказывал: «Террор проводили в Крыму — председатель Крымского Военно-революционного Комитета — венгерский коммунист Бела Кун и его секретарь — коммунистка Самойлова, нерусская, партийная кличка «Землячка», и другие. Тов. Островский расстрелял моего сына».

Письма отца и сына — важные свидетельства очевидцев тех трагических событий, которые назревали и свершились в России.

Письма И. Шмелева отражают безмерную, подлинно отцовскую любовь к сыну. В некоторых письмах есть приписки, сделанные рукой матери. Тоже полные забот и тревог за сына. Письма отца обстоятельные, развернутые, порой длинные. Письма сына, написанные размашистым почерком, в большинстве случаев короткие, иногда торопливые. Они вложены в малоформатные прямоугольные из серой бумаги конверты с круглыми штемпелями: «Из действующей армии» и «Запасная полевая почта», а на обороте конверта — московский штамп: «Москва, 5 ЭКСП. ГОР. ПОЧТ.».

Предлагаемые читателю письма публикуются впервые. Биографы И. С. Шмелева пользовались письмами в своих работах, цитируя отдельные фразы.

В настоящем издании сделана расшифровка сокращений. Письма печатаются в новой орфографии. Все письма выверены по подлинникам. Печатаются в хронологическом порядке.

Г. Гридин
(предисловие и публикация)

17.VIII.1917.
10 ч/асов/ вечера.
Четверг.

Дорогой мой Сережка, вчера получили письмо твое от 9 авг/уста/, сегодня от 10-го. Я предполагаю, что где-то в этих местах стоишь ты. Но точно и до сих пор не знаю. Сообщение о боях читал, нарочно отыскал № газеты. И забродило на сердце. Значит, еще в неприятельской стране. Ну, пошли вам всем Бог благополучия и крепости душевной. Милый, дорогой. <...>

Погода в жаре и солнце, но это еще сильнее раздражает. Я сижу неделями, не выхожу. Не могу, не могу смотреть людскую суету. Меня раздражают шумы, грохот, хвосты, разруха. Мной овладевает меланхолия. Единств/енное/ спасение — работа. Но и она не ладится. Верно — я без воли. Хотя с приезда (2 июня) написал уже р/ублей/ на 500. Да что деньги! Вот за землю послал $6^{1}/_{2}$ т/ысяч/. И еще есть, могу даже не спешить писать. Выпускаю скоро свой 8-й том и уже есть большая часть материала на 9-й.

Но все это как-то уже не важно и как-то далеко от сердца. Все это ничтожно перед тем, что теперь. Это роскошь — это наше искусство. Не по времени фрукт. Теперь фунт чистого хлеба дороже всяких Шекспиров и Толстых. А слова, образы! А теперь такое обилие всяких слов, звонких и порожних, что в них, как игла в соре, тонет чистое слово возвышающего жизнь искусства. Теперь гремь и бубен, грохот и треск. Ломается жизнь. Дай Бог, чтобы из развалин вышла новая, обновл/енная/ жизнь. Очень сомневаюсь. Лет на 30 отодвинемся, замрем, обнищаем все, вся Россия, как церковные мыши, и надолго попадем в кабалу разных, более ловких народов. Но жизнь — строгий учитель. Вышколит. Синяков наставит, рубцов надерет и вышколит. А ты, дорогой, будь крепок, и главное, сдержан. Помни, что **массу винить нельзя** (подчеркнуто И. С. Шмелевым. — Г. Г.). Помни, что если мы, люди интеллигентные, часто теряемся и станов/имся/ в тупик, то что же требовать от людей темных? И надо прощать. Не надо **раздражать** (подчеркнуто И. С. Шмелевым. — Г. Г.). Надо взять себя в зубы и быть ровным. Спокоиней, друг. Ты и не ты, а тысячи, как ты, сразу, криком, возмущением духа, раздражением ничего не переделаешь, не научишь осмысленному восприятию жизни, не вольешь бодрости, не вызовешь сознания правды и долга. Раздражение — плохой руководитель. И потому надо быть покойнее, сдержаннее, систематичнее.

Я тебя понимаю, и скорбь понимаю, и обиды понимаю. И болею. Я это все давно предвидел. И еще раз повторю: спокойствие, терпение, выдержка, ровный тон, доброе, братское, товарищеское, — хоть и трудно будет, — отношение к людям, которые вокруг тебя. Дорогой, это надо. Это необходимо. А ты такой горячий. Умоляю тебя, будь ровен. Плохо подделываться под солд/атские/ масштабы. Плохо и смотреть сверху. Но ты, я знаю, чистый, хороший и умный малый. Ну, целую тебя, твои глазки. Да сохранит тебя, мой единственный, моя надежда — да сохранит тебя Сила жизни, Бог. Кто бы он ни был — он есть. Сила Света, Высшая Сила.

Ну, пиши. Я буду стараться ждать и терпеть.

Твой папа Ваня.

Ив. Шмелев.

Москва, будь она неладна. 23.8-1917.
11 час/ов/ 45 веч/ера/

Ну, дорогой мой мальчуган... сегодня напрасно прождал письмеца от тебя. 3-го дня, то есть, 21 авг/уста/, послал тебе большое письмо. А ты, б/ыть/ может, уже написал тоже мне, и письмо в дороге? Что у нас нового? Нового... Если бы хорошее было это новое! Веселого нет. Тучи, тучи... В Москве тревожно, остро. Что-то назревает. Б/ыть/ м/ожет, еврейский погром. Уже носятся в воздухе слухи, угрозы. Уже на Солянке толпа хотела громить склад какой-то, подозревая спекуляцию. Есть какие-то агенты-подлецы, коим важно затеять смуту. Распускают слухи, что евреи где скупают картофель и валят его в овраги (!!!?). «Хвосты» волнуются. Ведь всего по 1/2 ф/унта/ хлеба на душу. Надо же сорвать сердце на чем-нибудь. А тут еще Рига отдана, крах на сев/ере/ Франц/ии/. А тут еще всякие слухи... аресты в Питере. Толпе совершенно все равно, какое будет правление (ей нужно есть, ей голодно). И много шкурных тревог. Женщины истомились в очередях. Подумай — дети, надо работать, а тут с двух-трех ночи надо занять место у булочной. И толпа постепенно накаливается. И революция начинает трещать. Да, да, г/оспода/ «теоретики», должно быть, чувствуют себя ужасно. В тяжкую пору пришла Революция, и нужна величайшая готовность, воспитанность духа, чтобы лелеять новое. А у народа и не могло еще образоваться даже зачатка этой культурности. Вспомни Фр/анцузскую/ револ/юцию/, когда народ бросался справо налево и обратно. За указкой, за командой. И вот то же (еще хуже) происходит у нас. Не дай Бог, как все непрочно. Трещит новый кафтан, не по мере сшитый, да еще белыми нитками. Что-то принесут завтра газеты!? Мне уже давно было ясно, как все пойдет. Если ты помнишь мое настроение в марте, если ты вспомнишь из моих к тебе писем. Править государственно — это значит — уметь предусматривать, а не идти на слепую. Этот дар — редкостный, а у нас что-то очень легко относятся к вопросу, кто и как будет править. И кажется, никто из правящих не выдержал экзамена на 3. А держало и держит много, слишком много. Как будто такое легонькое занятие — править. Достаточно, если бы они, милейшие, в общем, люди, умеющие говорить мало-мальски складно, прочитали некоторые диалоги Сократа. Кое-кому бы, пожалуй, стало и стадно! Но, очевидно, они не только Монтескье, но и Сократа не читывали! А в лучшем случае читали Маркса тощенькие брошюрки. Хотя все хорошие, честные люди... Но еще Крылов сказал — по мне уж лучше пей. Ну, довольно. Повторяю, что под гору идет дорога. Продай хозяйские горшки! Да как бы и нам, мирным наблюдателям жизни, не загреметь вместе с ними. Да, упряма, ленива и норовиста лошаденка русская. Ее хотели в легкую упряжку, без дуги, а она привыкла к березовым оглоблям, к дуге. И бьет, и вертится, не то оглобли вырвет, не то на жопу сядет. Такая неровная лошадка. А ее хлещут к тому же. И как овсеца-то все только обещают. Нет, мне не смешно. Мне больно за народ. Он не виноват. Он так много и теперь терпит. Только все трудные экзамены ему закатывают: то держали на месте тысячу лет, с завязанными глазами, то сразу сняли повязку, открыли свет на сто дорог, и по какой надо — не могут указать. Да еще по итало-англо-санскритски с ним разговаривают. Ничего, крепки копыта у коня. Отлягается и найдет «свою» дорогу. Верю крепко, что найдет, и напрасно иные пророчат какую-то гибель... России. Не Россия погибнет, а те, кто Руси не знает, а идут к ней с заграничной меркой, с выспренными болтунами, из коих вылупляются сплошные кукиши.

Сейчас у нас свобода «холостая», наскоро. Русь себя добудет, собьет крепкую и настоящую свободу, но сами, не на ходу, а пораскинув умом, с развалочкой. И не «мануфактурную» свободу, от фабрики, а вольную, с чистого воздуха. Такая свобода будет, м/ожет/ б/ыть/, еще лет 30—40 коваться, но уж и выкуется. А это налет, легкая позолота, слетающая от первого ветра. Недра еще не готовы. Смотри на Францию. Ей с 1789 г. потребовалось более 80 лет только подойти к свободе. Ибо декларация прав так и оставалась декларацией — для созерцания. Ну, довольно. Погода у нас — дожди. Тепло: +15. Мама купила тебе на брюки темно-зелено-синего. Время для меня идет ужасно медленно. Желудок лучше. Сплю. Но сны все какие-то несуразные. Стосковался по тебе. В санитарном поезде могу доехать только до Киева. А там... Да, все неспокойно сейчас. Мама тревожится, если поеду. Пока не решил. Надо, чтобы выяснился политич/еский/ горизонт. Что-то Петроград... Там тревожно, слыхать. Я жду, жду, жду тебя. Не может все это долго продолжаться. Войной утомлены все союзники — наши и вражеские. Дорогой мой, опять молю — береги себя. Будь вдумчив, ровен, помни всегда, что у тебя мы, что ты должен жить в новой России, творить жизнь. <...>

Ну, Христос с тобой. Будь благополучен. Пиши, мой светлый славный мальчик. Мой Серьга.

Твой папа Ваня.

Я не бреюсь, бросил. До твоего приезда. Папа.

Бабушке напиши! Москва,
Мал. Полянка, 7, кв. 7.
Мое рождение 21-го — имей в виду.
Надо писать числа 10—11-го.
Пришлю новую книгу.

1.9.1917.

Вот и сентябрь на дворе, милый мой Серьга. 171 день, как мы расстались 14 марта. Такой далекой разлуки не переживал я еще. Твое последнее письмо было от 19-го числа. Получили 30-го. О Господи! Ты пишешь о стрельбе. Нет, я не хочу воображать, я отмахиваюсь. Кошмар все это, подлый сон. Неужели ты до зимы не сможешь приехать? Но это ужасно. Зима. Но ведь до нее еще 3 месяца. Ты, конечно, уже узнал о корниловской затее. Да, конечно, эта попытка противогосударственна. Я не употребляю слова контрреволюционна. Конечно, она и контрреволюционна, если стать на точку зрения (конечно, верную) демократического уклада, но она прежде всего — противогосударственна. Когда все силы нужны для устроения расхлябанной жизни, для укрепления и улучшения жизни на фронте, когда мало-мальски начинала находить жизнь приблизительно верную дорогу — в это время поднимать восстание!? Призывать брат на брата! Даже с точки зрения противников демократического уклада это должен быть неверный и постыдный шаг. А с точки зрения слоя разумно-демократического, к коему я примыкаю, — это шаг вреднейший и жестоко-ошибочный. Это только на пользу немцев — раз. Это только во вред интеллигенции и культуре, ибо крайние элементы сейчас не с Корниловым соединяют защиту буржуазии — всего слоя, что близок к культуре. Недаром уже раздаются голоса — натравливают на «буржуев». Ведь многие еще д/о с/их/ п/ор/ смешивают в одну кучу с врагами народа и друзей его, нашу интеллигенцию. В наше время — да и ни в какое нельзя двоиться, с народом или против него. Но всякий честный человек, глядящий в свою совесть, должен сказать, памятуя историю, — конечно, с народом и для него. Только говоря и думая так он должен быть самим собой. Не нарушать своего мира, и если в душе носит нет, не говорить да. Что я этим хочу сказать? Не стремиться потакать дурному, а стараться, будучи истинно демократичным, вводить в жизнь формы действительно нужные. Объяснять, говорить истину, прощать дефекты, памятуя о темноте. Помни одно: народ века был обездолен и загнан. О нем не заботились. На него смотрели, как на удобный материал для себя. Не мы с тобой. Мы с тобой в этом, думаю, неповинны. А народ — миллионы, так же, как и тысячи «чистых» господ, хочет человеческой жизни. Помни это всегда. Это право народа. И теперь он это постигает с каждым часом. И никто не сможет (да и не властен) отнять у него его право. Верно, он, м/ожет/ б/ыть/, еще не имеет нужных ему и великих руководителей на пути устроения своей жизни, не верном пути, или этих руковод/ителей/ мало, — но его цели в основе вполне законны. Надо только задуматься над этим. Почему Иван Миронов какой-нибудь хуже какого-нибудь Ивана Афанасьевича, сжирающего икры на 100 цел/ковых/ в месяц? Это, конечно, грубый пример! Но личное достоинство — это первое. Но облегчение жизни для Ив/ана/ Мир/онова/ — это необходимо. Значит, нужно только разумно и беспристрастно начинать перестройку жизни на основах равенства, не разрушая сложной машины жизни. И для этого нам

всем внушать себе — сам перестраивайся, забудь свои дурные навыки, если они были (в тебе нет, конечно нет, — ты юный и здоровый малый), и помнить Великий Закон, Евангелие. Там вся чудесная правда. Надо помнить, что мы все братья на земле, все слабые и все наклонны к возвеличиванию себя. А Корнилов, думается мне, — не без дурных влияний со стороны отд/ельного/ класса. Слишком много шкурных крупных интересов затронула революция. Но ты, мой мальчик, человек нового века, демократического. И ты, вдумавшись, уже сделал выбор. О, сколь славно и почетно быть верным борцом за общенародное, на стороне обиженных жизнью. Вспомни только славные имена Гарибальди, Линкольна, Вашингтона, Д/окто/ра Гааза, лучших наших идеалистов-общественников! Не надо поддаваться на лживо-себялюбивые крючочки: дескать, хотят быть хозяевами жизни! Да, и они правы. А в чем неправы — они сами поймут, надо только идти к ним открытым сердцем. Много отрицательного в народных стремлениях, да, но еще больше его в эгоистических жестах имущих классов. Грустно, что борьба идет за блага и вещественная. Но иначе и быть не может. Надо уметь смягчать борьбу. А наши имущие классы несомненно на это неспособны, за редчайшими исключениями. Ты и я неимущий класс, нам с тобой легче. Ну, дорогой, разговорился я. Помни, что ты из слоя демократии-интеллигенции. Борьба народа за свои права — это борьба и за твои. Мы неимущий класс. У нас только голова да руки. Мы интеллигенция-пролетарии. Если бы ты вспомнил, как приходилось мне биться в жизни. Ведь меня жизнь эксплуатировала. Я за гроши давал уроки. Как мы жили! Только теперь стало легче, когда жизнь на большую половину прожита. Помни, что ты сын русского писателя, голого русского интеллигента. А русскому интеллигенты из разночинцев, из мещан, из класса мелкобуржуазного, всегда по дороге с народом, только с демократией. Твои предки — мужики. Мы с тобой крови народной. Мы народ не давили. За народ, за лучшую будущую равную для всех Россию. Пожми трудовую руку. Пусть и твоя рука будет честная, трудовая. И помни — надо уметь полюбить народ. И надо уметь извинять ошибки. Милый мой мальчик. Я верю в тебя и в твои побуждения. Они д/олжны/ б/ыть/ чисты. Все люди рождаются одинаково голыми. И надо, чтобы они имели все приблиз/ительно/ равное участие в благах. Об этом всегда мечтали лучшие сыны человечества. И жертвовали жизнью. Не для своих интересов. Вспомнишь — и легче становится и извиняешь многое.

Новости? Никаких особенно. Жизнь трудна. Еды мало. Что запасли — съедим помаленьку. Сегодня пешком прошел туда и обратно, в книгоиздат. Получил ли газету с моим очерком? Твои погоны еще не готовы — забастовка была. На штаны купила мама. Рубашка готова. Ждем Валясика. Получил от Нори письмо — был бой и газов/ая/ атака. Отбили. Около него, в неск/ольких/ шагах, разорвался снаряд 6-д/юймовый/. Чудом спасся. Ужасно все это. Не поднимайся на шаре. Говорят, что шар посыпают чем-то с нем/ецких/ аэропланов, и он вспыхивает. Наблюдатели могут только на парашютах спастись. Был такой случай под Ригой. И у вас есть парашюты? Это ужас. А имеются у вас противогазы? И зачем тебе непременно светлые погоны? Им сверху видно по блеску. Напиши, как у вас прошла «корниловская махинация». Ты не давай Валясику денег на билет. Ведь, я думаю, он может по лит/?/ ехать. А то это теперь оч/ень/ дорого. И не пускай на долгое время, а то у нас насчет еды туго. Чай, кофе нужны? Грязное белье пришли — выстираем. Шубу — починим. И белье. А мы тебе гостинчику припасля. Мыло какое? Да все опиши. Ну, крепко тебя целую всего. Твой вечно папа Ваня.

С землей дело двигается. 30-го получил/ил/ телегра/мму/ из Алушты — сделка совершилась. Мама с ней и благословляет. Будь благополучен. Не дождусь, когда увижусь. Напиши письмецо бабушке.

Твой папа Ваня. **Ив/ан/ Шмелев.**

Скоро мы будем соседи-именинники. Не забудь меня поздравить!

Пиши, не забывай.

Как от тебя письмо — у меня на душе светлеет. Будь сознателен, ровен, вдумчив, береги себя и т. д.

Не ходи открыто. Помни. Мне еще хотя год-другой пожить добрыми, семейно близкими на земле друзьями. У меня ты один да мама.

9.IX.17 г.
Суббота,
10 часов вечера.
Москва, М. Полянка, 7, кв. 7.

Здравствуй, дорогой сынка, Серьга! Получил от тебя вчера письмо от 30 августа, где ты рассказываешь, как бываешь у старш/его/ батальонного (скажи ему от меня — привет его сединам), как ходил в гости к соседним частям. Спасибо за письма. Это как праздник, и легче, когда получишь письмецо. И спасибо, что теперь всегда пишешь число. Без числа — даты — письмо не письмо, а записка, неизвестно когда написанная. Да, уж наступают холода. Я верю, что война скоро окончится. Верю! Почему? Не знаю.

Наша жизнь... О, радостного нет. Жить все трудней. Скверно, что страшно трудно доставать масло. Мясо — плохо. Да его как-то уже и не хочешь. Привычка уже. Понимаешь, — хоть бы, например, в Тверской губернии, где его мало едят. Ржаная мука доходит до 60 руб. за пуд. По 1,5 рубля фунт! Каково! Земства скоро прекратят выдачу жалования, ибо платежи поступают плохо. Неопред/еленное/ положение землевладения. Как положение Вр/еменного/ Прав/ительства/? Да неужели вы не получаете газет?! Сейчас положение особенно остро, ибо большевизм забирает силу и вовсе не желает считаться с планами и мероприятиями Временного Правительства. У нас, естественно, должно быть коалиционное правительство, представляющее и рабочую массу, и крестьянство, и цензовый класс (промышленники, торговцы и землевладельцы). Это единственно то, что отвечает действительному соотношению сил в стране. За это стоит и Временное Правительство, и партии, все партии, за исключением большевистской фракции и социал-демократической. Но современное состояние, настроение столичного рабочего класса таково, что за большевиков большинство. И в Петроград/ском/, и в Московском Сов/етах/ солд/атских/ и кр/естьянских/ депут/атов/ верх взяло большев/истское/ течение. Президиум Петроградского Сов/ета/ ушел (Чхеидзе, Дан и пр.), люди наиболее государственно направляющие демократию. Что будет — покажет Демократическое Совещание, созываемое Советами 12-го сентября. Большевики против Керенского, против коалиционного правительства. И вообще вся демократия против вхождения в состав Временного Правительства членов партии кадетов. Эту партию обвиняют в сочувствии, чтобы не сказать более, корниловскому выступлению, может быть, демократия и права. Она и боится контрреволюционных выступлений. Следствие еще не окончено. Во всяком случае, как ни оценивай, выступление Корнилова я считаю несомненным посягательством на завоевания революционного народа. М/ожет/ б/ыть/, Корнилов и честный человек, в этом я уверен, но честность и патриотизм — одно, а полит/ические/ симпатии — другое. Сейчас борьба народа, всего народа, за право на лучшую жизнь. Народ — это Россия. И выступать против народа — преступление. Надо уметь налаживать жизнь, надо мудро руководить силами государства, не переть на рожон, это только увеличивает смуту, к чему и привело выступление Корнилова, вполне естественно вызвав страшную тревогу и толкнув наиболее нервозные части

рабочих в крайнюю левую, к большевизму. Возможно, что Корнилов пошел навстречу желанию Временного Правительства поддержать его против поднимающих голову большевиков. Но, может быть, не совсем верно понял его желание и себя представил в глазах демократии — противником революции... Тут в этом деле пока много неясного. Но, дорогой, надо знать историю. То ли еще бывало! Мои симпатии на стороне демократии, народа, но я, конечно, всецело стою за коалиционное правительство. Керенский — государственного склада человек. И если он уйдет — будет ужасно. Думаю, что все разрешится в политическом отношении благополучно. Вр/еменное/ Прав/ительство/ сконструируется. Но наша жизнь, жизнь России несладкая и после страшных всякого рода потрясений будет, м/ожет/ б/ыть/, полвека хиреть. На положение вещей я, как государственник, а не утопист, смотрю очень мрачно. Кризис летит на нас со скоростью экспресса. Многое сметет вихрь разрухи экономической. И лишь бы скорее развязался узел войны. Как устали. Рига... Это неважно в сравнении с кризисом власти и жизни. Мчится вихрь, я чую. Сметет многое и многих. И как бы я хотел быть рядом с тобой, детка! Все культурные ценности и новая свобода, свобода и право на лучшую жизнь для всего народа — в опасности великой. Да будет жива власть Правительства, ставленника революции. Если уж эта власть пошатнется — все пропало. Большевизм, эта политическая крайность, не совладает с анархическими силами жизни. Руководители большевиков слепы государственно. Для проведения идеалов нового республик/анского/ строя в жизнь — нужна страшная любовь к родине, к народу в целом, а не к отд/ельно/ только классу. Это слова Монтескье. И они глубоко верны. Нужна великая осторожность в шагах управления, чуткость и способность всех классов на жертвы во имя свободы и счастья родины. Большевизм — утопия. И он лишен выдержки и широты. Это партия бурного темперамента. А с темпераментом, да еще с бурным, жизни не наладишь. Наше дело, дело всех граждан, стоять за права, за свободу и за счастье народа, беречь завоеванную свободу, вырванную у кучки деспотов, угнетавших и губивших Россию. Народ имеет право охранять завоеванное всеми силами и имеет право требовать охраны. И это право он передал правительству, поставленному им и из его среды. Но, конечно, одна партия (тем менее одна фракция партии большевики) не может диктовать свою волю всему народу. А этого и добиваются большевики, не замечая, что темные силы реакции, как воронье, только и дожидаются их победы, а затем и анархии, чтобы накинуть узду, когда глаза будут застланы кровавым туманом. А масса, чуя разруху, особенно продовольственную, не знает уже, где облегчение, и вполне понятно, бросается и за большевиками: ведь кажется, все средства испробованы, — и м/ожет/ б/ыть/, эти выведут на дорогу?! Вот каково сейчас полит/ическое/ положение, вернее, настроение широких масс, гл/авным/ обр/азом/ рабочих. Теперь жизнь уже руководится не разумом, а эмоциями и гл/авным/ обр/азом/ инстинктами животного свойства. И понятно: общее экономич/еское/ потрясение велико. Много денег, но нечего купить, да и что и есть — дорого зверски. Да и нервы измотались войной вдоск: с таким положением и более культурная нация не справилась бы. «Упустишь огонь — не потушишь», а огонь полыхает, страсти взбудоражены. Нарыв назрел и вот-вот прорвется. Будем желать одного: чтобы не было гангрены. Из великих потрясений если выйдет Россия — оправится и будет сильна. Великая народность не погибнет. Но мы ведь смотрим своими маленькими глазами, подходим с меркой своего времени и своего ограниченного существования. И потому нам не может быть не страшно. И мне страшно. Я, как человек, хочу, чтобы все скорее кончилось, чтобы и я видел новую Россию, новую возрожденную жизнь.. Так-то, мой Сергейка. И особенно я хочу скорей, скорей видеть тебя. С тобой мне было бы и не тяжело так и не страшно. ⟨...⟩

11.9.1917.

Дорогой мой Сержик, славный парень!

Сегодня получили пару писем от тебя, я и мама. Очень рад, что тебе приятно посвящение. Книга в печати (5000 экз.), по 3 р/убля/, и уже первые 4 листа отпечатаны, и уже значится на 1-м листе моей повести «Лик скрытый», — вверх, вправо, курсивом крупно — «Моему сыну». Это первое. Второе: одновременно с твоими письмами мне принесли письмо из Алушты, где старичок Ив/ан/ Мих/айлович/ Белоусов уведомляет меня, что (обрываю, сейчас 11 ч. 40 веч/ера/, ужин, и мама зовет пробовать какую-то рыбную солянку-консервы, баночка 1 р. 40 коп... пока... приятного аппетита, да?) ⟨...⟩

Я не могу работать, не варит голова. А вот завтра начинается в Питере демократич/еское/ совещание. Представители Советов, Дум, земств, партийных организаций. Это совещание хочет занять место Госуд/арственной/ Д/умы/ при правительстве, которое сконструируется из неизвестно каких партий. Демократия прочит кадетов, но большинство демократ/ических/ организаций стоят за коалиционное пр/авительство/, т. е. состоящее из социалистических и цензовых элементов. Но раз кадеты не приемлются, то кто же из имущественного класса? Знак вопроса! М/ожет/ б/ыть/, сойдутся на отдельных лицах, независимо от их партийности, так сказать, персональная коалиция. Если же не сойдутся, то м/ожет/ б/ыть/ буря. Могут большевики попытаться захватить власть, и Россия должна будет найти себя сама, как не партийное, а народное целое, — свою форму правительства, чтобы дождаться в более или менее госуд/арственной/ форме — Учредит/ельного/ Собрания. Помни одно: с народом, а не с какой-либо одной, узкой партией. И теперь, как мне и всегда ясно, что широкая и глубинная, истинно народная, всенародная, в интересах самых широких народн/ых/ глав политика — истинная. Но на почве закона, права. Помещики, крупный капитал — это не наша с тобой партия. Мы, труженики, мы те же рабочие, без фонда, только с руками и головой. И если твой папка после четверти века работы и смог приобрести 300 саж/ень/ да свои книги, так это только потому, что посл/едние/ 10 лет работал как представитель высшего, квалифицированного труда — искусства художеств/енного/ слова, и притом, должно б/ыть/, представитель талантливый. А большинство ни гроша не имеет, если не занимается эксплуатацией кого-либо. А я, как тебе известно, эксплуатировал только свою голову да машинку. Напротив, меня-таки эксплуатировали! Помнишь, мне за «Человека из ресторана» сам господин Горький заплатил всего по 150 рублей за лист, когда, будучи в 1/2 меня по дарованию, огребал по 1 000. «Человек» теперь выходит 3-м изданием, 9—15 тысяч. Платят мне и теперь немного. Но... наша работа не хлеб, не так и важна. Но я-то могу в день написать стр/ок/ 700 и получить 400 рб. И это только потому, что мой труд еще находит спрос. Еще голова моя варит. Еще умею. А то бы швырнули твоего папку — подыхай! Чем мы не пролетарии?! Но погоди — у меня есть мои книги, мои авторские права. На них моя марка. Стой! Зубами не вырвешь моих крепких работ. Их будут читать еще годы. А м/ожет/ б/ыть/, и десятки лет. «Деуса», напр/имер/. И это все — мой труд. И он — не насилие как/ого/-ниб/удь/ брюха того буржуа, который ничего не создал, кроме того, что при посредстве оплаченных помощников и скопленного такими же отцами (впрочем, эти отцы много и

сами, во всяком случае, насильничали) капитала выкачивает из труда, м/ожет/ б/ыть/, даже не видя своего предприятия или своих имений, — новую силу, прибавочную стоимость, выработанную для него одного тысячами работающих на него людей, которые именно эту-то стоимость с него не могли получить. Да, детка. Много в жизни неправды. Многое в ней создано насилием власти и силой имущих. Надо знать это. Но ты узнаешь. Ведь все в нашей жизни: и устои, и законы, и формы, и мораль, и религия, и даже (о, позор) наука, и даже (о, еще худший позор) иные формы искусства — созданы под влиянием сильных, имущих классов. Они, эти классы, выработали свою идеологию. И эти войны проклятия, где страдальцами являются, в главной мере, классы неимущих, — плод идеологии и стремлений захватывающих классов (имущих). Это для меня бесспорно. Да и наука часто шла им на помощь. Чаще невольно. Она давала им средства могучие — для усиления. И вот мы видим: теперь Воскресение, революцию. Классы — миллионы открывают глаза, печальные свои очи, и спрашивают: «А мы? Доколь же, Господи?!» И вот почему они, эти неимущие, замордованные в тысячелетиях, вопиют — не смей! Взволнованы, если висит угроза, что революция погибнет. 〈...〉 Потом все уляжется, и чувство жизни, самосохран/ения/ подымется. Да и искусство часто служило, потакало имущему классу, увеселяло, раздражало плоть. Это низшее, не святое искусство. Оно мне было всегда чуждо. Оно не будило высокие чувства, не призывало к небу и правде. Всякое подлинное искусство было глубоко демократично, общечеловечно, всечеловечно: Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, Короленко и мн/огие/ др/угие/. Не можем работать, а? что, упрекнешь? Вот, может быть, потому-то меня и любят, если любят. Мне это дорого. Возьми «Человек из ресторана», «Росстани», «Лик скрытый»... и мн/огие/ др/угие/... Кто и что в моем искусстве и куда зовет? Ну, детка? Так вот я и думаю, что ты понимаешь меня и видишь, на чьей стороне твой папка и на чьей стороне д/олжен/ б/ыть/ ты. И ты со мной, да? С моими героями? Ведь так, мой славный мальчик? Ты еще многое должен узнать и о многом должен подумать. А если видишь многое не таким, каким желал бы видеть, так прежде всего подумай, а не слушайся первого крика чувства раздражения.

Будь благополучен. И многое претерпи. Истина на нашей стороне, у народа. Ну, Христос с тобой.

Целую. Твой папа Ваня.

Шульгин о Ленине

Василий Витальевич Шульгин, безусловно, человек незаурядный. Не только как думской оратор и идеолог белого движения, но и как писатель. В эмиграции он издал мемуарные книги «Дни» и «1920». Это не только пристрастное свидетельство участника о революции и гражданской войне, но и превосходная русская проза. А в 1927 году вышла его книга «Три столицы», описывающая тайное путешествие автора по СССР, предпринятое в 1926 году при содействии подпольной монархической организации «Трест», в действительности оказавшейся филиалом ОГПУ. Интересно, что перед изданием Шульгин передал свою книгу для цензуры руководству «Треста», а фактически — тогдашнему руководству советской тайной полиции.

В этом году «Три столицы» переиздало московское издательство «Современник», имеющее немалые заслуги перед отечественным читателем, не раз открывавшее новые имена в нашей словесности или возвращавшее давно забытых или запрещенных писателей, в том числе и знаменитые книги «Дни» и «1920» того же Шульгина. На этот раз, правда, было оговорено, что издательство «считает необходимым опустить некоторые наиболее грубые и оскорбительные выражения в адрес Владимира Ильича. К тому же сам автор, по свидетельству людей, хорошо знавших его, впоследствии сожалел о своих бестактных высказываниях». Что ж, Шульгин действительно относился к Ленину как к злому гению России и в выражениях на его счет не стеснялся.

Заглянем в первое берлинское издание книги Шульгина:

«Я поднялся еще выше и взял к Михайловскому монастырю. Вот знакомые, старого, волнующего рисунка ворота в Михайловское подворье. Над воротами, где раньше была икона, в рамке сосновых ветвей торчит богомерзкая рожа Ленина.

Тьфу!

За эти штучки заплатите вы, господа хорошие! 〈...〉

А люди, когда «всю, всю, всю» торговлю уничтожили и явственно увидели, что «всем, всем, всем» придется подохнуть, тогда великий Ленин «изрыгнул» гениальное слово:

— Учитесь торговать!..

• • •

Умри, Косьма, лучше не скажешь... 〈...〉

1. На словах они продолжают утверждать, что они несут миру социалистический рай. А все это нынешнее — только временное, и что поэтому они не «сволочь», а спасители мира, SOS'ы.

2. На деле (в России) они, увидевши, что грабить больше нечего, стараются вернуться к устоям старого мира. И поскольку это им удается, они из уголовной сволочи превращаются в фашистов. 〈...〉

В этом все различие Белого и Черного (сиречь — Красного). Белое говорит: смиритесь, не считайте себя богами; смиритесь, оглянитесь, дайте себе отчет, на какой ступени естества вы находитесь; не требуйте большего, чем вы заслуживаете, но старайтесь, начав с той ступени, на которой вы стоите, идти вверх; всегда вверх, никогда вниз! Вам доступно все. Вы можете подняться на всякую высоту, ибо созданы по образу Божию и подобию.

А Черное (Красное тож) проповедует: Бога нет, но вы все сами суть боги, которым все дозволено. И как только люди поверят, что они действительно боги и что им все дозволено, они немедленно превращаются в скотов, над которыми Черные и властвуют.

Белые — учителя, строгие по необходимости; Черные (Красные) — скотовладельцы...

Это все пришло мне в голову в течение десяти минут после часа. Это я подумал вследствие того, что мои контрабандисты выучились точности, которая есть альфа дисциплины. А дисциплина есть альфа порядка. А порядок есть альфа силы, а сила есть альфа добра. Ибо бессильное добро не есть Добро. Истинное добро предвечно побеждает, как Бог предвечно побеждает Диавола. 〈...〉

— Ах, это могила Ленина?

— Так точно. Весьма удачное архитектурное произведение и, главное, весьма подходящее ко всему стилю этой эпохи. Это то, что первым делом разнесут в щепы, когда..

— А вот я бы этого не сделал! Наоборот. Я бы оставил его на вечные времена. Но с соответствующей надписью, конечно... В ней было бы сказано примерно: «Здесь похоронен Ленин (Ульянов). Этот человек казнил столько-то людей всех состояний и уморил голодом столько-то миллионов русских крестьян. Это они сделали, чтобы насадить социализм. Работал он, главным образом, при помощи евреев, которых очень любил. Но социализма ему устроить не удалось, и в конце жизни он отрекся от своего учения. Он даже потребовал от всех своих помощников, чтобы они учились торговать. Евреи, которые всегда торговать умели, с превеликой охотой этот приказ выполнили. Затем Ленин, давно болевший сифилисом, сошел с ума и умер от прогрессивного паралича 8—21 января 1924 года. Его набальзамированное тело, равно как и сие здание, сохраняется как память о величайшем человеческом безумии — в назидание потомству».

Да, так бы я сделал, а не разрушал бы этот мавзолей. Ибо этот сумасшедший дом уже стал частью русской истории, и было бы в высшей степени невыгодно, если бы тяжкий урок, преподанный нам через сего венерического Чингисхана, пропал бы для будущих поколений даром».

Это лишь часть сделанных купюр. Конечно, звучат они крайне резко, но ведь именно таковы были реалии и умонастроения тех лет. Тем более что у потомков остается право на свои комментарии к сказанному.

БОРИС СОКОЛОВ,
кандидат исторических наук

Познание России

Весь жизненный путь великого русского ученого Д. И. Менделеева убедительно подтверждает правильность слов, сказанных М. А. Осоргиным о русских, которые «отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общих». И действительно, Менделеев известен не только как создатель Периодического закона химических элементов и фундаментальных «Основ химии», но и как автор статей и редактор отдела универсального Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, целого ряда работ по вопросам экономики, образования, организации промышленности и сельского хозяйства. Незавершенной осталась книга, первая часть которой вышла под названием «К познанию России». Ее автор справедливо указывал, что «познание России требует данных, относящихся не только к ней самой, но и к другим странам». И все же наибольшее внимание ученый уделял изучению своей Родины, он был убежден, что «богатства и вся сила народная будут определяться умелым сочетанием индустрии с сельским хозяйством». Отмечая особое положение России, «стоящей между молотом Европы и наковальней Азии», Менделеев указывал, что путь, который предстоит пройти стране, «не должен отрицать прошлого, потому что ветхие пути привели к современности, а из нее выскочить нельзя, как нельзя идти обратно и неразумно предоставить все дело случайности». Как своевременно звучат эти мысли сейчас, когда Россию (в который уже раз!) пытаются любой ценой перебросить в чуждое ей и неведомое никому «светлое будущее», только теперь уже не коммунистическое, а антикоммунистическое!

Небольшая по объему книга избранной публицистики Д. И. Менделеева «Границ познанию предвидеть невозможно» включает, конечно, только фрагменты из известнейших работ «истинного сына России». Интересна же она прежде всего тем, что заставляет еще раз прислушаться к аргументированному мнению внимательного исследователя прошлого, глубоко верившего, «что у России еще многое впереди, что она еще и ныне — «молодое» государство».

М. СКОРОХОДОВ

Д. И. Менделеев. ГРАНИЦ ПОЗНАНИЮ ПРЕДВИДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО. Сост. и вступит. ст. Ю. И. Соловьева. — М., Советская Россия, 1991 (Публицистика классиков отечественной науки).

Народные сокровища

Нам еще на века хватит одних переизданий книг дореволюционной России и Русского Зарубежья. И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что более полувека мы были отрезаны от собственной культуры, знали ее в препарированном виде, подогнанной под идеологические догмы марксизма-ленинизма, теорию двух культур, наследие революционеров-демократов.

Все это касалось не только явной или скрытой идеологической крамолы вроде «Вех» или же их продолжения — сборника «Из глубины», с которых, собственно, и должно было бы начинаться наше постреволюционное самосознание, но и вещей, казалось бы, вполне нейтральных, не имеющих прямого отношения к партийным догмам. Ну, какая опасность таилась, например, в фольклоре? Почему, спрашивается, народная культура была, по сути, отторгнута, растоптана?

Да потому именно, что «новая историческая общность» не должна была иметь никаких исторических корней, никакой исторической памяти, никаких исторических вех, кроме одной, что все мы — «родом из Октября». Остальное — лишь темное прошлое, лишь патриархальщина, лапотная Русь, идиотизм деревенской жизни..

Зачем новому человеку нужны были далевские «Пословицы русского народа» и далевский «Словарь живого великорусского языка»? Зачем ему «Сборник Кирши Данилова», о котором «западник» Белинский сказал: «Эта книга драгоценная, истинная сокровищница величайших богатств народной поэзии, которая должна быть коротко знакома всякому русскому человеку, если поэзия не чужда душе его и если все родственное русскому духу сильнее заставляет биться его сердце». (Многие ли из наших современников имеют в своих библиотеках эту книгу!) Зачем другие такие же сокровищницы, если нам сызмальства вдалбливалась мысль не о богатстве, а о бедности, убогости народной жизни? А здесь все оказывается наоборот — величайшие богатства и поэзии, и музыки, и народного зодчества (вспомним легендарные Кижи!), и народной философии, народной этики. Всего того, без чего ныне немыслимо ни духовное, ни экономическое возрождение России.

«Собрание народных песен П. Н. Рыбникова» переиздано в Петрозаводске, в том самом городе, где сто тридцать лет назад ссыльный студент Петербургского университета Павел Николаевич Рыбников открыл «Исландию русского эпоса». Но исландские саги были записаны в XII веке, а русские былины в XIX. И записаны не в литературной обработке, переложении, как Старшая и Младшая Эдда, как Песнь о нибелунгах, Песнь о Сиде, Песнь о Роланде, а в живом исполнении.

Уверен, что каждый, кто стал обладателем этого третьего (всего лишь третьего!) издания «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым», не просто пополнил свою библиотеку, а и обогатил свою душу.

В. КАЛУГИН

Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3-х томах. Под редакцией Б. Н. Путилова. Издание подготовили А. П. Разумова, И. А. Разумова, Т. С. Курец. — Петрозаводск: Карелия, 1989—1991.

Встреча на росстани

На литературном горизонте России появилось новое издательство — «Талицы».

В отличие от многих нынешних издательских «контор», специализирующихся на тиражировании порно-детективной литературы, «Талицы» намерены продолжать традиции русских книгоиздателей Сытина и Суворина. Работать в направлении духовного исцеления русского народа, подлинного его просвещения. Новинкой издательства стала повесть Василия Тишкова «Встреча на росстани», вышедшая в приложении к журналу «Витязь».

Автору удалось найти свое, не похожее ни на чье слово. Его книга — это книга о настоящих людях, идущих к своему счастью, о любви к Родине, к женщине, о любви к жизни, к людям. С первых же страниц погружаешься в почти забытый русский язык, богатый красивыми витиеватыми словами, мудрыми приметами, смачными поговорками и прибаутками. Мягкая, несуетная проза Тишкова приводит нас вместе с главным героем Ильей Труновым по раскисшей от осенних дождей дороге в небольшой бревенчатый домик на росстани. Это, по примете, полузаколдованное место, на котором стоит временный приют и пересекаются пути многих людей. Волей судьбы сюда попадают на ночлег три человека, застигнутые в дороге сумерками: Илья Трунов, молодая продавщица Найденка и дед Силан. Жизни этих людей во многом переплетены между собой, и приходит время подвести определенный итог. То в пылу непримиримого злого спора, то в полудреме вырываются из глухих тайников памяти горящая мельница, подожженная стариком, и давняя обида, нанесенная Силану отцом Трунова. Много что произошло за эту ночь, пожалуй слишком много, будь то хрупкие, только начинающиеся отношения между Труновым и Надей или длинный, страшный разговор со стариком, после которого стало ясно, что вдвоем им под одним небом не ужиться. Нейтрального исхода после встречи на росстани быть не может, слишком разные характеры, разные миры схлестнулись между собой, доведенные до критической массы. И поэтому горит дом, подожженный Силаном, да и сам он здесь неподалеку, задушенный вожжами своей лошади, которая вдруг понесла, испугавшись пожара. Тут же рядом чудом спасшиеся из огня Илья Трунов и Найденка. Так вся история подходит к концу, у кого к логичному, у кого к счастливому. И только немного жаль старый дом на росстани: «Не строят сейчас на полевых токах и росстанях деревянные дома. Отжили они свое, исчезла на скоростных большаках необходимость временных приютов».

Хочется думать, что книга Василия Тишкова найдет своего благодарного читателя.

А. ШЕЛИХОВ-РЖЕШЕВСКИЙ

В. ТИШКОВ. ВСТРЕЧА НА РОССТАНИ. М.: «Талицы», 1991.

ИСКУССТВО

ГРАФИКА. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА.

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР

Душа и космос

С тех пор как считавшаяся до недавнего времени ортодоксальной теория «зеркального отражения» обнаружила свою несостоятельность, интерес к глубинным основам художественного творчества приобрел особое значение. Естественно, здесь не обошлось (и до сих пор не обходится) без псевдонаучных спекуляций, из которых больше всего «везет» различного рода «биологическим» подходам, в частности — фрейдизму. Большим шагом вперед явилась «Аналитическая психология» швейцарского психиатра К. Г. Юнга (1875—1961). Он доказал, что чем ближе творческое сознание к коллективным (общечеловеческим) прообразам (Юнг назвал их архетипами), тем оно органически многозначнее и бесконечнее по своему богатству. С этих позиций К. Г. Юнг исследовал творчество Гете («Фауст»), музыкальные драмы Рихарда Вагнера и других гениев. Изобразительное творчество пока осталось в стороне. Впрочем, не исключено, что К. Г. Юнг работал и в этой области, так как он увлекался живописью. Но такие работы мне не известны.

Не будучи ни психологом, ни тем более психиатром, я не берусь предпринимать даже предварительные попытки в сфере аналитической психологии изобразительного творчества. Однако знакомство с живописными работами художника-врача Владимира Юрьевича Воробьева, как мне думается, позволяет внимательнее подойти к модной ныне теории «самовыражения художника» и отделить здесь зерна от плевел.

В дом в Хлебном переулке, где живет В. Ю. Воробьев, меня привел «московский слух» о необычных картинах, автором которых является не просто художник, но художник — доктор медицинских наук, автор двух сложнейших диссертаций. Это обещало нечто не рядовое.

В. Ю. Воробьев оказался увлеченным человеком, преданным живописи. Преданным не любительски, а вполне профессионально. В. Ю. Воробьев занимался в Строгановке, экспонировался на московских выставках так называемого «интерискусства», но, как это следует из природы «интерискусства», больше работает «для себя». Поэтому его квартира, являющаяся одновременно и мастерской, битком набита картинами. Они действительно оказались необычными. Невольно пришлось задавать вопросы.

В. Ю. Воробьев называет себя «художником влечения». И уточняет: «Интеллект, мысль мешает процессу живописи, и на главных стадиях работы приходится глушить его чем попало... Я не умею вербализовать свои картины, и, когда это делаю, люди говорят, что рассчитывали увидеть совсем другое, едва ли не противоположное... Мои картины никогда не имели названия, я не называл их даже для себя. Все, что подписано, сделано ретроспективно...»

Принимая во внимание этот «разговор художника с самим собой» (так он назван в краткой автобиографии) и сопоставляя его с увиденными мной полотнами, я прихожу к мысли, что перед нами вовсе не то, что легковесно принято называть современным авангардизмом, а нечто более глубокое.

Начну с тематики. Она привлекает своим внебытовым, я сказал бы, космологическим уклоном. Представляется, что В. Ю. Воробьева больше всего волнует (и вызывает влечение!) самая значительная тема: Человек и Вселенная. Действительно! Что может быть таинственней этой темы? Во все времена она владела если не сознанием, то интуицией самых тонких людей. Заметьте: не столько сознанием, сколько интуицией. Недаром же «метафоры и символы древности (в том числе и мифологические, религиозные) содержат в себе, если их расшифровать, больше информации о свойствах сознания, чем любая привязка наблюдаемого поведения к изменениям характеристик мозга». Я процитировал высказывание умнейшего философа нашего времени М. К. Мамардашвили, с которым нельзя не считаться.

Сказанное очень важно в том отношении, что позволяет (не касаясь вопросов гениальности или просто талантливости) подойти к проблеме «самовыражения» не с произвольно-индивидуалистической точки зрения, а со стороны единства сознания с подсознанием, а подсознания — с «миром вообще» (К. Г. Юнг). А это уже близко к концепциям современной философии Вернадского, Тейяр де Шардена, Мамардашвили, Налимова.

При первом знакомстве с живописными работами В. Ю. Воробьева испытываешь известную трудность: они не поддаются тому, что сам их автор назвал «вербализацией». Для меня все непонятное и «не вербализуемое» стало постепенно проясняться и осознаваться, как только я почувствовал, что начинаю подбираться к «расшифровке» не логически, а как бы интуитивно, с точки зрения самого глубокого уровня своего мироощущения.

Что человек ощущает на этом уровне? Согласно К. Г. Юнгу, человек живет на этом уровне предельно широкими (мировоззренчески), априорно возникающими прообразами, то есть — архетипами. На языке архетипов человек, тем более художник, писатель, как бы объединен с космосом (отсюда мифологизм древних), живет с ним единой жизнью, откуда рождается специфическое влечение к продуцированию этого единства.

Я предполагаю, что В. Ю. Воробьев и как человек (личность), и как художник чрезвычайно чуток к архетипическому восприятию Мира, когда тот или иной его образ возникает не в иллюзорной форме (что и породило уродливую теорию «зеркального отражения»), а как «изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы». Так Томас Манн определил суть мифа, а миф, как известно, родствен архетипу.

Переходя к работам В. Ю. Воробьева, повторю, что похожие на мифотворчество прообразы (архетипы) возникают у художника спонтанно, априорно, поэтому такое «интровертное» творчество не имеет ничего общего с искусственным «мифологизмом», которым злоупотребляют некоторые художники современного псевдоавангарда.

Перед нами полотно «Горизонт» (не забудем об условности названий). В. Ю. Воробьев работал над ним около трех лет (1984—1986), что полностью исключает случайность «влечения».

На полотне изображена слегка криволинейная полоса сопряжения «неба» (условно) и «земли». Ни на небе, ни на земле, ни на горизонте нет ничего добавочного (обломков, растительности, предметов). Горизонт полностью пустынен, как бы беспредметен, абстрактен. Но это никакой не абстракционизм, даже полная ему противоположность. Абстракционист тоже мог бы изобразить такую криволинейную полосу, закрасить верхнюю часть «под небо», а нижнюю — «под землю». Такое освобождение от предметности нисколько не вело бы к «высвобождению духа», как думал В. Кандинский. Наоборот, получилась бы полная бездуховность, поскольку такое «изображение» не содержало никаких ассоциаций, никакого архетипа. В этом трагедия В. Кандинского и иже с ним.

...Полоса яркого свечения на линии горизонта, многоцветно прописанное способом лессировок небо и даже затемняющаяся в «обратно-цветовой перспективе» земля. Картину «Горизонт» можно было бы назвать «Планета» или «Пространство», во всех случаях она воспринималась бы не как нечто отъединенное, отстраненное от человека, а как нечто Единое с ним.

Своеобразный вариант темы «Человек-космос» представляет картина «Пейзаж с черным солнцем» 1963 года (название тоже условное). Он может восприниматься не только космологически, но и духовно: как Анти-мир, Анти-свет, Анти-жизнь. Вспомним черное солнце, увиденное Григорием Меленовым в момент смерти Аксиньи. Разве это не архетип Анти-жизни?! Космический смысл архетипа черного солнца в творчестве В. Ю. Воробьева представляется более сильным, философским. Об этом говорит триптих «Вознесение».

Триптих включает «Распятие», собственно «Космос» и «Вознесение» (последнее — в двух вариантах). Над триптихом В. Ю. Воробьев работал тоже несколько лет, с 1987 по 1991 год.

Излишне говорить о том, насколько тема триптиха всеобъемлюща. Она включает не только христианскую догматику о Боговоплощении и спасительной жертвенности Христа, но антологический аспект вознесения Богочеловека на небо. Последнее особенно волнующе, поскольку, полностью удовлетворяя чувству верующего, вызывает у философа потребность в более аргументированном объяснении (реакция атеистов — не в счет). Первый ответ — это чудо. Но ведь чудо — это знак, поданный всем. Вера в его смысл — это реальность! Архетип такого представления должен был быть чрезвычайно активным, всепроникающим, даже безусловным, без чего невозможна и вера. Вместе с тем сугубо антропоморфическая форма Вознесения, конечно, несовместима с позитивистским сознанием, с ней могло мириться только христианское искусство. Можно ли быть уверенным в его истинности? Такой вопрос невольно возникает в свете современной философии, предполагающей не только спонтанность сознания, но и его возможность в виде полевого образования. В свете сказанного, архетип Вознесения вполне возможен если и не в полностью неантропоморфной форме, то в виде сведенного до предельного антропоморфного минимума «Духа Христа».

Итак, мне представляется, что В. Ю. Воробьев обладает способностью влечения к продуцированию архетипических «образов», не детерминированному логикой внешнего «дневного мира» (С. С. Аверинцев), а априорному, что объективизирует эти «образы» и сообщает им космический статус. Когда картина таким образом написана, то вполне естественно, что художник может испытывать своего рода деперсонализацию. Разумеется, что это нисколько не отражается на качестве.

Обратимся к работам В. Ю. Воробьева, не носящим прямых признаков космизма. Речь пойдет о так называемых фигуративных композициях. Они преимущественно однофигурны, так как индивидуальный образ, естественно, более непосредственно корреспондирует с психическим миром художника, составляя с ним одно целое и переливаясь через него в «вещное бытие» (К. Г. Юнг).

Я выбрал для анализа полотна: «Портрет молодого человека» (1957), «Женский портрет» (1981), и «Женщина с ребенком» (1983).

Из них лишь «молодой человек» изображен анатомически полно. Остальные модели представлены без рук, но так, что в изображении рук нет необходимости, так как перед нами не типы, а архетипы. И это придает им особую выразительность.

В интересном по цвету «Портрете молодого человека» запоминается острый образ интеллигента. Узкое лицо с большим лбом, тонкие руки, устремленный в пространство взгляд — все это в совокупности воспринимается как формула духовности, перед которой отступают на второй план вопросы индивидуальной похожести и т. п.

В еще большей степени это относится к «Женскому портрету», для формульности женственности которого (то есть архетипичности) не потребовалось даже изображения рук. И это тоже воспринимается как изначальная (подсознательная) цельность прообраза, неиспорченность его духовности различными «культурными наслоениями».

Намного труднее интерпретировать полотно «Женщина с ребенком». На нем представлена жена художника, но сразу видно, что момент сходства не играл решающей роли. Вернее, сходство есть, но это не индивидуализированное, а какое-то типологизированное сходство, имеющее более широкие, я чуть было не сказал — общечеловеческие, рамки. Сказать «общечеловеческие» означало бы подвести этот образ под весьма житейские представления о Матери, известные в мировой живописи под названиями «мадонн» и т. п. Любой из таких образов, даже знаменитая «Владимирская Богоматерь» — в основе своей имеет земное происхождение. «Женщина с ребенком» на полотне В. Ю. Воробьева — космизированный образ. Мать лишена всех житейских атрибутов, ее образ первороден, предисторичен (или праисторичен), совершенно выключен не только из бытовой, но и из биологической ситуации, так что для поддержания ребенка не понадобилось никаких рук. Ребенок (тоже лишенный всяких земных атрибутов) как бы плавает в пространстве перед матерью. Все вместе взятое снова заставляет вспомнить Платоновы идеи, «из божественного сознания перемещенные в бессознательное человека». Правда, я не могу утверждать, что В. Ю. Воробьев создавал свое произведение бессознательно. Думаю, что для него оно не утратило и свой «ценностный ореол», поскольку предметом влечения в данном случае был более чем общечеловеческий, а именно космический момент. Не случайно художник воспользовался только одним красным цветом. Идея материнства превращается в картине в идею продолжения рода, а эта последняя — в идею жизни вообще. Тем самым психическое переходит в космическое, что уже не раз отмечалось как свойство архетипов.

Возможно, я усматриваю в живописном творчестве В. Ю. Воробьева и нечто такое, чего в нем нет. Но в данном случае его интерес состоит не в том, что К. Г. Юнг назвал маской, а в том, что он назвал самостью, то есть — в безусловной наличности таких глубинных уровней психического мира, на которых «душа» переходит в «психею», а «психея» — в «мир вообще». Бесспорно — это самая перспективная область современной философии, а также и философии будущего.

Насколько такая перспектива реальна? Современная физико-математическая наука уже доходит до постановки вопроса о сверх-сверх-сверхмикромасштабных процессах, протекающих даже не в 4-мерном, а в 10-мерном пространстве-времени, что обещает более объективное понимание материи, поскольку стирает разницу между материальным и идеальным. В гуманитарной области эквивалентом этих усилий может быть углубленное изучение закономерностей интровертного архетипического творчества, остающегося пока вне внимания нашего искусствоведения. Живописные работы художника-врача В. Ю. Воробьева дают материал к этому. Так зачем же пренебрегать открывающейся возможностью? Этим, в сущности, и продиктована моя краткая статья.

См. 1-ю и 4-ю стр. обложки. Слайды картин предоставлены автором — художником В. Ю. Воробьевым.

●

СОДЕРЖАНИЕ

ЖУРНАЛА «СЛОВО» ЗА 1991 ГОД

Не дайте погибнуть «Экслибрису»

На том, что специалистам книжного дела нужен свой журнал, сходились все: руководители бывших Госкомпечати СССР, а потом и его преемника — министерства, главы недавно созданных ассоциаций книгоиздателей и книгораспространителей. Но в 1989 году была предпринята лишь попытка — вышел первый номер научно-информационного бюллетеня «Экслибрис». На этом дело и закончилось: то ли не хватило денег, то ли бумаги, то ли энтузиазма.

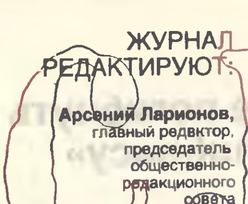
И вот новость — к концу нынешнего года появится «Экслибрис» № 2. Он задуман как журнал, выходящий раз в два месяца. Это будет информационно-рекламное издание, предназначенное для практиков отрасли и деловых людей. «Экслибрис» также намерен публиковать полезную информацию для полиграфистов и библиотечных работников, книговедов и библиографов, студентов, преподавателей и книголюбов.

Редколлегия «Экслибриса» будет стремиться к тому, чтобы его публикации не были наукообразными. Журнал должен содержать живой информационный и рекламный материал по актуальным проблемам отрасли. Поэтому предполагаемая цена номера — 2 рубля — представляется не высокой.

«Экслибрис» № 2 содержит новости книжного рынка, статистику поставок литературы, анализ выполнения заказов на нее, динамику цен на книжную продукцию. Заинтересуют читателей и списки самых популярных на сегодня книг. Особый интерес для деловых людей представляет перечень изданий, неудовлетворенная потребность в которых осталась в пределах от одного до пяти миллионов экземпляров. Учитывая недостаток правовой информации, «Экслибрис» завел рубрику «Юридическая консультация для книгоиздателя и книгораспространителя». В этот номер «Эсклибриса» вошло также интервью председателя правления Фонда развития отечественного книгоиздания им. И. Д. Сытина Б. И. Стукалина. О положении дел в Институте книги рассказывает его директор, академик российской Академии естественных наук А. И. Соловьев. Здесь также помещены статьи по социологии книги и по книжному дизайну. А заключает номер монолог сердитого читателя. Вроде бы все идет пока хорошо, однако редактор «Экслибриса» Сергей Ханжин встревожен: финансировало это издание упраздненное министерство и выделенных денег хватит лишь на два номера. Нужны спонсоры. Надежда — на быструю финансовую помощь отраслевых ассоциаций (АСКИ и АСКР), Фонда развития отечественного книгоиздания им. И. Д. Сытина да на щедрость деловых людей. Данный номер «Экслибриса» отчасти разослан бесплатно потенциальным подписчикам — в крупнейшие издающие и книготорговые организации. Часть тиража будет продаваться в розницу. Кроме того, желающие могут бесплатно получить «Экслибрис» № 2, написав в НИИ книги (103473, Москва, 2-й Волконский пер., д. 10, комн. 2, редакция «Экслибриса») и сообщив свой адрес.

В дальнейшем, если заинтересованные организации и лица не дадут «Экслибрису» погибнуть, на него будет объявлена подписка.

ТАТЬЯНА ЖУЧКОВА



ЖУРНАЛ РЕДАКТИРУЮТ:

Арсений Ларионов, главный редактор, председатель общественно-редакционного совета

Виктор Калугин, заместитель главного редактора

Артемий Игнатьев, главный художник

Владимир Бондаренко, обозреватель

Елена Егорунина, обозреватель

Алексей Тимофеев, обозреватель

Юрий Чернелевский, обозреватель

Евгений Чернов, обозреватель

Ирина Пушкина, заведующая секретариатом

Художественно-технический редактор **Наталья Козлова**

Корректор **Екатерина Табашникова**

Сдано в набор 24.09.91
Подписано в печать 13.11.91
Формат 84×108/16
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,05+0,99.
Печ. л. 5,0+0,5+0,25
Тираж 162 000
Заказ 2509
Цена 1 р. 50 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64.
Телефон для справок:
281-50-98.

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Государственная ассоциация предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ». 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях. Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала.
Издается с сентября 1936 года.
№ 12. 1991
© Издательство «Книжная палата», журнал «Слово», 1991

В НОМЕРЕ:

ВРЕМЯ

ИСТОРИЯ

РУСЬ МОЯ, МИЛАЯ РОДИНА...

ИСКУССТВО

ЗАКОН БОЖИИ

ЛИТЕРАТУРА

АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

Валентин Распутин



Фото Павла Кривцова